

Илья Данишевский

Нежность к мертвым

*Denn die Toten reiten schnell<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Условно – «Мертвые скачут быстро...» [нем.]

## Предисловие

*Сцена низкая, везде и всюду разбросаны книги, должно быть очень много книг, и герои, не задействованные в сцене, листают их и откидывают обратно, горы книг должны напоминать мусорные свалки, а еще лучше и более устрашающе – ворохи трупов в концлагерях; книги должны быть антигероем повествования; где не указано обратного, герои бормочут всякую чепуху, зачитывают прочитанное или озвучивают что-нибудь неясное, но, вероятно, очень умное. В каждой сцене герои прибывают и прибывают, умерших оттаскивают к книгам, время от времени герои начинают щупать мертвецов, не отличая их мертвые фрагменты, манжеты, подошвы и пр. от книжной белиберды; музыку играют с завязанными глазами, как у Кубрика, неясно почему, но это – здорово; в воздухе шум, и ощущение от спектакля такое, что зрителю вовсе неясно, зачем он его посетил.*

Она вспоминает, что у него были обломаны ногти, она не могла в него влюбиться. Там, в кафетерии, где официантка Розенберга, какая-то ветошная, постоянно задевает крупным бедром столики, там по пятницам играет приятная музыка, намного лучше, чем во многих других местах, играют Листа, играют Шенберга, играют Шумана, играют «Времена года» (и тогда кто-нибудь щелкает пальцами, чтобы выключили это расцелованное массовым вкусом), играют Le Mort de' Monteverdi, играют с девочками и девочками этих девочек, своими крупными руками на хитином укутанных ножках играют Листа, играют Шенберга, играют Шумана, играют конец зимы, и самое время впустить свои соки в плодородные почвы, пора засеять пустошь, время сыграть в садовника, окучить зеленые лужайки ее выкрашенной в ядреные цвета дырки... там -она может это вспомнить – все произошло, или только началось, но дало продолжение. У него были обломанные ногти, но вид презентабельный; конечно, он не получал Нобелевской, но глаза и общее положение были такими, и он не стремился все закончить здесь и сейчас, руки его лежат под столом и не хотят субтерры. Он попросил ее рассказать о себе, она знает, что большинство спотыкается во время ответа и кокетливо отводят глаза; она знает, что люди думают о других людях лучше, чем надо, они думают, что их мысли читают, их девственные резюме просматривают работодатели и видят гораздо больше, чем есть; а еще на этот вопрос принято выдвигать вперед списки и перечни, лучше заранее составленные, каллиграфическим почерком<sup>2</sup>, она все это знает, как и все прочие знают, как именно протекают глупые знакомства, которые завершаются, конечно, сексом, иногда множественным, хорошим, плохим, отказом в сексе, но все же – сексом! Все это знают: каких художников следует назвать, каких режиссеров и авторов следует любить, какие книги выражают согласие, какие отказ, они все знают, она даже видела несколько статей на тему – «Моя современность: краткий пересказ фильмов, участвующих в Каннах, наиболее популярные мнения о них, варианты ответов – понравилось тебе или нет?», она видела в магазине карточки с короткими брифингами современности (с одной стороны вилка для мяса, на другой – для устриц, перепутать невозможно), похожи на игры для переводчиков. Этикет, эпиляция, флагаелляция и теория струн/игр/множеств за тринадцать минут, зарегистрируйся и отправь свое желание на короткий номер из четырех цифр. Она видела списки несуществующий слов и понятий, похожих звуком и составом на умные, но заезженные и уже негодные слова вроде «экзистенция», «фрактал», «дегуманизация», современная кокотка любит дефимбенцию, презирает скрипки, но любит струны Мартена, потому как они возбуждают ее хейоз и действуют, как ударная доза дафибрилина. Нельзя быть бисексуалкой, но нужно – пробовавшей и утвердившейся. Не следует верить в теорию эволюции, точнее – «это слишком сложно, тут много нюансов, но, конечно, это животрепещет для меня», это так же жизненно и важно, как – побрить или пусть пушится? Быть в жиле современности – это быть фрактально расширенной, практикующей ментальное мандалини и читать йога-суки, быть химутвержденной, но застенчивой, ассоциировать собаку с

---

<sup>2</sup> Мои любимые фильмы», «мои любимые книги», «мои любимые художники», «IQ по тесту Айзека (заверенный сертификат, если не сложно)», «мои любимые режиссеры», «три диплома о высшем образовании», «объяснительная записка, почему эти дипломы не получены с отличием», «интимная запись о получении диплома: что я почувствовала, когда ректор поцеловал меня в щеку», «мой счет в банке», «причина выбора этого или другого банка»... более поэтичные хотят «мой любимый цвет», «кошка или собака?», «столешица или кунилингус?», «мои сны за последнюю декаду», «разложенный анализ моих сновидений за последнюю декаду по системе Фрейда и Юнга», «уточнение на полях – какая из систем мне ближе и почему?», «какой я вижу себя через пять лет», «десять», «пятнадцать», «двадцать пять», «на свою серебряную свадьбу я хочу...

ананасом, и чтобы анальный оргазм вызывал ностальгию по временам лютой пейотозависимости. Она не могла его полюбить, но возбуждалась изломанным изгибом ногтей, ей нравятся мужчины, которые грызут ногти, в этом что-то есть.

Она говорит: я хочу пить кровь из золотой чашки. Кровь черная, как ночь. Но золотая чашка. Не какая-либо дешевка. И в этом не должно быть никакой ассоциации, никакой параллели с неделями высокой моды и той выставкой, где вместо картин – корзины с человеческим мясом. На самом деле это обычное желание – пить чью-то жизнь из дорогой посуды. В этом не нужно быть оригинальным, кровь в золотой чашке позволила бы моим формам слиться с содержимым, это бы мне полностью подошло. Я рождена, чтобы пить кровь из золотой чашки. Еще мне нравится вращать ключ в замке, я хотела бы такую дверь, в которой можно крутить до бесконечности, но только не туда-сюда, а в одну сторону, чтобы не чувствовать тщетность. Я хотела бы посещать оперу, где кастраты не только поют, но кастрацию проводят прямо перед моими глазами, а потом пусть поют. Я не ищу удовольствия, я хотела бы коллекционировать объекты порнографии, но не заниматься ей, огромная коллекция – все существующие в природе фильмы на моей полке, книги, доверчивые дилдо, девочки в голубых платьях и жемчужных сережках, чтобы они прислуживали мне, да, подносили чашки, золотые чашки с черной, как ночь, кровью, пусть цедят кровь в момент кастрации, прямо на сцене, пусть ничто не пропадет даром. И он ей тогда сказал – станешь моей женой, и получишь все это. Прямо все? Да, именно так, и никаких метафор. Ты согласна? Я согласна. Нет, ты должна точно знать, о чем говоришь, ты должна быть уверена, что согласна. Я согласна. Хорошо, и ты разведешься, если я обману тебя, если девочки в голубых платьях не будут подавать тебе кровь в золотых чашках, если этими руками, в которых золотые чашки, они лично не надоят кастратов... и ты будешь крутить ключ в бесконечном замке, ты согласна? Я согласна, и я хочу начать с Розенберги, видишь – вот она, похожа на брауни из старых сказок, я хочу, чтобы она совершила счастливое самоубийство, я хочу, чтобы она была одета в последнюю коллекцию Шанель – от и до – и чтобы она совершила у нас на глазах самоубийство, но без принуждения, она должна быть счастлива, она должна умереть от эйфории. И тогда он щелкнул пальцами, как обычно здесь щелкают, чтобы музыка изменилась, – «Розенберга!»

...задевая крупным бедром столики и разглядывая кокетку с яркими ресницами, и разглядывая ее странного кавалера (волосы растут даже на шее), официантка спрашивает в чем дело, и ей объясняют. Она вопросительно смотрит на них, затем кивает и говорит «понятно, при хорошей зарплате, такое можно... мне, пожалуй, нужно подсесть к вам и рассказать о себе, чтобы вы действительно поняли, что я согласна, и раз так, я отодвигаю стул от стола, я сажусь на этот стул и рассказываю вам свою историю, я ведь слышала, что важная часть любого драматургического акта – биография, и как только не изгаляются, чтобы рассказать свою последовательность незнакомцам, но я не буду изгаляться, а просто возьму и начну рассказывать, а после вы решите, хотите ли нанять меня в самоубийцы. Но я хочу предупредить, что я беру дорого, хотя бы потому, что самоубийцам не нужны деньги. Я родилась и чахла. До того, как стать официанткой, то есть принять свое содержимое самоубийцы, я жила дешевой жизнью танцовщицы. Мне хотелось плясать, как все остальные пляшут, те же самые танцы, те же самые движения, так же привлекать взгляды мужчин и женщин, отталкивать их жадные руки, я хотел танцевать, чтобы наполнить эти потерявшие-себя-танцы новым содержимым... я почему-то думала, что никто и никогда не танцевал так, как танцую я, и никто не вкладывал подобные нюансы и тонкости, но на самом деле я ошибалась. Как бы хорошо это ни было – меня зацеловывали от восторга так, чтобы все лицо раздувалось, как от аллергии – все существовало до меня, я лишь протягивала эту

старую традицию в настоящее, но на самом деле не делала ничего. Танцевать оказалось тщетно; в общем, как и все остальное, но если других это устраивает, я была не из тех, кто готовы повторять заученное тысячами, позволять своей плоти ползти вдоль выученного наизусть экватора. Поэтому я ушла в официантки. Это было более честно, но при этом все осталось таким же, как на сцене. Я повторяю чью-то жизнь, и меня так же щиплют за задницу, меня не называют Кармен, но называют Раздвигайножки, но, в общем, ничего не подлежит перемене; и поэтому я готова наняться к вам самоубийцей, хотя бы потому, что не думаю, будто могу быть счастливой, а потому – не смогу убить себя. Да, мне не хотелось бы убивать себя, потому что тысячи тысяч в квадратах, в бесчисленных степенях, уже убивали себя по всем существующим причинам, и поэтому мне бы не хотелось... я бы совершила открытие, если оно возможно, но в невозможности я предпочитаю тихое существование. Но я согласна. Я всегда легка на спор. Я танцевала так, будто хотела призвать дьявола, била чечетку по самому его черепу. Я хотела бы играть при Дворе Вечности, но не сложилось, но теперь я готова играть Самоубийцу в вашем театре...», ее перебивают, что здесь не театр, и Розенберга отвечает, что, конечно, не театр, но все же театр, «...при разрушении драматургии, мы так акцентируемся на разрушении и, значит, на объекте разрушения, то есть драматургии, что, получается НЕтеатр оказывается театром, но я готова разрушать. Пусть деталь станет более важной, чем фабула. Пусть мелочь окажется не востребованной. Пусть будет только результат, но этот результат будет непонятен зрителю. Даже отсутствие зрителя – такая антитеза нормального театра – делает существование подобным ему. Непонятность же – тоже высказывание. А раз наши тела, поры, голоса и конечности не могут молчать, пусть рассказывают что-то важное... например, я, как самоубийца, могу рассказывать вам о самых значимых для меня вещах – доить кровь и рассказывать – о платях, каблуках, о стуке чечетки, о бусах, камнях, боа и беретках», и когда эти трое покидают кафетерий, и напоследок Розенберга кричит «Идите все в чертову задницу!», садятся в автомобиль и едут в неизвестном направлении, чтобы подыскать место для оперного зала с кастратами, Розенберга решает рассказать о Дворе Вечности, просто потому, что это милая ее сердцу деталь сложной жизненной конструкции (а почему бы и не рассказать, куда все эти модные вещички сами собой выискивают подходящие дома, оценивают и прокладывают к ним дорогу?): «...приехали за полночь, вагончики выкрашены красным, все дети в восторге, красивые актеры в нашем маленьком городе(!), мальчишки разглядывают музыкантов, те из этих мальчишек, кто уже ощутил в себе неладное, понимает, что это его единственный шанс попробовать – ведь всем ясно, что эти флейтисты, эти с контрабасами, эти с дудками и эти с гитарами – педерасты; а между нашими мальчишками если и случались междусобойчики, то это отнюдь не похоже на идеалы педерастичной любви, а тут эти ухоженные музыканты... в общем все только и ждали, когда же труппа Двора Вечности развернется и устроит свое шоу, а потом оно началось, а потом оно закончилось, всем нам только и остается, что вспоминать об этом и сомневаться – было ли? И к тому же, совсем неясно зачем вообще необходимо прошлое, зачем заполнять свое существование каким-то фактами, если потом ты уже не сможешь различить вымысел и фантазию, а если и сможешь – то и в этом не будет ничего, ведь от этих картинок в голове на сердце все так же чопорно... но все же это было красиво, настоящий театр. Комната задрапирована красным шелком, под потолком огромное количество звериных трупов, еще свежих, раскачиваются на ветру, вот уж восхитительный музыкальный инструмент – мясницкие крючья! – музыканты выстроились у задней стены, девки спереди, девки начинают танцевать под музыку, нижнего белья нет, все всем видно, все всем нравится, музыка поднимается, падает, вновь набирает темп, зрители только о сексе

уже и думают, а зачем же еще музыка(?), и вот в самом конце на последнем издыхании скрипки, с трупов над нашими головами сорвалась кожа – видимо, какой-то секретный механизм – и кровь полилась на публику, а тут последние ноты скрипки, и по душе как резанет от неожиданности, и я помню, как вытирала лицо от крови, и мне казалось, что я будто вырвана из города и где-то потеряна, у меня рана в душе от этой потерянности, а как же мама, папа и мой никчемный прыщавый брат(!), а потом глаза открылись, и я снова нашла себя в толпе, в красной комнате, драпированный шелком, вот так, вот так... и снова ни мама, ни папа не радовали меня своим существованием, но меньше всего радовал мой скрытый за прыщами брат, а потом труппа уехала. В нашем городе сифилиса никогда не было, а тут появился, потек по мальчишкам, и я вот думаю – было ли у них с музыкантами или это болезнь с кроличьей кровью в глаза попала(?), уж и не знаю...», ее перебивает мужчина с обломанными ногтями, сообщая, что приехали, вот это место будет театром, вот этот странный полусломанный дом, который, говорят, был построен богатым шизофреником, и является своей планировкой точной копией его шизофренического рассудка, то есть в этом доме – есть лакуны, бездны, уводящие к центру земли, комнаты существуют в трех или четырех ипостасях, ночные кошмары спят в простынях, а в кирпичную кладку нужно колоть успокоительные, чтобы стены не придушили посетителей. Розенберга сообщает, что была здесь в пору своей карьеры, мол, здесь действительно очень хороший – по меркам шизофреника – зал, и в свое время за вход платили не деньгами, а требовалось принести с собой бродячего пса, псов оставляли в прихожей, и лакей уводил их в подвал... едва ли, говорит Розенберга, все ограничивалось какой-либо скучной зоофилией или убийством – все должно быть гораздо более занятно, и это совершенно очевидно, что не найти более подходящего здания для неокастратов и девочек в голубом. Все выходят из машины и оглядывают этот дом. Кажется, он в грюндерском стиле, хотя это совсем не факт, вокруг окон изображены огромные спирали, и стекла – как центральная линза, некус скручивающихся прямых, то ли глаза, то ли – глазные впадины, – дом печален, но при этом остервенело хочет вновь наполнить себя шумом, ведь ему помнится, какие вечера полыхали внутри, какие вечера и какие странные ночи... столь абсурдные сочетания плоти дом не наблюдал ни в одном фильме и ни в одной книге, и именно потому, что эти абсурдные сочетания происходили внутри него каждую ночь – дом не мог отыскать острых или новых ощущений ни в кинематографе, ни в книгах. То есть – этот дом был пресыщен так же, как любая четырнадцатилетняя школьница наших дней.

«Внутри все отделаем так, как тебе захочется, сегодня же пушу объявление о поиске девочек, и пусть ателье начнут шить голубенькие платья, а сейчас войдем внутрь и посмотрим сцену. И если этот дом так уж любит собак, как говорит наша самоубийца, давайте найдем собаку», все расходятся в разные стороны, чтобы искать собаку, а это, представьте, не так и легко на современной улице: собаки уложены рядами и ломтиками в мясных магазинах, собачьи задницы целуют домохозяйки в порыве религиозного чувства, собак в припадках любви душат несовершеннолетние догофилы. Но Розенберге везет, и все хвалят, мол, какая прекрасная суицидница, какой хороший выбор мы сделали. Она ведет послушную и большую собаку, у собаки в глазах отчаяние, но при этом и понимание, что лучше уж войти в этот дом и будь, что будет, чем продолжать то, что продолжалось уже шесть лет от самого рождения – улицы надоели лапам; люди надоели глазам; запахи надорвали слизистую; смердеж обрубил провода. У Розенберги руки пахнут мужиками и пивом, но пусть ведет, куда скажет, лучше уж на собачий эшафот, улечься в Собачью Деву, пусть сомкнутся клыкастые створки, свернуться клубочком, пусть наступит вечная ночь.



## Акт I. Девы Голода.

подруга приехала...  
из стран эболы нарцисса и женского гриппа  
чтобы сказать тебе Лорелею мертвым читать  
текущим вдоль Днепра где холод его нам на плечи  
в России – которая нам с фотографий -  
детям под дегтем октябрьской мутной воды -  
шумом своих пустот дребезжит в распоротой вене

к сорока и к шестидесяти  
представляя нацболов умерших и взмокшие раны  
на локтях на коленях вдоль линии ребер и чучела  
человеческих самок кричавших о полночь о полночь о ребра  
граненых стаканов нашей страны  
влюбленной в свое – окаянное "завтра"  
не встречать целоваться прощаться чеканить  
твой твит "потеряла ребенка" и сотни ретвитов  
и выломать  
шумящее у тебя в дхарме

подруга приехала  
фiesta красное зарево алые вторники  
чтобы "я вышла замуж, но не сейчас" и не за меня  
чтобы мне Лорелею напомнить на потных моих ладонях  
запонках  
станцевать ее – вдоль всего, что прячет мой стыд  
ты мой некрософокл мой дёблин моего дубина центральная  
потаскулица  
днепром течет мое время как нерестом крови запястье  
и сам факт рождение – сиквел первопогибели  
где мельницы рукава висельника кажутся горизонтальной линией

ее женская тайна – офшорная зона – в полдень  
жарко я наблюдаю с моста и солнце  
напоминает лесбийское порно, где девочка топит – плюшевого медвежонка  
- ее женская тайна – выпускает язык и впускает  
как карстовую воронку – ее заполняет ветер, огромный член Фавна,  
фонарь на Невском и звездный свет,  
ей кажется, что она  
сложнее любых похорон – и похорон Финнегана

здравствуй я целую твои щеки и ты – твои щеки  
останутся встречать старость, приехала, чтобы "ты никого никогда не встретишь"  
чтобы быть при мне – моей первой единственной женщиной  
как в наших собаках мы видим – смерть нашей первой собаки  
"когда ты смотришь под юбки бабам, ты видишь мое лицо"  
смерть – это оправданно  
событий змей вклейки газет детских моих фотографий  
первое семя и встреча дождь сквозь рассвет стынет закатом  
помнишь тот Днепр

где смерть – это нормально?

## 1. Ом – священный слог ее смерти

В первом действии, где обычно мы можем наблюдать героя за каким-либо занятием, – чем-нибудь странным, чтобы сразу можно было сказать, будто это какой-то «герой», чем-то отличный от иных, пусть даже фактурой и действием, – на этот раз полная и зияющая тишина. Обрыв. Но есть немного зеленоватый свет из-под плафонов вокзала, будто бы завезенный из Индии, из Индонезии, откуда-то, что может в уме быть похожим на эту мрачную зелень... под ветром плафоны раскачиваются и освещают перрон, на котором множество тех, кто мог бы быть героем повествования, остросюжетной повести; она – глаза и волосы какого-то цвета, прямой/с горбинкой нос, походка (какая-то классификация этой походки) – покидает вокзал с недовольным видом, видимо, не дождавшись, не встретившись с каким-то идеальным исходом, в темноту за стенами вокзала, когда на коже еще ощущения или даже аллергия от казенного белья, когда в голове шум цыганской свадьбы из соседнего вагона, или еврейской свадьбы, когда все тело будто инородно ступает по темной улице, что-то должно с тобой случиться. Или старик, поднимает лицо к лампам, ощущает от них тепло, будто Ее любовь с того света, глядящая на него сверху вниз своим сияющим ликом в обрамлении зеленоватых теней. А вообще-то О.М. читает книгу, на обложке женщина посреди темноты, но видно, что темноту пририсовали или наложили поверх силуэта, тени неправильные, а внутри про мужчину, который смотрит вверх... О.М. смотрит вверх, не на лампы, но поверх книги; в детстве она часто повторяла описанные движения, чтобы как можно глубже поверить автору, но сейчас она не может ему поверить, поднимает глаза, пространство вокруг нее ненастоящее, какое-то наложенное на силуэт О.М. извне, из сочащегося светом поезда выходят люди, или их выталкивает наружу этот свет, еще заспанных с ощущением тела, как не принадлежащего им, или О.М. видит эти тела такими скомканными со злобой, что они – не Т.В; Тимура Викторовича все еще нет на перроне, хотя уже почти все высыпали наружу, Тимур Викторович появляется лишь тогда – из этого железного брюха, когда О.М. возвращается к книге, где мужчина поднимает глаза к небу в поисках умершей жены, и не может видеть Тимура, и Тимур Викторович направляется к ней... наверное, они обнимаются и все прочее, что может происходить при встречах, под руку к выходу с перрона, где темнота немного разбавлена фонарями, и где Тимур говорит, протягивая ей платок, что это платок куплен в Барганкасе, и где она говорит «спасибо», и думает, что, наверное, выскальзывая наружу виделась кому-то девушкой очередной истории, что выходит под руку в темноту столичной улицы с этим восточным платком, что кто-то мог подумать, будто так все и начинается, какая-либо история, но О.М. знала, что все заканчивается, она сказала Тимуру «все заканчивается...», и он ответил «да», подумав, что она имеет ввиду «все тленно», и О.М. добавила «у нас, у нас все заканчивается», и там, в темноте, Тимур отвечает, что «нет», О.М. убирает книгу про мужчину и женщину в сумку, где уже лежит платок, зная, что не дочитает и что в следующий раз будет плакать, увидев этот платок. Ей даже кажется, что они с Тимуром нарисованы на баннере, что они рекламируют платки, книгу и завершения, что ничего не происходит, что с каждым шагом, который можно услышать и ощутить, ничего не меняется, кроме старения клеток, кроме смерти клеток, кроме того, что раз в семь лет организм полностью заменяет свой состав и всегда непонятно, на каком этапе этого изменения ты находишься именно Сегодня... и вот, он говорит ей, что жизнь Франциска, Франциска какого-то началась на плантации опия, а еще его отец держал маковые поля, и когда Франциск выходил из дома, ему виделись эти маковые поля, как огромное обезображенное тело или тело с огромной

раной, к чему бы это не было сказано, Тимур начал это так: «...сын торговца опия», – и О.М. посмотрела на Тимура, пытаясь вспомнить все эти домашние заготовки, но не смогла; и не смогла даже вспомнить, в чем заключается их с Тимуром история, в чем ее таинственная суть, кроме виднеющихся над водой коралловых мелочей о том, что она ждала, а он не приехал... ничего не было видно, словно вода поднялась этой ночью и заставила людей забыть, что когда-то на месте этого моря существовала их деревня; так вышло, будто море имеет силу внушать забвение в сердца своих жертв; и вот, перед тем, как задохнуться, моряки не вспоминают своих новорожденных сыновей, потому что море лишило их памяти. Ведь он уже приехал, и одним этим вся та боль, когда он не приезжал, как бы разом должна была исчерпаться, но нет. Что-то еще оставалось под этой темной поверхностью. Она спросила его, кто такой Франциск. Он ответил, что познакомился с ним. Познакомился там, где трахался с Богом, и она поняла, что все уже потеряно; слишком большой уровень темных вод; по каким-то иным обрывкам она поняла, что в Индии он крутил горячий роман с героиней, что продолжает крутить, что в знак «извини» привез дешевый платок, 20% шелка, иногда темные воды поднимаются так высоко, что затопляют даже маяки, иногда происходит так, что корабли разбиваются о мели, и эти корабли тоже не знают «почему», и ничего иного не знают, кроме факта, что в брюхо впились какое-то морское порождение, и что вода заполнила собой полости, что вода поднимается, что спасение невозможно; и моряки не думают «почему», им в этом нет никакой нужды; О.М. вспомнила сияющие лица ламп в волосах зеленых абажуров.

В первом действии, где обычно знакомятся с героем, была пустота, зияние, пробел, вместо этого действия можно было поместить микрофотографии кластера раковых клеток молочной железы или простаты; карты, где мастями выступают легочные, психиатрические, передающиеся воздушно-капельным путем и сексуальной сферы болезни, – вот о чем я мечтаю. Игра в дурака, где проигравший приобретает весь букет оставшихся в его руках карт; такие карты имел при себе Франциск, но, конечно, никто, с кем он играл, не знал об этом чудесном способе заражения: шанкр, сияющий туз шанкров, когда ты держишь его в руках, то хочется интуитивно отодвинуться от черноты его власти; двойка высыпаний может оставить свой волшебный след на пальцах и проникнуть в кожу твоей жены, когда вечером ты прижмешь ее ляжки к себе поближе и начнешь гладить их так, будто втираешь в эпидермис заразу и пожелания скорой гибели; Франциск имел подобную колоду карт, думаю, он нарисовал ее сам в возрасте четырнадцати или пятнадцати лет, в том же возрасте, когда отец начал учить его выращивать мак и опий.

Первый свой опыт духовно-фрактального расширения Франциск испытал в шестнадцать, отца не было дома; Тимур в семнадцать под чьим-то чутким надзором. Рассказать об этом, как и просто рассказать о Франциске почти невозможно, ни одного человеческого времени/склонения/нарративного содержимого глаголов не может хватить, – виной этому О.М., ее яркая нонконформистская картина мира, леденящая, похожая на ритм океанических волн, населяющих эти волны косяков потусторонних существ, похожая на стук обода колеса о выщербленные дороги Бреста; О.М. всем рассказывает, что часть ее жизни прошла в Бресте с тетей Зусей, эта часть ее жизнь подвергается фантазии и деформации, но неизменно брестский отрезок – самое яркое пятно ее жизни, пусть даже и выдуманный от и до. Ее Брест – это совершенно особый Брест, она выбрала именно этот город по созвучию, по каким-то ассоциациям с Голгофой, ведь каждый звук в этом Б-Р-Е-С-Т напоминает отвратительно гавкающую толпу, потную толпу, каждый звук в этом Б-Р-Е-С-Т напоминает крестный путь, а значит небо над Брестом, как Туринская плащаница. Четыре полдня подряд О.М. рассказывала мне про свой Брест, ей было двенадцать,

когда они с Зусей переехали в еврейский квартал, О.М. была еще маленькой девочкой и ничего ДО Бреста не повлияло на нее, а значит, лишь выдуманный Брест сформировал О.М., ее странную картину миру. Сама О.М. – красивое, немного духовно растрепанное чудовище, содержащее в аквариуме лесбийскую парочку черных вдов; она существует в цикле радостного упадка и восторженного кошмара, одним из которых, если не главным, можно назвать Тимура. О.М. личной волей выбрала его Любовью, личной волей назначила своим надзирателем по крестному пути, сидя на моей кухне она вновь рассказывала про Брест, представляя его разветвленные улицы конечностями древа своего семейства; про то, что никогда не будет иметь детей; про Т., и, достав из кармана связку ключей, показала насколько все это серьезно. Было три часа ночи, ущербная луна была в небе, О.М. сидела на стуле, на большом пальце правой ноги был пластырь, на ладони ее – связка ключей. Она сказала, что Тимур не вернул Ключ-от-ее-сердца, который она ему отдала. Существующие в воображаемых брестах все же скованы какими-то суевериями, сутоличность и субстантивность которых не могут не существовать объективно в таких, как О.М., когда-то она нашла ключ и сделала его дубликат, и с тех пор свято верила, что этот ключ, который не подходит ни к одной известной ей двери – это ключ-от-ее-сердца. Она проверяла его в ночном странствии по Москве, подбегая к каждой двери и пытаясь отпереть ее, с каждой попыткой все более убеждаясь, что этот ключ лишь своей формой – ключ, на самом же деле за его объективными очертаниями находится что-то иное. К примеру, Ключ-от-ее-сердца. Тот, кому она подарит его, будет вечно иметь над душой О.М. незыблемую власть. Тимур не вернул его, пусть даже все сошло на нет, он был в Бомбее, он рассказывал о Франциске; но не вернул ей ключ, то ли потому, что еще имел какие-то планы, то ли просто забыл после того, как имел секс с Богом; там, в Бомбее или в безлюдной Индии; О.М. любила сказки Киплинга, те, где солдаты видят призраков, где ночь напоминает хитон, сброшенный с плеч Кали; она сказала, что тоже хочет отправиться в Индию, когда будет готова. Когда будет готова отдать свою жизнь; ведь в Индию, настоящую, секретную Индию, нельзя отправляться иначе, кроме как – или я получаю Индию или смерть – все остальное конформистское путешествие в паланкине. Там, около Бреста почему-то был океан, О.М. с Зусей часто сидели на каменном пляже, а вокруг были крабы, там О.М. переняла этот ритм жизни, словно певучие волны, словно сладкая смерть, бьющаяся о берег жизни сильнее и сильнее, отгрызающая его пляже, его отмели, людские деревни и разрывая рыболовные сети. Зуся меняла очертания и характеры, она была, как шум этой волны, как бесконечный символ той *личностной сути* О.М., символом которой и доступом В КОТОРУЮ был Ключ-от-ее-сердца, и как бы это ни звучало, закон этот властвовал над О.М., на ее страной говорящих крабов с красиво-матовой кожей и лицами блаженных бодхисаттв<sup>3</sup>, имманентно и строго.

О.М. всегда казалось, что складная и конструктивная картина скрывает под собой пенящийся и непознаваемых страх; она никогда не видела океана, но нарисовала его рядом с Брестом, чтобы в шуме этих выдуманных волн приучить

---

<sup>3</sup> Однажды Франциск спросил монаха, который проезжал мимо, «правильно ли я понимаю, что всякая мысль отдаляет меня от понимания; что выражая это словом, фигурой и буквами, я отдаляюсь от общего, чтобы понять частное так, словно одним стихотворением пытаюсь объяснить поэзию?», и монах пожал плечами; это был какой-то не такой монах, какого хотел видеть Франциск; он уже придумал для себя концепцию монахов, какими они должны быть по его разумению, концепцию религии и когда узнавал о чьей-то религиозности, выхватывал те части, которые можно было протянуть к своей концепции *смазанного бытия*, а остальное называл ересью; он уже знал тот удивительный ритм, в дельте которого должна бы виться поэзии, и осушал всякое иное русло, обезвоживал иные реки. Франциск познакомил Тимура с концепцией *смазанного бытия*, содержимое которое можно было продемонстрировать хрустом костей или утренней тошнотой.

себя не бояться. Настоящее и сумрачное существует под человеческими иллюзиями о безопасности, как дремлет глубина под прогулочными яхтами; глубоко под пятнами нефти, что просты, как сумма углов треугольника, скрывается что-то иное, ветвится и движется под поверхностью нашей кожи; но оно, это *смазанное бытие* может представать понятным под иным углом зрения; тем, где сумма углов треугольника – неясна. Единственный верный взгляд на *смазанное бытие* – это сомнение и допущение всякого; отсутствие критики и соизмерения, доступ к созерцанию необъяснимого. «Что, если Время, считающееся оболочкой и серым кардиналом Пространства, в какой-то момент замещает пространство, и становится им? Ведь каждая наша драма – пусть и разворачивается на каких-то улицах, в каких-то домах и на пляже – лежит и растет исключительно в сфере времени, и памяти – инструменте восприятия этого невидимого пространства – так же, как наша *личностная суть* не содержится в теле, наша жизнь не содержится внутри пространства, а бьется и мечется исключительно в коридорах Времени...»; О.М. не хочет иметь детей, потому что это лишено смысла в сумрачной петле повторяющихся процессов; даже любовь – становится лишь заполнителем движения; или материалом и причиной для какой-то иной цели; ересь самооценности любви выражена Ключами-от-ее-сердца. Если всякое тело, как змея времени, содержит в себе всё, и сердце, его остановка, это орган смерти, то и материя пространства содержит в себе подобное сердце; в плоскости нашей реальности органом смерти является Индия; красный закат утопил Македонского, Британия вгрызлась в черную почву и задохнулась; каждый индус хочет умереть в Варанаси – в органе смерти внутри органа смерти; Варанаси – точка экстремума на графике Гибели, разрыв аорты, священный слог Ом, дзен и катарсис затухания. В Бомбее Тимур увидел реальность такой, как она предстает, если очистить ее от пространства; улицы заполнены чудовищными категориями без имен и форм, лишь защитные механизмы рассудка наделяют их именами и формами, клоака Бомбея – это извивающееся змеиное царство наг, рынок Бомбея – это алхимические ряды джиннов; храмовые комплексы в зеленых зарослях – дворцы ракшасов. Чудовища проникают в наши дома с лунными лучами, проходят сквозь замочные скважины, как похищающие дыхание ракшасы; зеленоватые мутные воды; трагедии, глубоко утонувшие и просроченные, чудовища, что разрослись от неразрешенности, выпуклые и пахнущие узлы кармы – это наги, что вьются вокруг себя змеиными хвостами и целуют женскими губами в наши губы бесконечным напоминанием; все они живут в тонком пространстве времени, как истинные враги человечества; как единственно-важные вещи, они существуют во дворцах памяти: соблазнительные объятья страха, что приходит из детства и пахнет бабушкиным кастрированным котом, в губительной ностальгии ракшасов; внезапный укус королевской кобры, когда из складок воспоминаний мгновенно выбрасывается вперед узкое и смертоносное тело памяти... джинны – это мост *смазанного бытия* и нашей обманчивой реальности, их рынок – это наша попытка купить вместе с объектом наши ассоциации, выразить сквозь шарф глубинные наши переживания относительно шарфа, относительно шеи той, на которую мы повяжем его узлом; это наше бесконечное падение; вещь с рынка джиннов – это вещь, вобравшая в себя всю *личностную суть*, каждый сантиметр наших переживаний и по выходу – я обматываю шарф вокруг твоей шеи – бездна, ты ощущаешь лишь шарф, а все мои представления о шарфах проваливаются, не остается ничего. Третий глаз Шивы видит эти мучения. Вишну бездействует, ибо знает, что действие безрезультатно. Кали убивает, зная что породится новое, столь же бессмысленное человечество. Ганеша дарует мудрость, а человек убивает слона ради драгоценных бивней. Брахма вращается, но ось его вращения так обширна, что для меня все остается

неподвижным. Я ощущаю лишь склизкие тени наг, двигаясь сквозь клоаку Бомбея, их дворцы, сложенные там, внизу, в пустоте, из костей, и в костях вижу своих предшественников. Вижу камни в ожерельях наг, но не вижу камни, а вижу лишь свои ассоциации этих камней. Чувствую запах клоаки, но не чувствую, и ощущаю лишь реакцию организма на этот запах. Тимур покупает шарф у джинна на рынке Бомбея; О.М. думает о Ключах-от-своего-сердца; умеющие не цепляться за бытие, медленно плывут на лайнере над таинственной глубиной, будто одаренные мудростью Ганеши, они научились скользить по поверхности... ведь бытие так и хочет, чтобы иллюзорность его материи ощутили, путник спотыкается о камень, а на самом деле спотыкается о воспоминание о жертвах, которые он принес ради этого пешего путешествия. Бодхисаттвы корчатся в пещерах. Субстанция отваливается от больных сифилисом и проказой. Змея сбрасывает старую кожу. Трехлетнюю девочку изнасиловали ракшасы за то, что люди перестали в них верить.

Тимур сидел на корточках рядом с входом в клоаку. Или даже не входом; рядом с решеткой, возможно сделанной, чтобы к нагам поступал воздух. Их развратное бытие взаимодействует с кислородом; сидел посреди улицы рядом со ржавой решеткой, вниз уходила темнота, узкая, как женщина, сидел, трогая пальцами ржавчину, думая о том, что если долго сидеть в такой позе, прямая кишка может вырваться наружу, устремиться в темную штольню, кундалини прямой кишки совокупит темную узость; Тимур достал Ключ-от-ее-ненужного-сердца, было любопытно, что станет с ней, когда ключ упадет вниз и долетит ли вверх крик этого ключа, когда наги поймают его, или когда ключ упадет в нечистоты, – поднимется ли вверх этот плещущий звук, сумрачная темнота, смрад, древние болезни Бомбея, поднимется ли это все вверх, чтобы покарать Тимура. Он отпустил ключ. Раздалась тишина. Храмы наг высятся на берегах Темноводья, мутировавшие и поддавшиеся изменению, их черты обрели субстанцию в пределах того, кого Франциск называл *богом*. Это слово не могло ничего выразить, но было удобно, раз уж ему дарят молитвы, дарят жизни и подвергают дискуссии. Наверное, это был бог. Вдали от Бомбея, посреди мангр и темноты, высились его минареты, белесые пагоды и павильоны, более прочего похожие на распятую по линии горизонта человеческую плоть; где-то суставы дыбились, образовывая башенки, или прерывали кожу, чтобы стать эбеновыми от налипших сосудов башнями; навесные лестницы, как кишки, вытянутые усилием наружу и оголенные солнцу, белая и черная плоть застыла у горизонта, она пенилась, как оптическая иллюзия, открывалась взору со звуком расчехленной девственницы. Франциск назвал это место Шри-Калех, здесь жил прокаженный, привезенный из Калькутты фанатиками *смазанного бытия*, когда наступал голод, те кормили прокаженного собой, бактерии и некротические слои эпидермиса воспаляли фантазии этого прокаженного, видоизменяли воздух вокруг него; дыхание шумно вырывалось из грудной клетки, сквозь паранджи москитных сеток оно стремилось вверх, разрывая ткань, оседая копотью на плотской поверхности нефов. Что-то в груди О.М. содрогалось, будто у нее в глубинах жил прокаженный, источающий миазмы беды затхлым дыханием анорексичной клеткой легочных аппаратов; в О.М. жил центростремительный импульс смерти, живущий одной лишь целью развоплощения видимости, скорейшего Прекращения. Она ощутила, что проваливается в клоаку Бомбея, проскальзывает сквозь слизистое решетчатое окошко входа-без-выхода, в пьяную темноту штольни, царапается об узкие стены, как змея устремляется к земле, а затем падает, ломая позвоночник о корни древа мира. Там, в каталепсии любви, в тихом смятении, где нарушается зрение, она отвергает незыблемость телесных форм, ощущая, как перекатываются в ее ладонях мускулистые кольца змеиных хвостов, как лесбийство черных вдов находит смысл в поцелуи, который дарит венценосная нага в нефритовом

облачении; что эта нага обрела Ключ-от-сердца-О.М., когда тот провалился в клоаку; как сила подобных ключей и любви всегда бинарна, затрагивает обоюдно и целокупно. Хозяин ключа – источник; владеющий им – приемник; волна, посылаемая одним в другого, – известна и поражает обоюдно. Теперь же эта волна сопрягает О.М. с хладнокровным чудовищем памяти со змеиным хвостом; любовь продолжается в клоаке воспоминаний, столь же сильная, как мускульное усилие змеиного кольца, столь же мотивирующая, как раньше, отныне замкнутая не в прямой человек-человек, но человек-память... в злочервонной памяти, как взрывы, образы Зуси, образы океана, зыбкого дыхания внутри кровеносной системы *истинного бытия*. Там, в разрушении границы и видимости, существует кровь, но и абстракция крови, становясь видимой, обретает границы. Кровь запекается на горячем солнце и лишается смысла.

Тимур рассказал Франциску, что у него начали случаться перебои чувств. Иногда волна почти не достигала его, и в один из таких моментов он сумел высвободиться из кольца этой пагубы. Когда он любил ее, то почти уже не мог отомкнуть ее образ от собственного образа, словно ее змеиное прикосновение заполнило его бытие своим; Тимур всегда был кротким ребенком, он не мог перечить этому властному порабощению, но в один из периодов перебоя, он отпустил ключ в Бомбейскую клоаку... а Франциск сказал ему, что впервые задумался о жизни, потому как был сыном продавца опиума. Однажды – по многочисленным стечениям – слухи о Великом Прокаженном достигли Франциска, и Франциск приложил все силы, чтобы отыскать его, доставить из Калькутты в Шри-Калех, монструозный храм, выстроенный на периферии Забвения, творческой силой Франциска. Там тишина, вечная тишина, зловонная, испарения ее змеятся по стенам и множатся... «...в нем я нашел образ того монаха, чья религиозность отражала мой взгляд на религиозность; я могу тебе показать его», и Тимур захотел увидеть. По дороге он спросил, кем были те фанатики, что насыщают собой Шри-Калех, и Франциск сказал, что это множественные Франциски, ведь когда ты осознаешь презренность видимого спектра, то и множественность твоей личности в этой новой реальности реализована множественностью, а не поэзией. Метод фрактального расширения позволил Франциску плодиться от самого себя, и теперь лишь множественные его личности заполняют собой Шри-Калех, и в силу несовершенства, в силу фрагментарности этих личностей, каждая заражена фанатизмом. Тот рождается, как защитная реакция перед непознаваемым или неизвестным; фанатизм обожествляет непознаваемое и неизвестное, сакрализация изгоняет ужас; моряки и старые капитаны не могут избавиться от мифологизации моря, влюбленные читают только про любовь, художники изображают себя. Творческие куски Франциска разрисовывали храм, а деятельные возводили стены. Все протекало в соответствии и в подобии, бесконечном повторении, той первоначальной доктрины, которую исповедовал Франциск; той доктрины, инструментов креации которой был Великий Прокаженный. Раковые боли, гендерная трудность, недержание мочи, агония, ремиссии, спазмы, атрофия чувств, некроз мозговых тканей, – все это позволило Прокаженному достичь верховного состояния не-действия и не-мыслия, но меж тем анима его текла во всех направлениях, подсознательно реализуя накопленные знания, эмоции, реакции, персоналии; сила мучений, как электричество, пробегала по этим неживым формам, наделяя их жизнью так, будто Великий Прокаженный самого себя переливал в те миры, которые бессознательно творила его умирающая душа... циклы этих миров были ограничены ремиссией и болью, искажением, деформацией, а затем ощущением «боль отступает...» и новой надеждой, затем образовывалась бездна, и происходила новая креация в силу того, что плоть его и разум его все еще находили

в себе силы; этот тонкий мир, воссозданный хрупким синтезом страдания и эскапизма, не был наполнен тлетворной дотошностью политических и экономических структур; жизнь, населяющая, как эритроциты кровь, его душу, часто была оторвана от корней, существовала Здесь и Сейчас и служила либо силам болезни, либо метаболизму; иногда этот видимый дуализм стирался агонией... иногда обрывался вниз и вновь возрождался. Тимур увидел Прокаженного за тысячью покрывал москитной сетки, в маленькой комнате с фресками и окном на пустоту; заглянув за марлю и увидев обезображенные останки с крохотным членником, свисающим прямо на раздувшиеся половые губы, он заглянул в закрытые глаза андрогинного демона, чья внутренняя жизнь ветвилась двуполо и алчно во все направления, созидая новые и новые терра инкогнита в желании сбежать от огненной боли мозга и грудной клетки. Если Франциск научил дробить себя в рамках самого себя, Прокаженный – сотворять формы не по образу и подобию своему, но по воле и прихоти своих бессознательных механизмов. «Он не умеет размышлять так, как размышляем мы; он творит, как страдает влюбленный; каждое его действие – будто случайность; каждое его движение – это страдание; каждый его вдох – приближение к гибели; сила его муки так велика, что позволила его детям обрести собственный рассудок.... Он и его процессы, это отражение того, что считается Богом; продукты его творения так же живы, как живы мы, и муки их столь же яростны, как мучаемся мы... каждая секунда его внутренней жизни – направлена в бездну; рациональные центры отключены; возможно, не существует другого биологического существа, которое при столь сильной агонии, остается живым так долго... писатель или художник повторяет акт творения, но момент его вдохновения так короток, что ребенок рождается мертвым; вдохновение Прокаженного – это боль, и он вдохновлен ежесекундно; сила этой боли столь inferнальна, что Прокаженный не способен соотнести продукт своего творения и разум... его деятельность бесконтрольна и расстилается во все направления....»

Тимура будто замкнуло, глядя на бесформенный андрогинат; тело Прокаженного было узким, как ключ, как ключ-от-ее-сердца, но выражало собой возможность открыть двери гораздо более важные, чем двери в чье-то временное сердце. По меркам ЕГО времени – любовь занимает десять минут; смерть же, как ночь, простирается над всем безвременно и ежесекундно напоминает о себе спазмами боли, и если обычная боль – центростремительно напоминает О.М. о самоубийстве, то его – разлетается из центра вдоль всего сансарического радиуса.

## 2. Альбертина

«Я буду писать маленькими штрихами, словно заполняю прошлое; выдумываю прошлое заново, такое, о котором хотелось бы рассказывать... я буду заполнять свои дни этими записями, я буду тратить свое настоящее, чтобы придумать новое прошлое. Ничего другого не остается, когда у тебя нет настоящего и нет настоящего прошлого...», – это никуда не годится, Альбертина истерично рвет бумагу, вначале исписанную, потом чистую, – все это никуда не годится. Альбертина не может пошевелиться, иногда ей кажется, что мускулы сломаны. Нужно открыть окно, но она не открывает, дым вьется под потолком, уже нечем дышать, кроме дыма, а у Альбертины астма. У Альбертины темно-мутные глаза, в ее лице нет ничего красивого, но она из тех, о которых говорят «породистая», что-то есть в ее лице, по крайней мере в нем что-то находят. Альбертину хотят мужчины, они чувствуют, что ее больным мускулам хочется движения, но Альбертина даже не может открыть окно. Пожалуй, у нее есть еще время. Она заставит себя подняться, заставит себя открыть окно и выпустить дым. Но вначале она покурит. Этого никогда не бывает много, даже когда болят легкие. Вчера вечером ее рвало, но она думает, что это иное. Но все же стоит открыть окно. Ее тонкие руки завершаются спичками, спички бьются о коробок, наконец, зажигаются; иногда Альбертине очень хочется сжечь этот дом, начать пожар с вышивки на своем платье. Вот так! Уронить спичку себе на колени, пусть огонь, как новорожденный, корчится на ее коленях, пусть, как новорожденный, пачкает юбку, пусть тянет руки к лицу Альбертины. Ей даже не будет больно, для нее не было ничего другого, кроме этого желания. Непоседливое дитя. Прыгает на коленях, вызывает боль в коленных чашечках. Она открывает окно. Если не концентрироваться на этих мыслях, всегда получается лучше. Ей следует просто действовать, не предвосхищая действие мыслью. Она вновь пишет «Женщина и проституция», но слов нет, Альбертина лишь чувствует, о чем ей следует сказать, она лишь чувствует это, но чувства ее бесполезны. Зато она открыла окно. Дым медленно покидает комнату. Там, за окном, нет ничего хорошего – в ее понимании. Посмотрите, это гортензии, они лежат в ее палисаднике, а дальше начинается ограда, к калитке ведет дорожка, вытопанная мужскими ногами, у него крупная стопа, всегда проблема найти обувь, но фабрика Шмитца, у них находятся большие размеры, только не в размере дело(?), Альбертина знает, что иногда в размере все дело, особенно когда ты не можешь найти себе обувь; дорожка, под калиткой кирпичная крошка, злу незачем входить в этот дом, а по бокам яблони, наверное, это именно яблони, но они никогда не плодоносили для Альбертины, возможно это что-то другое, но не дубы и не березы, их слишком легко различить... за оградой ничего, только солнечный день. Альбертина читает Пруста, в этом есть некое меланхоличное движение, ей кажется, что книги переливаются под ее кожей, наполняя пигментами, что книги существуют внутри своей собственной жизнью, но Альбертина не знает, зачем продолжает чтение. Даже детям известно, что следует продолжать, но никто не знает зачем. Кажется, их уже более девятисот, но Альбертина не узнала жизни с их страниц – сколько же там было страниц? Очень много – ведь никто не знает, зачем читать книги, точнее, зачем в высшем понимании слова, какой в этом высший смысл, если высший смысл существует, в чтении? Альбертине было бы важно его найти. Ей кажется, что ей было бы важно найти высший смысл. Но скорее, это организм, механизмы его самозащиты обманывают Альбертину и навязывают ей поиск, ведь стоит задаться чем-то невозможным, и всякое самоубийство отступает. Ведь почти наверняка, высшего смысла нет. Альбертина читает про «Альбертину<sup>4</sup>», и это занятно, как подносить к глазам

<sup>4</sup> Одна из героинь «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста.

бинокль, а затем направлять его в чью-то спальню; содержимое чужих спален всегда интереснее собственной; в доме по соседству избивают толстуху, видимо иначе у него не способен, а толстуха изо дня в день ждет этого и часто плачет около пяти, каждый день около пяти, но ничего не делает с этим, даже не может привыкнуть, Альбертина знает, что представление начнется в семь, он достанет свой хер и будет гнаться за ней, а она очень игрушечно убежать, так игрушечно, что можно подумать, будто ей нравится, а затем начнется, но нет, она не играет... или играет так искусно, что обманывает Альбертину, в общем, это не имеет значения, Альбертина не погружается в эти мысли, но, в общем, считает, что толстуха морально увечна и совсем не играет; меланхолия заставляет Альбертину чувствовать себя превознесенной над прочими, а так как этой превознесенности нужна физическая опора – Альбертина читает, она прочитала больше книг, чем каждый в этом городе. Поэтому толстуха не играет.

Жизнь Альбертины сложена из искусственных блоков; она сопротивлялась замужеству, как и все другие сопротивляются, но не сопротивлялась во всю мощь – ей даже хотелось покинуть дом, и увидеть мать только однажды, не встречаться с ней взглядом, а монологично смотреть на нее только в последний раз, а затем положить цветы – и в силу этих вялых желаний стала замужней дамой. Все хорошо. Ей было хорошо на свадьбе, но устали ноги. Почему-то она продолжала замечать эти мелочи даже в самые важные дни. На похоронах отца затекла шею, была столь дурная погода, кладбище со времен детства расплзлось все дальше, и хоронили там, где бегали ее босые детские ноги, поле превратилось в кладбище, и лес тоже, наверное, кладбище когда-нибудь поглотит и город, или окружит его так, что каждый выезд будет пролегать мимо могил... интересно, что делают со старыми могилами... интересно, но не слишком, возраст берет свое, и такие мысли отступают перед болью в пояснице, громким пульсом, перманентной усталостью. Альбертина никогда не сопротивлялась реальности. Пусть серые пальцы копошатся внутри, у нее всегда была запасная дверь. Непоседливое дитя поедает письма... кому нужны эти письма(?), человечество не умеет читать, и, кажется, Альбертина пишет свои письма лишь из этого противоречия, пишет книги наперекор самому человечеству, делает что-то, чтобы не соглашаться с ним. Она не обладает детской мечтательностью, и ее книгам не суждена слава, они не подлежат огласке, ее книги – они как женщины. Лежат на положенных им местах, греют пальцы, они не сопротивляются своей одинокой судьбе, они вбирают желающего целиком, и отпускают его, чтобы впустить вновь, могут начинать новую жизнь или захлопываться, обрывая эту начавшуюся жизнь. Книги Альбертины, как женщины, спят в своих могилах, и лишь мнят себя существующими, они часто не выплеснуты семенем в плодотворные чресла бумаги, они лишь спят и плавают в прострации и предвкушении жизни, они обречены, как все прочие женщины, на неясность и позорный столб; их мечты о грехопадении затупились о тонкий хер работников фабрики.

Женщина спускается в прихожую, чтобы рассмотреть обувь своего мужа. Ей приятно смотреть на его обувь – больше, чем на него самого. В его обуви (видимо из-за чистоты, из-за старомодной идеалистичности подошвы и вылизанного языка) все еще ощущается стремление в будущее, жажда большой дороги; а в его ногах этого уже нет, только варикоз, только драная рыжая шерсть. Ботинки хотели бы двигаться и плутать, изучать собой улицы, а ему – нравится возвращаться домой, улыбаться и целовать свою жену. Ботинки ничтожны, как и он сам, но в них есть желание преодолеть свою ничтожность: вот крем, вот губка, а еще мы можем увести тебя на край света, только направь наш курс... Женщина должна чистить ботинки своего мужа, если не хочет кормить его обиженное эго. С детства известно, что в семейной

жизни нет выплеска, и все накопленное не вытекает сквозь поры; поэтому лучше ничего не накапливать, оттого – женщина чистит его ботинки. У Альбертины есть на то и свои причины. Она преодолевает некий стыд своих причин, прежде чем начать, а затем берет в руки губку и выдавливает крем на носок. Эти ботинки очень хотят будущего, но у Альбертины будущего нет. Она смазывает их, будто обещая им путешествие, но она знает, что путешествие отменилось. Она дарит туфлям свое обещание, свои улыбки, свои прикосновения, а туфли льнут к ее ладоням. А потом Альбертина оставляет туфли дожидаться хозяина. Завтрашнего дня, очередного похода на службу, грязи и скуки. Ничего личного.

Женщина умирает замуж, а затем изображает жизнь. Альбертине смешны эти мнения, ведь женщина никогда не умирает, как и мужчина – мертвое не способно к смерти. Потому ей кажутся смешными разговоры о том, каким было прошлое других женщин, а другие женщины так любят делиться этим с Альбертиной, но в этом нет толка, прошлое отсутствует, мертвое не имеет координат, фантазии – такая же болезнь мертвеца, как метастаз – губительное движение внутри материи. Но женщины любят говорить с Альбертиной, они тайком читают ее книги, в перерывах между туфлями и кухней, и думают, будто Альбертине интересны их бестолковые мертвости. Они особо тоскуют в марте, затем в мае, потом наступает пик в октябре, какие-то циклы, попытка проснуться. Но если ни у одной не получилось, значит не получится и у прочих. Но Альбертина уверяет их в возможности невозможного, и женщины улыбаются. Альбертина не врет, ведь всем известно, что некоторых хоронят с платиной в ушах, с рубиновой брошкой, а прочих в рубище, так что есть к чему стремиться. Зачем она это делает? Это слишком маленький город, чтобы заводить ссоры. Женщина должна любить прочих женщин, в этом закон их крохотного потаенного мира, в этом его опора, и Альбертине следует знать, что нельзя говорить людям правду, потому что правда отсутствует, ведь даже сам факт отсутствует, и существует лишь наше глупое о нем представление. Альбертине их жалко; когда они держат ее за руку и говорят, ей их жалко, но когда она здесь, ей противно от их существования; возможно, ей противно и там, когда они держат ее за руку, но существует и эта жалость, которая – отказ психики становиться виновной в разрушении этой скарлатиновой пленки под названием жизнь; она лопнет со временем, и Альбертине вовсе не стоит участвовать в этом; но при этом ей больно, что женщина не ощущает свою жизнь, как скоротечную болезнь... болезнь, мечтающую захватить собой тело, блистать в дорогих кольцах на королевских аллеях аорты, венчаться в легких и орать с трибуны огромного позвоночника.

Женщины читают, когда их мужа на работе. Книги Альбертины – это не те книги, чтением которых следует гордиться. Они непристойны. Они сотканы из женских историй, которые никогда не были рассказаны женщинами вслух. Альбертина увидела их в бинокль, и выплеснула увиденное распутство, а затем дала его выпить тем, кто и был источником этих историй... с горечью женщины читают о себе, оторопевают и ненавидят Альбертину за наглость, а затем обращают оторопь и ненависть в уверенность, будто это не с них списано, а лишь обличает синдромы общества, и протекает из единого источника, который вынуждает из себя пить – каждую женщину. Они плачут, сочувствуя той, которую бьют, а потом плачут в руки Альбертины, что ее бьют. Альбертина знает многое о женских судьбах, и даже гораздо глубже, чем знают сами себя женщины, поэтому там, где они сочувствуют поверхности и хвалят обличительный тон, Альбертина плывет в глубине и никому не сочувствует; текст ее книги лишь сухо констатирует собственные желания женщин, скрытые от Я рефлекс, она лишь выплескивает это глубокое знание о тщетности, и никого не призывает бороться; чтение всегда было просто развлечением. Изломанные ритмы, стихотворения без рифм, разорванные каркасы –

в каком-нибудь веке это так же будет названо ориентиром, но Альбертине нет до этого дела. Она знает, что следовало бы младенцам – отхаркивать материнское молоко, чтобы умереть с голода.

Похоть, ее загадочные красные переливы, первый румянец, разрастающийся и похожий на опухоль; толстый эротический профиль мужчины, предлоги вместо слов, нагота вместо откровения, – Альбертина почти не знает этого мира. Ее взрывы хаотичны, пульсация своевременна, эта женщина не отдается размеренным движениям и не измеряет их по часам; эротичность для нее стыдливое замещение, «прикосновение к красоте» похабное изменение главного принципа порнографии – похоти. Она проталкивает его в себя, насаживается до последней капли униженности, просит сжать сильнее, просит ударить, она перестает быть женой его рыхлого тела, и становится выкупленной рабыней, добровольно распахнувшей шлюзы, невытая спящая красавица отдает свои заиндевевшие губки раздвигающим пальцам, пусть мужчина воняет, и седлает Альбертину своим вонючим телом, пусть все стекает на тело, а с тела на простыни, пусть будет много брани, она хочет, чтобы ее ударили; любой поцелуй воссоздает иллюзию какой-то чувствительности и близости, но иллюзии должны рассыпаться, мужчина должен седлать Альбертину ритмами своей похоти, его прошлое и будущее должно исчезнуть, вокабуляр умереть под напором внутреннего давления похоти, пусть он целует своим невымытым ртом, грязным членом ширит ее и вдвигается против течения; женщине следует покорно исполнять роль ослицы, пусть ослиная длина пришпорит ее этикет. Все игры и забавы кажутся Альбертине выкидышами, превентивно ничтожными движениями в полутьме, она если и хочет умирать, только при полной иллюминации, свет должен застревать в каждой ее дыре, каждый волос пусть блестит под светом ламп и любопытных глаз, пусть отполированная друг о друга плоть скользит в слизистой дымке. Проститутки появились в те годы, когда женщины не знали понятия стыда и не знали, как надо; их мамы не рассказывали, как следует ухаживать за лобком и каким волшебным словом мужчина способен растворить створки; их брали силой, или выкупали на полученные силой средства, с ними обращались так, как следует, с ними удовлетворяли свои настоящие желания, а не вымученные потуги и скучные супружеские номера, придуманные современностью. Женщине запретили быть женщиной, когда зашторили солнце над шлюхами, ночные знания начали передаваться из рук в руки, из поцелуя Билитис в раскрытые и жадные губы неофитки; женщине стало нельзя знать, а сквозь это забвение и мужчины разучились хотеть. Альбертина знает, что супружеские передвижения по ничтожности напоминают плач ребенка; ничто в них не искренне, ничто не задевает за живое, просто ссадины на колене, просто стерильное прикосновение. К этому знанию в ней нет ненависти, она просто переносит его в своих суставах и излучает фригидностью своей речи. Альбертине безразличны женщины-настоящие, и интересны лишь проститутки, ленно умирающие под партнером и свои мысли, направляющие на следующего, того мужчину, какой придет после этого, на всю вереницу мужчин, которым она успеет распахнуться за отпущенное время. Только похоть может быть интересна Альбертине, только похоть будоражит ее ум, но Альбертине кажется, что настоящая, заслуживающая внимания похоть никогда, возможно, не встречалась в реальности, она лишь плыла сквозь сознание, как грандиозный памятник, существующий лишь в гениальной проекции на бумаге, похоть не нашла того архитектора, чтобы во всю свою мощь греметь сквозь человеческие тела.

Ранним утром (розовый свет) она сидит на кухне, и толстяк говорит, что множество раз просил не стряхивать пепел на пол, Альбертина говорит, что помнит об этом, ее волосы небрежно заколоты, ее темные глаза безразличны. Похоть лежит

в пределах мысли, факторы реальности мешают им вырваться наружу. Он ест бутерброд, стоит уронить его, стоит испачкать рубаху, стоит оставить пятна, чтобы Альбертина улыбнулась; если он напряжется, подмышками растекутся желтые пятна, ткань прилипнет к телу, будут видны волоски, Альбертина вдохнет; иногда по утрам она трется о ножку стола, иногда расстегивает ему штаны, запускает туда кисть, начинает посасывать, чтобы узнать, принял ли ее благоверный утренний душ... но сегодня он никакой, его голос разносит слова о пепле, вкус его поцелуя сегодня ничтожен, пусть уходит на работу, у Альбертины накопилось множество дел. Стоит перестать мыслить о похоти, мечты никогда не осуществляются, а реальность не будет такой, как нам хочется. Реальность не может заслуживать внимания, как и фантазия не может его заслуживать, ведь фантазия – удел биологического существа, порожденного реальностью. Но, пожалуй, если реальность сделать излишне выпуклой, то есть нарушить ее этикет, нарушить ее нормативность, можно отыскать какие-то ее запретные углы, можно потереться о ее запретные углы, хотя бы пару минут настоящего, чтобы вновь возвратиться в пепельную скуку. Каждый раз пытаюсь набрать обороты, неизменно вступаешь в реальность, когда семя выходит из члена, и потраченное усилие обращается в отторжение, плоть с чавканьем пота отлипает от плоти, наступает холодное обострение тщетности, – Альбертина ненавидит совершать усилие, зная, что воздаяния не последует; движения слишком неловки, чтобы достигнуть цели, попытки реализовать похоть приводят к пониманию невозможности.

Она уходит из кухни, и толстяк кричит ей вслед, не желает ли она, мол, проводить его на работу, и Альбертина отвечает, что завтра проводит, всегда успеется. Она ступает в подвал, его холодная кубическая конструкция наполняет Альбертину чувством гармонии; совершенство идеи придает ей сил, несовершенство исполнения – трещины в штукатурке, пыль на полу, ящик с инструментами – лишает надежды. Больным не следует говорить со здоровыми, когда здоровые собираются на работу. Их разговор невозможен. Больные слишком честны, чтобы их мнению верили. Но в кубическом подвале Альбертине приятно, она забывает образы мужа и утреннюю ненависть в его сторону. Все уходит назад с наступлением тишины. Пожалуй, это идеальный подвал для похоти, он изолирует звуки и пресекает злословие, соседям неведомо прекрасные возможности подвала. Но, увы, подвал – это просто подвал. Альбертине не приходится по Его приказу ползти вниз на четвереньках и облизывать с тувель пыль, а в ее голове – почему бы и нет? разве стало бы кому-то хуже или – даже – разве что-то изменилось бы? Иногда она репетирует, повторяет отточенные фразы, заготовленные для минуты похоти, вкус штукатуренной стены напоминает вкус отмытого от дневных трудностей члена – никакого вкуса, никакого содержания. Она пишет в своем блокноте, что проститутки – всегда были важной кастой любого общества, именно тайное учение проституции, порождало великие идеи сквозь мужчин, которые либо пользовались услугами проституток, либо отдавали все силы, чтобы клеймить проституцию, и этими силами – опустошенностью, которая напоминает опустошенность после похоти – создавали свои идеи. Альбертина знает, что ее муж ушел. Он никогда не опаздывает на работу, он никогда не опаздывает с оргазмом. Его тело и дух работают, как часы – бессмысленно измеряют время. Тщетность движения выражена в глупом и очень человеческом понимании часов, в круговороте бесконечных повторений того, что не должно было совершаться даже одного раза. Похоть не может дублироваться, она реализует себя единожды, – записывает Альбертина, – она не перебирает варианты и не ищет лучшего кандидата на исполнение, она, как поэзия, приходит тогда, когда-то требуется исключительно похоти... и Альбертина считает, что меланхолия – это удел тех, кого похоть не посещает, но кому похоть рассказала о своем наличии.

Пожалуй, толстяк живет так успешно лишь оттого, что не знает о том, что тело его состоит из песка, деньги его пахнут потом, а дыхание – пепел. И сила его незнания так глубока, что Альбертина не сможет ему рассказать. Ведь никто не верит в слова больных. А потому – больным не следует разговаривать со здоровыми. Альбертина предпочитает молчание, и это молчание стало главным достоянием ее семейной жизни: толстяк ищет в ней тайну, но тайна эта в безразличии – Альбертине нет разницы, кто пробует ее на вкус и кто оплачивает ее болезни – но мужчины слишком любят свою рыхлость, чтобы додуматься до такого.

Стоит выйти наружу, в настроении внезапная перемена. Омерзительный куб давит на нервные окончания, не дает им солнца. Еще вчера Альбертина сказала бы, что ненавидит лестницы, как много на них ступеней, и никто не знает, как трудно заставить себя сделать шаг, как трудно иногда просто найти мотивацию подняться с холодного пола и сделать шаг. Но сейчас ненависти нет, все эмоции отступают достаточно быстро. Альбертина не умеет удерживать их в себе, не умеет растягивать или превращать в чувства. Как пришло, так и уходит. Она знает о глупости эмоций, но иногда подвержена им. По утрам ненавидит толстяка, а уже в обед лишь фактом помнит о ненависти и о том, как он храпит, как его дыхание преграждает дорогу снам, и каждое утро она громко думает, чтобы он умер, но ей не хотелось бы, чтобы он знал об этом, ведь она все понимает, Альбертина все понимает, все его хорошие качества – объективно приятные для ее болезни – и что на самом деле она не хочет, чтобы он умирал. Может, ей безразлично, и она ничего не почувствует, когда это случится, но она не желает, чтобы это наступало немедленно... она вообще ничего не желает прямо сейчас. Но иногда ей хочется, чтобы в лестнице было меньше ступеней, чтобы от жизни Альбертины требовали еще меньше, чем требуют. Пусть больше не говорит про пепел, у нее нет сил собирать его с пола, да и совсем незачем, ведь завтра будет новый пепел. Но сейчас ей не хочется даже это, все ощущения отступают достаточно быстро, чтобы предавать им значение. Если бы зашел разговор – Альбертина бы многое могла рассказать о своих минутных желаниях, она рассказывала бы досыта, ведь разговор такой же ничемное дело, как, скажем, написание книг, и требует от Альбертины так мало. Она сказала бы, что желает синих стеклянных камушков, именно камушков, стеклянных, большое чучело альбатроса, что хочет мировую известность, хочет пройтись по самым известным улицам мира... нашлось бы много, чего Альбертина могла желать. Но все это не нужно ей, а жизненный процесс устроен таким образом, что ей незачем говорить. Хорошо. Больные не понимают здоровых в той же мере, как и наоборот. Альбертине удобно называть свое состояние недугом, но это неправда. У нее не бывает головных болей, но она говорит, что у нее постоянная мигрень. Это удобно. Иногда так хочется удобства и тишины. От голосов Альбертину бросает в усталость, ведь каждому известно, что кто много болтает – тот рано умрет. Альбертина чувствует этот закон, и поэтому говорит мало. В ней слишком мало соков, чтобы проливать их при разговоре.

Сегодня лестница показалась ей не такой уж и длинной. По-крайней мере не такой длинной, как обычно. В Альбертине хватает мыслей, чтобы коснуться всего и покрасить это все в свои цвета. Это называется желчью, но имеет другую природу, нежели желчь других. Альбертина искренне считает каждый факт, каждую вещь и каждое биологическое существо ненужным и лишним на празднике смерти. У нее достаточно доводов, чтобы рассказать, почему собаки противны природе. Однажды она говорила с мужем об этом. Но он не понял, хотя все так просто. Ему никак не уяснить, что Альбертина презирает все, что пытается изображать какие-то духовные привязанности, ведь Альбертина знает, что привязанности просто вопрос привычки, просто привычка ума, Альбертина почти уверена, что душа, если она и есть, не

нуждается ни в чем, кроме себя самой; Альбертину раздражает в собаках их нарочитый и театральный фарс. Альбертина сказала, что собаки – проститутки самого низкого толка, а он только грустно покачал головой и ничего не понял.

Скоро мужчина вернется. Обычно мужчина хочет, чтобы его встретили с распахнутыми ногами. Пусть женщина обовьется вокруг, пусть мохнаткой протрет горести, вберет белые мужские слезы. Но у Альбертины все иначе, наверное, ей повезло. Он только спрашивает, как она провела день, и слышит, что она спустилась в подвал, а затем поднялась обратно. На этом все. По его лицу размазана улыбка, десны должны кровоточить от услышанного. Он берет себя в руки и спрашивает, готова ли она, мол, ты ведь помнишь, не так ли, и суфлирует, что сегодня вечером идем в гости, вечернее платье, чулки, ты ведь все помнишь, Альбертина. Конечно же. Она сумела подняться из подвала, а затем день куда-то кончился, иногда не остается сил, чтобы чем-то его заполнить, или не хватает сил станцевать запланированное. Альбертина покорно надевает чулки, она знает, что для толстячка это важная встреча, подумать только, ужинать с хозяином автобуса и его миленькой женой, обсуждать большую политику – но только по краю, ведь не гоже лезть глубже – движение небесных светил, и расхваливать стряпню жenuшки большого начальника. Конечно, она помнила об этом, Альбертине нечем занять себя, она помнила об этом... на улице люди смотрят, как ее ведут под руку, смотрят на сапфировые серьги в ее ушах, какая красота(!), завораживает, как массовое самоубийство. Девочка играет с щенком. Альбертина молча разглядывает тонкие руки, дешевое платье, виляющий хвост, и муж одобрительно улыбается ее молчанию. Он никогда не запрещает ей говорить, но иногда ему приходится плакать от сказанного. Бедный мужчина, он ощущает себя мучеником и заложником Альбертины, по воскресеньям ему кажется, что он главный герой молебна, ведь только ему достался столь непонятный крест; конечно, это подбадривает его мужское достоинство, и мужчина передергивает его в обеденный перерыв; мало кому дается такое счастье – мастурбация на образ собственной жены. Мало кому повезло так, как этому водителю автобуса – он ведет Альбертину, породистую суку местного разлива, случиться с которой хочет любой; какие все же красивые сапфировые серьги в ее ушах, как повезло Альбертине (!) – любимая теща превратилась в сапфировые серьги. Вот улица кончается, наступают ступеньки, ее муж самодовольно стучит в дверь. Ему так приятно посещать чужие дома, когда рядом Альбертина – диковинное животное, да-да, с юга Африки, безумно редкий товар.

Наступает пора приветствий. Истеричных заигрываний, кокетливых поцелуев. В дверях молодежавая, но за шестьдесят, одета со вкусом, и ее муж, трахающий молоденьких без оглядки на вкус жены. Альбертина не может запомнить, как зовут эту женщину – это не важно – ведь такие ужины случаются раз в миллениум, большой начальник угощает ужином своего лучшего работника. Толстяк постарался: выскулил премию, выскулил ужин.

**Большой начальник.** Альбертина! Вы обворожительны!

**Альбертина.** Это пионы.

**Большой начальник.** Я про серьги.

**Альбертина.** Но вы смотрите на чулки. Это пионы. Ручная вышивка.

**Женщина.** Она у вас такая бойкая! Рада вас видеть!

**Альбертина.** У него. Да. Вы хорошо подмечаете нюансы.

**Муж.** Ох, Альбертина... Добрый вечер.

**Женщина.** Ну входите же.

**Альбертина.** Куда мне сесть?

**Женщина.** Где будет удобно. Сегодня прекрасный день, правда?

**Муж.** Да. Это свинина?

**Большой начальник.** С фермы.

**Альбертина.** Прямо с фермы?

**Большой начальник.** Конечно!

**Альбертина.** Я предпочитаю жареное.

**Муж.** Сколько тебе? *(но Альбертина отмахивается)*

Стол в дорогой комнате. Все обставлено по вкусу жены начальника, ей больше некуда выплеснуть свое горе. Целыми днями она носится вдоль линии комнат, чтобы уничтожить даже намек на пыль. Альбертина знает о ней все. Трудно не знать. Обширные люстры, на столе сервиз «Мадонна», разве что-то остается неясным(?), кажется, вся реальность этой женщины сейчас лежит на поверхности этого стола. Но стол находится в дорогой комнате, а значит, у женщины нет выхода.

**Муж.** Сегодня утром, на \*\*\* сел мужчина, а на остановке забыл портфель...

**Женщина.** И что же было?!

**Муж.** Вернулся, наверное. Завтра узнаем.

**Большой начальник.** Верные слова. Завтра! Вот почему я так вами доволен, вы всегда знаете, что завтра выйдете на работу. Наверное, вам это в радость. Альбертина, о чем вы задумались?

**Альбертина.** Ни о чем.

**Большой начальник.** Женщине это можно.

**Альбертина.** Вы хотите сказать, что женщине вовсе не стоит думать?

**Женщина.** Конечно, нет! Дорогая, он имел в виду, что женщинам иногда позволительно отвлечься от мужской беседы.

**Альбертина.** Понимаю. Позволительно. Но дело в другом, некоторые мысли непозволительно высказывать вслух.

**Женщина.** Бросьте! Здесь все свои. Говорите.

**Альбертина.** Я смотрю на свою тарелку. Два кусочка мяса. Кажется, им так одиноко, вы не находите?

**Женщина.** Мечтательница!

**Муж.** Она пишет книги.

**Большой начальник.** Правда? Какие, Альбертина? Почему мы еще не читали вас?

**Альбертина.** Мой муж слишком занят завтрашним днем, чтобы знать, чем я занята. Я не пишу книг.

**Женщина.** Так что с мясом? *(следует спрятать беседу от потаенных углов)*

**Альбертина.** Ему одиноко. А я слышала, что в цивилизованных странах к свинине подают гарнир.

**Муж.** Альберта...*(шепотом)*

**Женщина.** О, как метко, сейчас-сейчас...

Она выскальзывает из-за стола и убегает, наверное, пытается отыскать кухню. Начальник откланивается, чтобы помочь ей. Наверное, большие пионы, ручная вышивка, на ногах Альбертины так подействовали на него, сейчас, как гарнир к этому виду, пойдут и сальные скучности жены, прижав ее к духовке, он проникнет в нее сзади. Такие мужчины, залысины и серьезные глаза, слишком падки на дешевые аттракционы, так же легко они забываются и в утешении. Нужно впитаться в родной пиончик.

**Муж.** Альберта, я прошу тебя...

**Альбертина.** Я не сделала ничего, чтобы говорить со мной в таком тоне. Я не сумасшедшая, убери свою вкрадчивость.

**Муж.** Сделай это ради меня, один раз.

**Альбертина.** Я уже это слышала. В брачную ночь ты захотел в задницу.

**Муж.** Альберта!

**Альбертина.** Что? Я понимаю то, но не понимаю этого. Не понимаю твоего страха говорить об этом. Но в этом было больше простора. Мало кто остается девственницей после брачной ночи, это открыло мне новые горизонты.

**Муж.** Я люблю тебя, и ты это знаешь.

**Альбертина.** К чему это? Я не могу их терпеть. Особенно, когда они нарушают собственные правила. Если большой начальник слюнявит мне щеку, пусть его жена подает мясо с гарниром... я так устала. Жаль, что ты не можешь этого понять.

**Муж.** Ты ничего не делала.

**Альбертина.** Я же сказала, что мне жаль. Ты не можешь этого понять. Мне хочется смотреть в небо, и чтобы плыли облака, а потом началась гроза. Пусть будут молнии. Я хочу никуда не двигаться, и чтобы мое тело не испытывала холода; я хочу наблюдать за своим телом издалека. Но я не хочу быть здесь. Никогда не хотела ничего подобного. Эти диалоги написаны плохим драматургом, пьеса о жизни праведных бургеров с трикстером в исполнении Альбертины. Я не могу выдохнуть... который год не могу, и который год ты не можешь этого понять. *(но при этом она знает, что диалоги эти и не могут выстраиваться иначе, что реакции предсказуемы, и столь же картонны, пусть и исполнены более пафосно, под Шопена, с органом и струнными. Она пишет книги, о да. И все спросят какие. О проститутках, господ. Смущение. Пауза. Большой босс трактует намеком. Но никаких движений и перемен. Альбертине привычнее редуцировать лишнее)*

**Муж.** Я принимаю это.

**Альбертина.** Давай помолчим.

**Муж.** Я тебя люблю Я хочу, чтобы ты помнила об этом.

**Альбертина.** Зачем?

**Муж.** Потому что это меняет все.

**Альбертина.** Это ничего не меняет. Это просто твои чувства. А моя невозможность – это мои чувства. Но ты почему-то считаешь, что твои должны как-то влиять на мои. Но ты беспомощен в этом. Ты просто обожаешь себя за эту любовь, и считаешь, что все должно быть по ее воле, но любовь не имеет значения в этом случае...

**Муж.** Она всегда имеет значение.

**Альбертина.** Кроме подобного. Иногда она досаждаёт мне; то, как ты трясешься над ее наличием, ты боишься потерять любовь больше, чем меня. Но это тоже неважно. Она досаждаёт мне своей неважностью в моем вопросе и тем, что ты этого не понимаешь.

**Муж.** Но...

**Альбертина.** Если твоя любовь так хороша, почему ты не спасешь меня?

**Муж.** Я пытаюсь...

**Альбертина.** Давай помолчим.

**Муж.** Нет...

**Альбертина.** С меня хватит!

Она встает из-за стола, смотрит в глаза мужу, сказать ей нечего, сколько лет можно говорить о чем-то, что не имеет значения? Нет никаких эмоций от таких бесед, и нет никаких следствий, их не может быть. Их придумывают женщины, пишущие сентиментальные романы. Этих женщин кусают за половые губы, и они выдумывают иные плоскости. Но на самом деле разговор не имеет значения. Случается такое, что и любовь не имеет значения. И что первый раз у Альбертины был в задницу. Все это лишнее. Это просто шум в ее воздухе. Она идет к выходу... пусть он скажет, что у нее болит голова, ведь все знают про мигрени Альбертины, про ее своенравный характер, но никто не знает про лживость ее колкости: сентенции всегда рождены пустым сердцем. Софизм – хорошая и правильная форма

беседы, но Альбертине не нужен диалог, поэтому она отрицает даже эту идеальную его форму.

**Муж.** А ты любишь меня? Хоть немного.

**Альбертина.** Это ничего не меняет, но почему бы и нет?

**Женщина.** А вот и гарнир! Альбертина!

**Альбертина.** Вы должны меня понять, как женщина женщину. Очень сильные боли. Лучше в ванну, и накрыться одеялом.

**Женщина.** О, конечно.

Дни цветущих пионов. Альбертина знает тысячу наречий, язык каждого жителя города. Миллионы бессмысленных волн текут от нее к их ушам, она всегда на гребне их понимания.

На улице Альбертина сгибается в пояснице от приступа удушья. Это называется пониманием вины. Но ничего уже нельзя сделать, ведь больные не могут предотвратить проявление своих болезней; Альбертина в чувстве вины, чувстве удушья, чувстве минутного раскаяния, которое вскоре пройдет, и наступит длинная менопауза холода. Вокруг будет город, все такой же нестройный, как тонзура в окружении кладбища, выбритая пустота, призванная обеспечить удобство; в городе живут люди, прячущиеся от правды и желающие скоротать свое время внутри выбритого полиса, а потом спрятаться в густом кладбищенском лесу, люди так мечтают, чтобы ничто не тревожило их ожидание смерти; вокруг в серости и никчемности растут из земли социальные институты и религиозные дискуссии, интеллектуальные умы скручиваются и вращают телами, как аскариды, их накаченные знанием мускулы ощущают свое могущество; под городом, как кровь, темная и неясная мякоть человеческой природы дает и будет давать о себе знать кровавыми цунами, чудовищными похищениями младенцев, женоубийством и прочими глупостями; завтра и послезавтра город будет таким же, как и сегодня, украшенный новыми гирляндами и проталкивающим сквозь свои улицы новых людей. Прямая кишка сокращается, добиваясь пустоты, Альбертина выдыхает сострадание к мужу и принимает прежнюю форму. Больные вынуждены добиваться безопасности своими, только больным ясными методами. Альбертина идет по городу. Она давно не ждет никакого бессмысленного понимания, даже если оно случится, – ничего, кроме временного понимания не появится в жизни Альбертины. Если она испытала минутную жалость, то лишь от того, что в ней все еще существуют надежды. Как и все остальные, Альбертина чего-то хочет, и ее отличие от других – понимание социальной небезопасности и бесполезности человеческой свободы. Понимание в этом веке – болезнь ума. Понимание города со всеми его темными пятнами, замкнутого в трех измерениях, изведенного во всех направлениях, с человеческими сколопендрами, сегменты тел которых изучены чьими-то пальцами и языками, чьи внутренности прочесаны членами и фалангами. Мужчины, идущие по улицам города, не предлагают своим женам анальный секс, потому что «так нельзя», но анально проникают в проститутку и тех, кто встречается им на обочине. Мужчины, идущие по улицам города страдают мизогинией потому, что женщины достойны ненависти. Женщины, идущие по улицам города, готовы платить своим телом за легкие деньги. Женщины и мужчины, идущие по улицам города, считают себя единственно достойными счастья, неоченными вселенной и униженными. Альбертине давно не жалко людей, они стоят ровно столько, сколько готовы за них предложить: четыре пфеннига за глубокий минет.

Альбертина идет в сторону вокзала, и вокруг нее мир, который понятен уму Альбертины. Мир и его жители, желающие добиться права голоса, вето, свободы и понимания, выгодных инвестиций и гарантов безопасностей, удовлетворения

потребностей, удовлетворения чрезмерностей, детальности и сладострастия, желающие вначале своих невест, а затем чужих жен, разочарованные в настоящем и обналичившие прошлое, живущие от перемены до перемены, замкнутые в социальные институты, примыкающие к политическим партиям и религиозным идеям, чтобы закрыться моральными нормами и получить одобрение духовника, чтобы заплатить свою цену и пожать крамольный урожай, желающие вырваться из устоев и обрубить корни, и напоминающие о корнях и устоях, ради сохранения эмоциональных привязанностей, разложившие вселенную на «да» и «нет», редкие избранные, осознающие свою гениальность в разговоре с медузами и в кокаиновом трипе находящие тайные знаки, учителя и гуманисты, и оппозиция дегуманистов и развратителей, сталкивающиеся волнами и в дуэли ради собственной правды и защиты индивидуальной правды, оправдывающие нищету и возводящие ее в индульгенцию, – текли по улицам мимо Альбертины. А если кого-то из перечисленных не было, то Альбертина знала, что они все равно существуют. Где-то в своих домах они сколочены в группы и ненавидят. Они бьют своих жен, чтобы те вобрали ударами истину. Они насилуют своих дочерей и прикасаются к прекрасному. Местечковые поэту спорят о направлениях. Каждый защищает территорию, свои ничтожные садовые уголья, а затем в какую-то минуту рвутся на всех порах к новым угольям и новым ценностям, каждый имеет свое мнение на тему Альбертины, ведь мнение – очень важная валюта для тех, у кого не хватает денег купить голоса. Вокруг бушуют мнения, разделенные на «приличные» и «нет», и у паств двух этих мнений есть мотивы исповедовать их; вся эта жизнь должна быть под завязку забита сомнениями и знанием о правде, чтобы хоть какая-то дорога сохраняла очертания. И именно поэтому идущие мимо Альбертины так боятся первобытных матерей и цепнях псов, подлунных скитальцев и Безумного Короля, боятся невидимых пальцев иного мира, который иногда вторгается

и происходит минутное столкновение с тем, чего не могут осмыслить моральные категории. Первобытное зло, наделенное лицом сладострастной педофилии (которое совсем не то, как у тех отцов-с-дочерьми), вычурная романтически-выгнутая некростенция, теплая шелковистая ткань любви к внутренностям... Альбертина могла понять эти влечения, и потому Альбертина была больна. Могла осознать, что толкает убийцу на совершение хладнокровного убийства, и даже не могла осуждать его, как понимала и не могла осуждать боль и негодование родственников убитого. Она могла это вобрать в себя и могла объяснить тем, кто желает услышать, но желающие не рождены. Все ведь достаточно просто. Но люди, поставившие на колени мораль или поставленные моралью на колени, не могут вобрать и потому правильно оценить существование тех, кто никак не приложен к морали, кто чужд ей, то есть – болен. Заключение в клиниках, утопленные толпой, живущие в темноте и придавленные массивом города, – это их кровь течет под цивилизацией, невидимый поток и страшная язва, именно их дыхание вызывает коровий мор, их движения оставляют колдовские круги, живущие вне дороги, – являются причиной появления городов. Так Альбертина, уничтожающая жизнь своего мужа, заставляет его чувствовать свою жизнь и бороться за нее; так он борется с Альбертиной, но знает, что полное уничтожение ее, изгнание за границы своего города, приведет к исчезновению города, уничтожению жизни, и потому он – бездеятельный, но противостоящий Альбертине – не двигается с места и ничего не предпринимает. Он живет с больной, и потому знает о своем здоровье.

И вот – перед лицом Альбертины раздутое, даже опухшее тело цивилизации, единственная задача которого – всеми силами своего многообразного

инструментария каждодневно не задумываться о целесообразности собственного наличия.

...

Вот и вокзал, Альбертина покупает билет на поезд. Она взволнована и на то есть две причины. Первая – она не так уж часто сбегала из дома, чтобы перестать опасаться новизны. Вторая причина – сам вокзал, ведь вокзал это всегда преддверие Большого Путешествия, всегда шанс и опасность неведомой встречи, где, как ни на вокзале стучит женское сердце, а женские глаза ловят случайные взгляды(?), кому, как ни поезду, сталкиваться с неведомым; ему, пересекающего магистрали мертвых, ведомы многие направления, стоит машинисту отвлечься хоть на мгновение, и жизнь пассажиров может кардинально изменить курс. Большое Путешествие – двойное чувство. Оно дарит воздух, а затем отнимает его подчистую. Это как ссуда, нужна огромная решительность, чтобы доверять Большому Путешествию; решительность или меланхолия, что, в центре, суть одно.

Вагоны комфортабельны, и их конструкция никак не напоминает темные материи, эмпирии скрыты железными крышами, а постоянный сквозняк уничтожает запахи прошлого. В поездах случается множество преступлений, видимо потому, что паника от Большого Путешествия расширяет какие-то особые векторы внутри, а все потаенное обнажается от быстрой езды. Поезд едет сквозь множество городов, и, конечно, никто не выходит на этой станции, все двигаются дальше, и когда Альбертина входит внутрь, она видит, что всюду сидят мужчины, соседство с которыми опасно для мыслей, и только одно купе занято одинокой женщиной. На Альбертине чулки с пионами, и сегодня ей нет дела до кокетства, она выбирает безопасность женской болтовни всем остальным возможностям. Пожилая женщина в желтом жакете, солидная учительница, у которой проблемы с щитовидной железой. Она читает книгу, но как только появляется Альбертина, откладывает, ведь книга совсем не то, на что порядочные люди должны тратить время при наличии альтернативы.

**Пожилая женщина.** Я была у своего сына, недавно он женился, а сейчас возвращаюсь обратно. Это такая славное чувство, когда понимаешь, что все сделанное – верно, будто бы реальность, которая на минуту отклонилась от курса, была возвращена мною на место.

**Альбертина.** Как любопытно.

**Пожилая женщина.** Конечно, так. У старых людей и не может быть другого удовольствия, но сейчас вы скажете, что я не так уж и стара, правда?

**Альбертина.** Зачем же? Я не опровергаю правду.

**Пожилая женщина.** Я вижу вы расстроены. Иначе бы говорили иначе. Куда вы едете?

**Альбертина.** Расстроена? Пожалуй, нет. Я не расстроена, ведь это – просто нарушение ожиданий. Ничто не нарушало моих ожиданий и не обманывало меня, скорее иначе, все идет именно так, как я предполагала. Но я не могу радоваться той реальности, которую вы возвращаете на место. Я ушла от мужа, а теперь еду вперед в ожидании, что он вернет меня. Это не романтическое ожидание. Оно тревожно. Это не то, чего я жду, но то, что я безразлично ожидаю.

**Пожилая женщина.** Вы уверены в его любви.

**Альбертина.** Да. Его любовь – это стремление к простоте. Его любовь сама простота. И чтобы не нарушить этого, он вернет меня обратно. Я не его ценность, и он не видит меня вещью, как бывает. Меня должно бы радовать это, но я нахожу другие причины для грусти. Его стремление к упрощению возвратит меня. Иногда люди живут слишком долго в одинаковом ритме, чтобы решиться на прочее.

**Пожилая женщина.** Это и есть любовь.

**Альбертина.** Если избавиться от романтической окраски слов, именно так. А как ваш сын?

**Пожилая женщина.** Пытается идти путем вашего мужа. Но его жена. Она любит его слишком сильно, точнее, показывает свою любовь больше, чем прилично. Это приводит к дурному. Я объясняла ей, как обращаться с мужчиной, ведь первые месяцы люди объясняют друг другу, как будет протекать будущее, а затем лишь живут повторением этих месяцев.

**Альбертина.** А если она не хочет этого?

**Пожилая женщина.** Она не может не хотеть жить так, ведь она вышла замуж.

**Альбертина.** Значит, ее счастье невозможно? И вы считаете ее непригодной к счастью?

**Пожилая женщина.** Вы говорите так, будто видите счастье в чем-то другом.

**Альбертина.** Я не вижу его.

**Пожилая женщина.** Вы говорите так, желая привлечь внимание к тому, что здесь и сейчас вы несчастны. Я понимаю это удобство. Вы сетуете на несчастье, чтобы оно было тотчас разбито, ведь несчастье изнутри – ощущается состоянием подготовки к выходу из несчастья.

**Альбертина.** Я о том несчастье, которое наступает после этого состояния. Когда долгое ожидание не отыскало завершения. Несчастье, следующее за этим, придуманным несчастьем.

**Пожилая женщина.** Нет такого несчастья.

**Альбертина.** Как не существует той необходимости, какой вы нагружаете свою невестку.

**Пожилая женщина.** Я нагружаю ее лишь тем, что пригодится в пути. А вы говорите о состоянии, которого не существует, и к которому, будто бы, причастны только вы. Вы считаете себя особенной, как и все женщины, и когда мир не ощущает вашу особенность, чувствуете горе. Но стоит вам принять свою обычность, и все несчастье исчезнет. Ведь вы даже не знаете, почему ощущаете свою особенность.

**Альбертина.** Если ни вы, ни кто другой не может понять моих слов, значит в моих словах есть что-то неподвластное вам, и значит, я с ними наедине, то есть мои слова особенны и чем-то отличаются от всех других слов.

**Пожилая женщина.** Или в ваших словах нет смысла, а люди привыкли обмениваться совсем не словами, как вы думаете, а смыслами, которые обличены в слова.

**Альбертина.** Значит, вы видите какой-то смысл?

**Пожилая женщина.** Множество смыслов. И жизнь, как передвижение от одного смысла к другому. Старость же я вижу славным временем объяснять другим эти смыслы.

**Альбертина.** А если я – не двигаюсь?

**Пожилая женщина.** Значит, вы просто не хотите замечать своего движения.

**Альбертина.** Мы ведь обе находим бесполезность этого разговора?

**Пожилая женщина.** Только вы.

**Альбертина.** А какой смысл ВЫ видите в этом?

**Пожилая женщина.** Я четко знаю свое направление, и понимаю, что не все вещи претендуют на важность, но и в них, этих малозначительных вещах, скрыто свое удовольствие. Смысл этой беседы – в уничтожении времени, потому что время это я должна провести в поезде.

**Альбертина.** Но у вас есть книга.

**Пожилая женщина.** И она останется у меня завтра, а вы уже ускользнете. Это называется приоритетом. И его понимание – важная черта семейной жизни. Я ездила в гости к сыну, чтобы объяснить невестке это простое правило. Она не имеет права

читать книги, пока не приготовлен обед. Ее обязанности священны. И только когда святость завершена, она может позволить себе развлечение. Но и развлечение должно быть завершено, когда наступит время завершения. Нельзя позволять себе слишком много.

**Альбертина.** Но если она не хочет готовить ему обед? Что, если она не считает, будто в ней для этого достаточно мотивов?

**Пожилая женщина.** У нее есть мотив. Этот мотив называется здравый смысл. Ведь если она будет читать по одной книге в неделю, вместо семи, но не спровоцирует мужа на убийство, к концу жизни прочитанных книг выйдет больше.

**Альбертина.** Как любопытно. То есть, она обязана из страха смерти, из страха перед той смертью, которую вы одобряете?

**Пожилая женщина.** Не одобряю. Но если муж убьет ее, бедняжке уже не поможет мое негодование. Ей уже ничего не поможет, ни ваше возмущение, ни раскаяние мужа, отповедь священника и даже черви в земле ей не помогут. Это опасное время, и мы должны это понимать. Следует спасать себя от всех возможных угроз, то есть – выполнять свой священный долг. Это непреложный закон, и он требует, чтобы женщина готовила обед, а в отведенное время отдавалась мужу ради зачатия потомства.

**Альбертина.** А если она считает это бессмысленным?

**Пожилая женщина.** Она может считать так, как ей угодно. Но если она не сделает этого вовремя, ярость ее мужа будет расти, а когда дойдет до краев – выплеснется на нее. Она должна родить из страха.

**Альбертина.** Тогда зачем выходить замуж?

**Пожилая женщина.** Из страха.

**Альбертина.** То есть, страха избежать нельзя?

**Пожилая женщина.** Дорогая, я каждый час боюсь, что мое сердце остановится от старости.

**Альбертина.** И я не вижу в этом ничего дурного. Если ваша жизнь состоит из обязанностей и страха, то смерть будет просто прекращением этих обязанностей и страха.

**Пожилая женщина.** А моя Эльфрида? Ей всего двенадцать, и она – уже порождена мною из страха перед мужем. Что будет с ней? Сейчас, если бы я могла, прервала бы свои обязанности до первого ребенка, но в том возрасте у нас еще нет понимания, а теперь – я мать, и живу ради своих детей. У вас есть дети?

**Альбертина.** Нет.

**Пожилая женщина.** Тогда все ясно. Ваша печаль – продукт скрытого гнева того, кто не получил от вас наследника.

**Альбертина.** Я не думаю, что так.

**Пожилая женщина.** Мысль – просто продукт вашего восприятия. А я говорю о факте.

**Альбертина.** Но вы не можете знать факта.

**Пожилая женщина.** Старость всегда знает факты.

**Альбертина.** И вы живете, чтобы донести эти факты Эльфриде, чтобы та в свое время так же задумалась о смерти и невозможности умереть лишь потому, что вы внушили ей эту невозможность.

**Пожилая женщина.** Эльфрида не умрет лишь потому, что будет любить своего ребенка.

**Альбертина.** А если нет?

**Пожилая женщина.** К счастью, это невозможно. Я пресекаю в Эльфриде всякие зачатки такой, как вы.

**Альбертина.** Это не так. У меня нет зачатков. Это клиническая депрессия. Приходит из ниоткуда, и не уходит никуда.

**Пожилая женщина.** У всего есть начало. Однажды Эльфрида опоздала на обед, я ждала ее пятнадцать минут, и когда она вернулась, то рассказала, что танцевала с феями. Я подумала, что ее изнасиловали, и выпорола ее...

**Альбертина.** Вы выпороли ребенка за то, что ПОДУМАЛИ, будто его изнасиловали?

**Пожилая женщина.** Конечно, ведь если с ней сделали это, значит она ослушалась свою мать, и покинула отведенную для игр территорию. На такое у нее если и есть причины, то о них лучше тотчас забыть. Это священное правило. Так вот... на ужин я подала ей гнилое мясо, а потом Эльфриду рвало. В следующий раз, когда она вновь фантазировала, ей вновь пришлось есть гнилое мясо. На этот раз более видимо гнилое... на тарелке ползали черви. А потом я поставила новые куски сырого мяса на подоконник, чтобы солнце и мухи проникали в него, и Эльфрида понимала, что, если она вновь откроет свою фантазию, ей придется есть это мясо. Я думала, этого будет довольно, но обман повторился. Тогда ей пришлось съесть только червей, а мясо оставить. Мы не так дорого живем, чтобы переводить мясо, а как известно, одна порция может производить множество порций червей.

**Альбертина.** (*хохочет*) замечательно.

**Пожилая женщина.** Я знаю о чем вы думаете.

**Альбертина.** Даже не сомневаюсь.

**Пожилая женщина.** ... думаете, что моими глазами смотрит сумасшедшая. Что я продукт морали, которую вы ненавидите. Что я не понимаю ужасов, о которых говорю. Но вы ошибаетесь, моя дорогая.

**Альбертина.** Вы кормите свою дочь червями, а я ошибаюсь. Несомненно, правы снова вы.

**Пожилая женщина.** К несчастью. Ведь я, продукт всего, что ненавистно вам, испытываю крохотную радость даже от нашей беседы, тогда как вы, осуждающая и подвергающая споры даже священные правила, не способны на такие крохи радости. И если вам не известен высший смысл, как и мне, так не стоит ли жить так, чтобы хоть малейшее доставляло вам радость?

**Альбертина.** Я ищу большего.

**Пожилая женщина.** Но вы не найдете.

**Альбертина.** Потому что я больна.

**Пожилая женщина.** Вы не найдете, потому что ничего нет. И в этой пустоте вы любите свою болезнь так же, как я люблю Эльфриду. Вы отдаете всю свою жизнь этой болезни, вы платите ей жертвы и возносите почести. Вы защищаете ее так же, как поборники морали защищают мораль. Вам кажется, дорогая, что вы избраны чем-то высшим лишь потому, что окружены чуждыми вам. Но если поместить вас в клинику, вы поймете, что являетесь такой же посредственностью, как и все прочие больные. И эти больные отличаются от поборников морали только тем, что сопротивлением этикету и нормам лишают себя малочисленных секунд счастья, отведенных человеку. Ваша болезнь не делает вас особенной. Она – просто центр вашего внимания, и как каждый человек ощущает свой центр центричнее и значимее центров других, болезнь – становится вашим кумиром, а защита ее интересов – становится созданием морали и правил. Вы зашорены и блуждаете в темноте.

**Альбертина.** Вы не понимаете меня.

**Пожилая женщина.** Напротив, ненавистная вам любовь к закону, не мешает мне понимать вас и принимать вашу позицию, слышать ваши доводы, которых нет, тогда вы, слыша лишь себя, не поняли ничего из сказанного мною.

**Альбертина.** Я не нуждаюсь в этом. Ваши слова так же бессмысленны, как и все остальное.

**Пожилая женщина.** То есть – как и ваши слова.

**Альбертина.** Конечно. Я предпочитаю молчание.

**Пожилая женщина.** Тогда вы должны предпочесть смерть, но вы не можете умереть, пока не отдадите всю дань своей болезни так же, как я отдаю дань Эльфриде.

**Альбертина.** Вы кормите ребенка гнилым мясом. Я напоминаю, что мое – не травит остальных.

**Пожилая женщина.** Кроме вашего мужа.

**Альбертина.** Если он отравлен, то уйдет.

**Пожилая женщина.** Вы переоцениваете возможности отравленных.

**Альбертина.** Он уйдет, если захочет.

**Пожилая женщина.** Тогда вы найдете другой объект, чтобы травить его своей правдой о жизни.

**Альбертина.** Возможно, я найду понимание.

**Пожилая женщина.** Это несложно. Ваши слова лаконичны и понять их может каждый.

**Альбертина.** А то, что стоит за ними?

**Пожилая женщина.** А что стоит за ними, если вами же сказано, что слова не имеют смысла?

**Альбертина.** Возраст научил вас софизмам и искусству отравления.

**Пожилая женщина.** Возраст научил меня многому.

**Альбертина.** Что бы вы не сказали, мне противны ваши мещанские ценности. Я понимаю их исток, понимаю их выгоду, но при всем желании для меня нет возможности их исповедовать.

**Пожилая женщина.** И это я понимаю. Поэтому Эльфрида ест гнилое мясо, когда позволяет себе не любить эти ценности. Уже скоро она свяжет отравление со свободомыслием, и откажется от него. Я мать, и в мои обязанности входит любовь к моему ребенку. Любовь это пролегает сквозь темные зоны, но нет другого пути. Я приношу маленькие жертвы, чтобы Эльфриде не пришлось приносить большие. Если она взойдет на ваш путь, то гибель ее неизбежна, и дорога к этой гибели будет руинами. Она должна полюбить ту жизнь, в которой есть надежда. Есть лживые идеалы. Есть прочные, пусть и мнимые, ценности. В древности носили обереги, чтобы спастись от сглаза. Но чтобы обереги работали, необходима вера. Амулетами и заклинаниями нашего столетия стали закон и нравственный долг. Чтобы жить хотя бы полутьме, а не в слепом безнаделье и бессмысленном поиске, я обязана приучить Эльфриду истинно верить в ценности и нравственный долг. Если она заплатит сейчас, может, искупит свою боль минутами счастья. И моя обязанность – подарить ей эту возможность.

**Альбертина.** Но она должна искать свой путь.

**Пожилая женщина.** Но пути нет. И я знаю об этом. Я хочу, чтобы Эльфрида узнала об этом в моем возрасте, а не в вашем. После получения этого знания – счастья нет. Пусть у нее будет возможность ощутить его, пусть у нее будет хотя бы возможность...

**Альбертина.** То есть, вы понимаете, что навязываете ей ложь?

**Пожилая женщина.** Конечно. Я не знаю, с чего вы взяли, что исповедуют лишь то, что непогрешимо.

**Альбертина.** И вы знаете, что Эльфриду ждет разочарование?

**Пожилая женщина.** Возможно, она не слишком умна, и тогда нет. Но в противном случае – конечно.

**Альбертина.** Это чудовищно.

**Пожилая женщина.** А вам – не чудовищно?

**Альбертина.** Мне всегда было так.

**Пожилая женщина.** Я знаю, что вас уже нельзя причастить, но, если бы был выбор – каким бы он был?

**Альбертина.** Я все еще верю в большее.

**Пожилая женщина.** Нет, вы просто все еще любите свою болезнь.

**Альбертина.** Некоторые болезни неизлечимы.

**Пожилая женщина.** К счастью, пищевое отравление не является подобным.

...

Большое Приключение – сладостный водоворот, молот слов по тонкому слою медной печали; печальный медный перезвон в ушах, не стоит воспринимать его всерьез; Большое Приключение – как детский аттракцион, бессвязное перечисление, где количество развлечений составляют наслаждение. Ничто не может держать стойкое лидерство в голове Альбертины. Вот она вышла на перроне, и все снова бессвязно. Другой город, другие декорации, но остальное остается прежним. Широкие улицы, серые тротуары, кафетерии, за стеклами которых развалились на столах дряхлеющие потаскухи, им только дай поразглядывать мужиков, дай позагадывать о размере члена и кошелька; они лежат, как опиумные, бахромой на своих рукавах протирают пыль, кричат *garçon*, тот подносит новую выпивку, с каждым залпом пьянеющей душе все больше мечтается о мужчине; широкие улицы, мужчины под руку с набившими оскомину женами, но куда матка может содрогаться и породить, женщина остается при деле; дороги-дороги, кого на них только нет, в ночном воздухе множество холостых и веселых голосов, звучат вульгарности и заманчивые обещания, для приличия обсуждают вчерашние новости, но больше, конечно, еблю-еблю-еблю, обсуждают округлые огни, рыхлые вмятины, и что «думал она бутылочка, а потом как воробья в ангар выпустил», обсуждают кто и кому, советуют тех или этих, делятся и продают их на распродаже. В городе богатый рынок измен, но все же он, пусть и больше, чем город Альбертины, окружает себя белым штaketником. Символ вселенской стабильности закусывает дома и уютные палисадники. Умерших детей хоронят у изгороди. Молодые любовники закрашивают облупившуюся краску. Рожавшая только дважды – считается почти ненюшенной. Этот город отличается от других городов, как способны отличаться два человеческих лица – ничего примечательного, но несколько иначе посажен нос и разные интонации – здесь есть очень богатые дома, где нувориши называют пакостливо называют дочерей книжными именами Альбертина, Гертруда, Одетта, Жильберта, Вивьенн, а потом отпускают эти бумажные корабли в паскудное плавание. Есть нищие дома, где начинают и рожают на одной и той же простыни. Здесь многое есть, но все почти такое же, как и везде. Тротуары, аллеи, ожидания, глупости, в небе горят звезды, проститутки улыбаются и делают вид, что они не проститутки, и обычные дамы улыбаются, мечтая стать проституткой. Город достаточно крупный, чтобы обзавестись собственными легендами и опасностями; широкий, и можно спрятаться от молвы, он порождает собственных неизвестных поэтов с гуманистическим идеализмом вместо сердца, но тут и там слышен кокотский плач и сказки о любви, разбитой, потухшей, обретенной или несуществующей. Моряки выуживают свою дань из бабьего моря. Сор и срам порождает ненужное потомство. Священник не успевает обмывать и исповедовать. Впору лопнуть от спермы, какой накормили многочисленные мужчины своих многочисленных женщин. Великое колесо Развода и Нового брака проворачивает оси своих надежд, и курс его пролегает сквозь этот мрачный мир белого штaketника с той же периодикой, как и сквозь больной мир Альбертины; Великое и славное

колесо Смерти ребенка и Рождения нового, славное злочервонное колесо дефлорации, дыхания, судороги, пусть блещут его небесные спицы, этого Великого колеса Зачерпывания до дна и Отхаркивая в океан жизни.

Альбертина идет единственно известной дорогой. ОТЕЛЬ дешевой, но выглядит добротной. Стоит с того времени, когда люди верили в совершенство и стремились к точности, математические устремления нашпиговали отель удобными номерами, чтобы мужчине было комфортно выдерживать крючком интеграла полагающее ему удовольствие из бесконечного числа женщин. Здесь удобно супружеским парам созидать тройственность, или в уютной душевой вымывать ее возможность из своего лона. В этом отеле Альбертина провела брачную ночь и, потому как она нигде больше не бывала, именно сюда ее привел побег. Мир скрыт от Альбертины антрацитовыми облаками депрессии, но она все еще сохранила память. Здесь, в этом отеле все началось. Сюда же она возвратилась, так что пусть вечно будет славен тот, кто изобрел колесо. Альбертина покупает цветы на входе, и просит, чтобы ее мужа проводили к ней, когда он придет. Она с цветами. С ними комфортнее и безопаснее любой женщины. Если ты не можешь дышать, можешь вдохнуть их запах. Комната приятна и стерильна, кровать навязывает похоть, центрируя на себе пространство. Синие бархатные гардины, звонкий паркет, услужливая пустая ваза на столике. Этот номер принимал самоубийц, любовников, освещал Содом, любовался Гоморрой, подсматривал избиения, а сейчас он принимает Альбертину. Оставшуюся девственной после брачной ночи в таком же номере этого отеля. За окном наступает ночь, и постепенно голоса становятся все тише. Но это ничего не значит, дрянная жизнь города всегда продолжается, ночью ее пагубная пульсация прикрывается супружеством и насилует своих дочерей в неестественных позах; город – то место, где мужчина всегда торжествует.

Альбертина стоит у окна, мысли ее заторможены. Она ждет появления мужа, и вот он появляется, с шумом распахивая дверь. Он с цветами, но отбрасывает их на постель, как только видит Альбертину, мужчина хочет к ней, но не знает, чего хочет она.

**Муж.** Альбертина!

**Альбертина.** Ты доужинал?

**Муж.** Я тебя люблю.

**Альбертина.** Да. Но не стоит говорить, слова расточительны для тебя. А собственность твоя остается твоей, я тебе не изменяла, и значит, тебе не нужно тратиться вновь.

**Муж.** Ты заготовила речь.

**Альбертина.** Нет, я всегда жила за чужой счет, я беру свои речи из книг, говорю тебе украденными у женщин словами. И поэтому говорю, что не изменяла тебе. Женщин очень волнует, чтобы мужчина не думал, будто она ему изменяет. Кажется, им это важнее, чем мужчинам – знать, изменяла ли она ему.

**Муж.** Я люблю тебя.

**Альбертина.** Иди сюда (*когда он подходит, берет его руку и засовывает себе под юбку, а он осторожно ощупывает*) Вот видишь, я сухая. А теперь довольно (*отталкивает руку*) Мои украденные слова закончены, и украденные волнения тоже. Завтра тебе на работу, и ты хочешь, чтобы я поехала с тобой.

**Муж.** А ты не хочешь?

**Альбертина.** У меня нет выбора. Я принуждена твоей любовью.

**Муж.** Моей любовью?

**Альбертина.** Она платит за мои причуды. Пусть я и хочу, чтобы жизнь требовала от меня еще меньше, чем требует... ты требуешь от меня еще меньше, чем жизнь.

**Муж.** Я хочу поговорить с тобой. Так долго не может продолжаться.

**Альбертина.** Конечно, может. Ты просто не знаешь о своем терпении. Но, прости, если я терплю этот недуг так долго, ты сможешь терпеть его еще дольше.

**Муж.** Не думаю.

**Альбертина.** Но ты говоришь, что любишь.

**Муж.** Мне тяжелее тебя, ведь я не ощущаю этой болезни.

**Альбертина.** Но врач доказал тебе, что я ее не выдумала.

**Муж.** Альбертина...

**Альбертина.** Когда ты уснул, я смотрела в окно. Мне хотелось, чтобы вид города чем-то меня наполнил. Конечно, я была наполнена твоим семенем, но должно быть что-то еще. Город был пустым. И я пошла в ванну. Горячая вода не принесла в меня мысли, во мне ничего не было... во мне никогда ничего не было, но только около пятнадцати я это поняла, а до этого мне казалось, что всем живется так. Во мне ничего нет, мой милый, совсем ничего.

**Муж.** Ты красивая.

**Альбертина.** Ложись, тебе нужно поспать. Завтра на работу. Тебе завтра на работу, как и всегда.

**Муж.** А ты?

**Альбертина.** Я буду смотреть на город, который пуст.

**Муж.** А если я не смогу с этим справиться?

**Альбертина.** Ты найдешь другую. Как только захочешь, ты сможешь ее найти.

**Муж.** Но я люблю тебя.

**Альбертина.** Это будет для тебя проблемой, когда ты найдешь другую. Вот тогда и будешь уничтожать эту любовь, а пока тебе не стоит о ней думать... но, если ты уже думаешь, может быть и есть кто-то у тебя на примете.

**Муж.** Нет. Альбертина! Я всегда буду любить тебя.

**Альбертина.** Нет, мой милый. Уже скоро ты кого-нибудь найдешь. Теперь я это точно знаю.

**Муж.** Откуда?

**Альбертина.** Ты перестал надеяться на меня. А я перестала подыгрывать, будто что-то произойдет. Я хочу, чтобы ты лег. Я лягу тоже. Мы будем лежать вместе, и будем думать о своем, но нам будет казаться, что все нормально: ты лежишь со своей красивой женой, а я лежу со своим мужем, как в первую ночь, и все будет казаться нам нормальным, мы будем лежать вместе, и будем думать, что все нормально. Я очень устала, чтобы спорить, и мне хочется, чтобы было так. Ты ляжешь, и не будешь мучить меня разговором, а потом мы вернемся домой. Я готова лечь с тобой рядом, если ты перестанешь болтать.

Он кивает, начинает расстегивать рубашку. Он не сражается за нее и не пытается спасти, это просто слова. Она слишком любит свою болезнь, а он думает, что любит Альбертину. Они ложатся, и мужчине хочется, чтобы она заснула первой, но не выходит, ведь был очень трудный день, и он проваливается, у Альбертины вновь бессонница, но эта лишенность сна не приносит никаких мыслей и ощущений; она в оцепенении, ее фрустрация бесформенна и лишена имени, она давно уже старается ни о чем не думать, ведь иногда так трудно поверить в собственные мысли. Он обнимает ее холодное тело: Альбертина песня моей матери о тебе сквозь детство приходит дочь старой земли из тех дочерей вместо сердец лед и звезды танцуют под луной танцуют а я смотрю на тебя моя Альбертина как видел сквозь песни матери и когда я впервые увидел тебя будто бы ты вышла из маминых песен о старом народе а я будто присутствовал на их танце когда я впервые увидел тебя Альбертина и ты смотрела на меня так как смотрят они но ты смотрела на меня а я не мог поверить что ты смотришь на меня Альбертина и вот я подошел к тебе до

тебя три всего три меньше чем у других и сказал тебе все смотрела на меня смотрела на меня слишком долго будто считала сколько их у меня было и думала умею ли я для тебя могу ли я для тебя но ты смотрела на меня и это давало мне сил и держал тебя за руку и холодная кожа все это время я смотрел на тебя Альбертина я засыпал рядом с тобой Альбертина я думал о тебе засыпая и просыпаясь я смотрел на тебя и все не мог понять почему и вот Альбертина ты смотришь на меня и я на тебя и мне казалось что я все еще сплю будто бы ты мой сон и сон мой обрывается и проваливается в другой сон черные сны где коровы на лугу и я иду по лугу и слышу смех дочерей старой земли а я иду по лугу к этим коровам и вижу что это не коровы а кто-то сшитый из человеческих тел и смотрит на меня коровьими глазами вшитыми внутрь человеческой мякоти твоими глазами Альбертина и потом я всплывал обратно в сны о тебе но каждый раз в эту черную мякоть в эту черную рыхлую землю я будто ухожу с головой для тебя Альбертина и возвращаюсь с пустыми руками в твой омут и ничего и ничего и ничего не нахожу будто бы вся ты моя Альбертина песня моей матери песня всех моих мыслей будто бы вся ты Альбертина только и живешь для того чтобы внутри тебя жили черные сны в котором изломанные люди как коровы и кровоточили и чтобы они жили внутри тебя а я смотрел на них будто бы именно я их создаю внутри тебя эти черные сны создаю их внутри тем что смотрю на тебя Альбертина так как ни один мужчина никогда не смотрел ни на одну женщину вот и все и все я смотрю на тебя как тогда и проваливаюсь в эти сны как под лед и ты Альбертина лишь открытая дверь в эту темноту.

Так заканчивается Большое Приключение Альбертины; сломавшееся где-то на половине пути, притупленное, совершенное по инерции, оказавшееся холостым для нее и ее мужа; она не сказала всех слов, которые заготовила, украла у других женщин, всех праведных слов, убаюканная усталостью, долгой дорогой и чрезмерной верой в любовь своего мужа; пусть все ее противостояние человечеству строится на отсутствии чувства, отсутствие действия в самой Альбертине, – это пружина, накрученная вокруг супруга, безвременность которой – после всех слов – не подлежит для Альбертины сомнению и дискуссии... Большое Приключение теряет в эмоциях и умирает, чтобы вернуть Альбертину домой, где она будет писать свою книгу, спускаться в подвал, ощущать тяжесть в мышцах и медленно умирать; в то место, где она не допускает перемен... Большое Приключение погасло, как гаснет свет, столь же бессмысленное, как свет, столь же стремительное и не оставляющее заметного следа. Альбертина принимает горячий душ, надевает платье, ее холодные мысли хрустят каблуками по паркету.

Альбертина, в отличие от Артюра Рембо, не верит, что любовь можно придумать заново.

### 3. Голод Ингеборг.

В своей маленькой комнате (остальные были сданы семье, умершей четыре года назад; трупы, возможно, все еще там, или хотя бы грязные отпечатки их) Ингеборг принюхивается к ходу времени. Позади, в пору юного солнца, время пахло зеленоватыми оттенками, печеньем, часто мылом; в пору более взрослой Ингеборг, когда она впервые стала самостоятельно вкалывать в волосы гребень и три невидимки, время изменило свой запах. Сегодня время пахнет табаком, потому что Ингеборг неустанно курит, словно пытается скуричь оставшееся ей нескончаемое и ненужное время, почему-то отнятое в пользу Ингеборг у тех, кто нуждается в его минутах. Смерть оттянулась от нее в пользу каких-то других, тогда как Ингеборг не может понять, на кой ей монотонность, разорванная минутами приема еды, испражнениями и гигиеной; на что сегменты размышлений о теле; на что часы, когда ночной сумрак похож на пальцы, и его фаланги почесывают окна спальни. Смерть – это дудка, звук которой впервые и истинно нарушает тишину тех, для кого жизнь – это тишина.

Сегодня на Ингеборг черное шелковое белье, с узкой полосой ткани, что врезается меж ягодиц, немного оттопыренная спереди, потому что Ингеборг давно не брила неприкасаемую часть; на ней пояс и похожие на паутину и сеточку морщин чулки; эти чулки плотно облегают сорокалетние ноги; на сложенных коленях – «Песок из урн» Пауля Целана, книга лежит мертвой и пересекает ту границу, где черная юбка перетекает в серость чулок, где коленная чашечка похожа на гору Сион, где ее выпуклости, скопления кожи, вздувшихся и напряженных вен... книга лежит лишь затем, чтобы отвлечь внимание Ингеборг от бедствий физического тела, варикозных символов, кровавой цикличности, потасканности и засухи. На ней черный лиф, а поверх пиджачок того же цвета с гулко открытой шеей, подставленной поцелую, смерть ее дудка, подставленной воздуху, пальцам сумрака или пальцам самой Ингеборг, когда в пылу какой-либо фантазии она поднимает эти пальцы от Целана к шее, чтобы коснуться ее так, как касаются шеи любовницы: это происходит, когда Ингеборг удаётся покинуть свое тело сквозь коленную чашечку, увидеть себя со стороны и любоваться собой со стороны, воздыхать по себе. Каждый день Ингеборг одевается, чтобы быть желанной той другой Ингеборг, той таинственной Ингеборг, которая, якобы, живет в Вене (в венах коленной чашечки); далекая Ингеборг – ее любовница по переписке, лишь изредка приезжающая в Город по каким-либо делам. Та, другая, спала со многими женщинами, она знавала бордели, и ЭТА Ингеборг испытывает страшную ревность, ежедневно думая, где ТА, с кем и где она, эта другая, темная и импульсивная Ингеборг. Она обращается, чтобы развеять этот страх, к тому дню, когда они вдвоем, – как паучиха о двух телах, как две сестры, вылупившиеся из одного паучьего яйца, спаянные лапками, по воле случайности, сросшиеся от рождения коленными чашечками, – совратили солдатика. Его комплекцию можно было назвать крупной, девственный, с пульсами крови, как дудка, как крики, как детство, как смерть; наверное, в регулярной армии он часто подвергался оправданной травле. Ингеборг не испытала к нему жалости, но выразили жалость, проведя передними лапками по его груди, чтобы аорта его крикнула, спела дудкой, выстрелила вперед сквозь шею навстречу женщине, оттопырилась; они говорили ему теплые слова, будто выкраденные из чьих-то писем, откуда-то возникли неизвестные клятвы, которые влюбленный мог писать возлюбленной, бросать их бутылочными письмами в море, и Ингеборг, mater tenebrarum, своровали их и подарили солдатике; и тот, конечно, пошел на их зов.

Она спела ему приворот, и мужчина пошел к ней, положил ладонь, взмокшую, страшную (если задуматься, если утвердиться в предмете, любой предмет будет

средоточием ужаса, как много страха в огромной мужской ладони, если представить ее отпиленной по запястью, и увидеть трепыхание этих волосков на тыльной стороне, как водоросли на темном илистом дне, и когда этот краб или эта блоха на твоём колене; и когда она сжимается, ты точно знаешь, что у тебя не хватит сил помешать, если что-то пойдет не так, если дудка перестанет кричать) ладонь на коленную чашечку, он хотел получить ее заповеди, страшный краб на горе Сион, но он и сам боялся, будто истинно предстал перед лицом Бога гнева, когда прислушался ухом к гудению крови в груди Ингеборг, прижавшись отверстием ушной раковины к соску, а паучиха ощутила темноту, кружащиеся пустоты в его ушной раковине, и сразу вспомнила детство, зеленоватые запахи, детство, гулкость тишины внутри морской ракушки. Она пропела, простонала ему что-то из Шумана, что-то из «Шепотов и криков» Бергмана, чтобы он уже никуда не делся, проСиренила куда-то в его глубокую даль, притворилась, что от искренности сомкнула веки и сказала, что «до тебя я спала только с женщинами и только мастурбировала, немного заведенная, что отец может зайти в комнату, обращая иллюзию отца, каждую его пуговицу, в реальность и возбуждаясь навстречу этому, особенно пуговицам, смазываясь, мастурбировала и спала с женщинами, исторгая в запястье Шумана, шептала (когда хотелось крикнуть), чтобы отец не услышал». И конечно, этому солдатику стала как-то не так, как должно быть, все мечты это темные отмели, где иногда отыскиваются утонувшие девицы, и солдаты, которым предстоит оттащить их на сушу, часто совокупают их или те, кто не хотят от страха, хотя бы разглядывают их гениталии, чтобы ощутить в себе, воспитать в себе, желание женщины, и если этого желания нет, когда смотришь в эту воронку, в этот хаос слипшихся от ила волосков внутри пизды и представляя вместо ила возбужденную до слизи пизду, то всегда обманываешь себя, что все дело в мертвости. Что все дело в мертвости, а не женщине. Откуда оно идет? Из самого центра. По такому же закону, один педераст всегда видит другого в толпе. Нет важности, какова внешность или что-то другое, они всегда видят и узнают, черная метка пересекает щеку, выбрита ли эта щека или покрыта бородой, черный шрам пересекает зубы, пересекает грудные мышцы.

Это черный мол, черная заводь, с литрами воды и тоннами ила, любые мыслимые конструкции приходят на помощь во время глубокого и липкого страха, – Ингеборг расстегивает его штаны. Ему кажется, что жизнь изменится, красавица Ингеборг, у которой строгий отец, которую каждый желал бы, – желания своей плоти именуя желанием свадьбы, – каждый желал Ингеборг, и вот она досталась лишь ему, но она говорит «я спала только с женщинами», и это обращает его к центру собственной воронки, но он ничего не говорит, ведь никогда нет никакого толка говорить, что Карфаген уже разрушен, что есть люди, чей Карфаген – от рождения разрушен каким-то нелепым стечением звезд, ведь существуют и иные: девочки, утонувшие, изнасилованные отцами, или, скажем, Авель, всегда есть чей-то жертвенный пример... Ингеборг расстегнула его штаны, и он возбудился, потому что возбуждение может происходить от страха, потому что бывают тела с особым темпераментом возбудимости, потому что он унесся к воспоминанию о велосипедном путешествии к Козьему Мысу, когда рядом с ним ехал его друг, и все возбуждение, нарастающие скачки внутри шеи – все это можно списать на быструю езду, а потом он думает о покое Козьего Мыса, когда она гладит, немного царапая, шею. Но она была только с женщинами, а он не хочет на такой жениться, ведь чистая идея свадьбы есть только в том, кто темный ил, и где можно не опошлять ее багровостью своих утренних желаний, где твое лицо искривлено вирусом педерастии, где можно углубляться в критское строение ее умозаключений... он раздавлен, она запрыгивает на него, и он ощущает, что Ингеборг – узкая, как смерть, и нельзя выскользнуть.

Ингеборг, как смерть, обхватила его со всех сторон, вынудила его устремиться к иному концу туннеля, разрушить каменный завал и вырваться к светлой матке, она крикнула, он о чем-то подумал, застонал, лопнуло несколько фантазий, он почему-то увидел, как она превратилась в призрака Козьего Мыса, увидел лицо того друга... он кончил, опадая на теплые плечи этого друга и прижимая к себе Ингеборг, которая представляла, как та, другая Ингеборг, предназначенная лишь ей самим случаем, воткнула в нее свои пальцы, погрузила до самой сердцевины, сделала прямой массаж сердца, что-то вырвалось из сердца, жаркое и по субстанции, как кишки морского угря (который часто подавался к ужину, и Ингеборг первым делом, даже перее, чем вынуть кости, потрошила его длинный живот, чтобы разглядеть кишки), и прилипло к пальцам неведомой любовницы.

Ингеборг позвала звуки смерти. Но ничего не ответило Ингеборг. Он лежал рядом, она ненавидела его. Весь песок высыпался на пол. Действительно, когда сперма засыхает, она напоминает комки белого песка или кокаин. Ингеборг впервые попробовала кокаин спустя два года. И с тех пор ощущает иную, волшебную Ингеборг, в собственной коленной чашечке. Если ждать лет тридцать, та придет навсегда. Та обижена за этот случай, свидетелем которого была, незримо была всегда, всех случаев, которые происходили в ту или иную минуту с Ингеборг. Ощущение кокаина были контактом, методом прямого соприкосновения с коленной чашечкой, с потаенной Ингеборг, с истиной и даже Богом. Она мастурбировала, наблюдая серебристое сияние над горой Сион, крутила по кругу, звала дудку смерти, звала потаенную Ингеборг, звала дудку на жизнь того проклятого солдата, умирала, плакала, звала фугу, как вихрь, что сметет Города, сметет цивилизацию, звала многоточие, звала надорванность... две паучихи, сросшиеся ногами, плакали зимней темнотой, вспоминая день, который вбился меж ними, воткнулся в тот шанс, который мог стать их встречей, в тот день, когда член пронзил собой ночь, красавица Ингеборг, смерть ее дудка, когда лопнуло в самом воздухе, когда хлопок, известный всем окровавленный хлопок озарил своей кровью ночь, уста бурана смазав сей кровью, когда Ингеборг, красавица Ингеборг, потерялась, ложно закрывая глаза... вспоминает, закрыв глаза, выкуривая и нюхая Время, которое пахнет табаком, вспоминает, прикрыв свое колено книгой, чтобы коленная чашечка не напоминала таинственную боль, покрасневшие венки, вздувшаяся чашечка, чтобы ничего не вспоминать, красавица Ингеборг, у солдата было плотное сложение, клеймо сквозь щеку, опорожненные весы, потерянное счастье, красавица Ингеборг, вращающая клитор, как пуговицу на отцовском кителе, аорта солдата, крики как дудка, тот тоже ждал любви, отец красавицы Ингеборг никогда не думал о воздержании, никогда не любил свою жену, здоровался за руку с тем солдатиком, шел снег, о фуга смерти, Пауль Целан прикрыв своим пеплом Сион, что теперь делать(?), в квартире, несколько комнат которой сданы мертвецам, что теперь делать, когда красавица Ингеборг, когда фуга, когда солдат, когда отец, когда пуговица, когда зима, когда снег, когда снег, когда Ингеборг, когда Пауль Целан, когда Пауль Целан, когда потаенная Ингеборг, когда возлюбленную Пауля звали Ингеборг, иная Ингеборг, множество их, «Фуга Смерти», мертвая девочка, мертвая девочка, снег, слышишь их(?), слышишь ли ты меня(?), слышишь ли ты, любовь моя, снег, Ингеборг, меня(?), плачешь ли ты, плачешь ли ты, как погибший щенок, когда Город вокруг, когда снег вокруг, когда множество Ингеборг, когда дудка, когда тишина, в период страшных ночных ожиданий?.. красавица Ингеборг.

#### 4. Миз М.

*...и её потухшее сердце...*

...чувствовали себя вменяемо четыре месяца назад. Каждое утро они узнавали свежие новости; все существовало своей особенной жизнью, каждый двигал жизнь и помогал другим вытянуть еще один ватный день: убийца убивал, констебль пытался расследовать, корреспонденты кричали о случившемся, а миз М. слушала. Даже трудно представить, чем бы были заняты эти люди без этих шумных убийств. Одного нашли у дряхлого моста, на первый взгляд, почти, как утопленник; на второй открывается правда, что он – разрубленный на куски и заново сшитый. Другого на крыше погасившего свет небольшого храма. Следом – были другие; наверное – и сейчас есть, но миз М. уже потеряла к этому интерес. Она бы и хотела вернуться, но никак не могла вспомнить что за состояние подвигало ее каждое утро читать газеты в поисках этого происшествия; может дул какой-то особый ветер, может Нико приготовил(а) что-то этакое, или музыка играла особая. Но вернуться не было сил, миз М. уже не могла понять, почему это имело значение четыре месяца назад, почему осязаемость этих убийств начала медленно растворяться, а затем полностью иссякла.

Миз М., кофе, вчерашние трюфеля, взгляд ненакрашенных глаз. Она бы хотела, чтобы ее историю рассказывали в прошедшем времени, как про покойницу. Чтобы, черт вас всех возьми, пожалели и спохватилась. Чтобы – еще кофе, две третьих и треть молока – не указывали на факты, чтобы опустили настоящее имя, и, может, пол. Она думала о Нико, глуповатой жизни этого существа. Нико пересекает дорогу, каждый раз опасно озираясь, делает нужные покупки и затем возвращается в дом. Четыре года назад, а затем два года спустя Нико нанмали в дом Арчибальда Б. для изображения пса. Нико голышом, как-то бесстыдно, не понимая, что в этом есть что-то этакое и такое, ползал по дому на четвереньках. Ему хорошо заплатили. Чтобы история рассказывалась, как о Нико, без указания пола. Хотя в доме-то Арчибальда все видели, и кто-то даже потрогал, что Нико банальный гермафродит. Пощупали, и вся странность этого существа затерялись, гермафродитизм Нико после того вечера четыре года назад перестал кого-то интересовать. Наверное, второй раз Арчибальд нанял его лишь из хорошего отношения к миз М., и потому, что Нико дал согласие за «спасибо» протереть рюмки после того вечера. А миз стало от него тошнить, как от давно известного; она всегда могла его раздеть и узнать все интересующее, но никогда не делала этого, потому что ей нравилось, как Нико готовит, а терпеть дома что-то привычное – превосходило ее возможности; и вот, они обнажают его, и слухи, конечно, долетают до миз М., и она возмущена, что ее неясному имуществу придали определенную ясность. Она клянется, что никогда больше не окажется в доме Арчибальда, но прошло четыре года и она вновь идет туда, на банальный фестиваль дождя, со всеми этими сексуальными излишествами и рюмками, а Нико все еще работает по дому; выходит на улицу и глупо осматривается по сторонам.

Она бы хотела, чтобы рассказывали, как о том Нико, ясность которого еще не проступила сквозь тайну; Нико о котором не знают и о котором говорят.

Миз М., вчерашнее платье, дождь за окном, прожила всю жизнь в Новом городе, в доме с затасканными гардинами, а три года назад у нее случился любовник. Вроде бы, любовник. Она не помнила, чтобы вступала с ним в связь. Но, может, вступала. Кажется, на горизонте брезжит, что она не уволила Нико потому, что тайна не была такой уж тайной, ведь с кем, как не с Нико, она – вступала, и должна была четко знать, что же он, Нико, такое; и она знала, или ей кажется, что знала, потому что это было в темноте, несколько раз, как с женщиной и несколько

раз, как с мужчиной, забыв задернуть облезлые гардины – ну и черт с ним, никто не подглядывал – и именно поэтому не было смысла лишаться Нико, ведь тайны уже давно никакой, но она как бы умышленно все забыла и подняла пыль и крик, когда выяснилось, что дома у Арчибальда Нико раздели и даже трогали. Она не ревновала и вообще ничего к этому не чувствовала, только не понимала – зачем же было трогать.

С пустой бухты, которую никто не мог найти уже тридцать лет, до дома донесся плеск, потом крикнула чайка – неясно, почему убийца не кидал свои тела там, нет, он только и делал, что оставлял их для стареющего констебля, они были любовниками – он и констебль – сильнее и преданнее, чем все другие, не устающие развлекать друг друга всю эту жизнь, и трупы находятся только там, где этот крепыш может отыскать их, хотя миз М. сомневалась сможет ли он отыскать хоть что-то в собственных штанах – потом все заглушил дождь.

Она вспомнила, что нет, любовник был именно любовником. Он не имел никаких подоплек и сложностей, и уж он-то хорошо ориентировался в собственных штанах; не рисуя никогда в жизни и не учась этому делу, он вслепую мог нарисовать эту широкую белую дорожку меж двух круглых прудов – и в этом деле, дорисовывая для правдивости осоку паховой шерсти вокруг прудов, преуспел бы лучше, чем гнилой художник Арчи. Они были любовниками, и это ясно, у них случилось несколько раз, и миз была разочарованна, что в его рассудке – работал с водой, работал на призрачной бухте и выуживал оттуда трупы, работал выуживальщиком трупов всю свою жизнь – и сквозь весь его мозг только и проходила что белая широкая дорога меж двух мохнатых полушарий. Говорил, что у некоторых в горле застревают личинки стрекоз, что особо облезлые черепа загажены чайками. Их отношения быстро пришли в негодность, и она перешла на пару месяцев в руки доктора с замысловатой фамилией. Тот говорил, что нужно менять образ жизни, что это, дословно «плоскостопие чувств», «апатия», «вялость», а миз М. знала, что это «мертвость», что она уже разложилась и прошла несколько стадий гниения, что она уже далеко не здесь, что это вовсе не остросюжетная проза, а бессюжетная тьма. Она жаловалась ему, что «цветы начали тлеть с лепестков, когда лепесток умирал, он засыхал и обламывался, потом обломилась стебли, а новые цветы так и не выросли», они предавались вялой постели с этим доктором, а он все говорил «апатия-апатия», но никогда, – что же с этим делать. Словно ключ от замка потерялся, понятно, что все не так, но не знаешь, куда сместиться и что предпринять, чтобы изменилось. Сердечная скупость, моральное плоскостопие и атрофия сердца; в четырнадцать случился гнойный перитонит, она молчала и не жаловалась на боль, а потом аппендикс лопнул и забрызгал горячим гноем брюшную полость и опалил все внутренние органы. Может, тогда было повреждено и сердце. Выглядывая в окно, она все еще продолжала видеть этих влюбленных, и думала, что они претворяются, и играют сами с собой, так хорошо, что уже – верят.

Она никогда ничего не чувствовала. Только это желание, чтобы день поскорей закончился, и начался другой, и он поскорей закончился, и начался третий, и все. Где-то там за этой вереницей наступит Все.

Первый выуживал трупы, и говорил, что два мертвеца венчались глубоко под водой, а он не мог подцепит их багром; второй что-то об апатии, а третьим был Нико, с которым бессмысленно, зато сегодня, как с мужчиной, а завтра, как с женщиной.

Может, в других городах, где дождь имеет свойство заканчиваться, все иначе. Но она существовала только здесь, и в городе всегда дождь, чайки и прохожие всегда мокрые, этот вечный запах промокшего, сырых церквей и сырой веры. К кошмарной ночи все прячутся, и потом все повторяется. Но миз М. даже в эти ночи, когда Богу снятся кошмарные сны, не боится. А она бы хотела хотеть бояться, но не хватало

сил; никогда не хватало сил захотеть хоть чего-нибудь, артишоков, вон того мужчину в жилете или нырнуть с призрачной бухты. Глуповатый мужчина с багром, выцепит ее, как тело, а она бы заплыла, где нельзя успеть спастись, если уж телу захочется захотеть выжить. Не хватало желания для этого прыжка, не хотелось вымочить платье.

Иногда город накрывали еще более сильные дожди, чем обычно. Спящий Бог видел плохие сны, и города, замкнутые внутри Бога, тоже их видели. Каждый изнемогал от кошмара, большинство жили от одной этой турбулентности до другой, и об этом всегда молчали. Будто этого не случается, будто бы каждый год город не затягивает в какое-то иное пространство, и тогда удильщик мертвых видит, как трупы венчаются под водой, тогда у старого врача сквозь рот начинает выползать умершая жена: холодные пальцы ощупывают зубы, и это – как обычная тошнота, вначале не ясно, что происходит; рот наполнен вкусом соли, и когда пальцы отодвигают губы, губы слегка рвутся, и вкус соли находит подтверждение кровью; она выползает из него по локоть, бренчит золотистым браслетом, а он уже согнулся, на коленях, и она мертвой кистью отчаянно бьет по воздуху, попадает по чашкам и бьет их, цепляется за ночной столик, и лезет дальше; ее крохотная грудь лежит на его окровавленном языке, голова уже разорвана, и женское тело почти высвобождено из пут его несвежего дыхания; Нико грезит, что трюфели поедают друг друга; влюбленные теряют влюбленных, а затем город вползает обратно в свою банальную и затасканную реальность, где люди продолжают бродить по дождливому городу. И старательно забывают, что он, его древние улицы и построенные поверх древних – новые, одновременно существует и здесь, и там, где над жалкими смертными плывет среди черных туч корабль, пришвартованный ржавыми якорями к небу, и если посмотреть на него, сознание даст течь, можно никогда не вернуться, просто забыть, что реальность имманентна и реальна, остаться и смотреть в водоворот черных грозовых туч, и слушать, как рвется ткань обыденного вокруг тебя, и как медленно люди забывают о твоём существовании, забывают, чтобы не признавать мира страшного сна и тебя, как новую часть, этого ежегодного морока.

А город такой, как обычный город. Только вечно идет дождь. Но дамы не спрашивают, как живут дамы в других городах, такие дамы, которые не вынуждены вечно ходить с зонтами; как это: обувь не из резины и не на твердой подошве. Такое спросить, как бы признать неестественность этой жизни. И спросить, почему вечно туберкулез – усомниться, что где-то есть место, где живут иначе, оттолкнувшись от этого, потерять покой. И мучиться в сто крат сильнее, когда Бога вновь засосет в область кошмарного сна, чем те, кто не думает, а есть ли пространства без черных снов.

Миз М., в школе ее звали «крючковатый нос», и правда, нос слегка сгорблен, ее нос и ее спина – близнецы, зачатые в не очень удачный час; четыре года назад она была единственной, кто встретил кошмар лицом к лицу. Она думала, что в этом будет какой-то смысл. Или ощущала необходимость увидеть его. В этом что-то было, и она почти хотела... хотела, но не до конца, а только тенью желания, какой-то наметкой на него, единственной тенью на желание за всю свою жизнь – увидеть, что же такое ночной кошмар. Она вышла на улицу в дождь, она не могла не послушать этой тени, потому что даже тень желания была для нее неясна, и она прислушалась к ней и вышла в город. Впервые кто-то видел город безлюдным. Мертвый храм св. Франциска закрыли, и все магазины, все переулки, все дома, всех людей закрыли внутри мертвых помещений, все скрывались друг от друга, а вокруг города уже начинали вращаться тучи. Ей показалось, что это дроздов закрутило в смерч и крутит-крутит их мертвые тела по кругу, опоясывая трупами пределы города, и что

падают вырванные силой ветра перья, но потом поняла, что это обрывки туч. Бог терял рассудок, и черные тучи собирались все туже и туже, сплочались, никто не видел этого, как она. Каждый лишь ощущал, что раз в год происходит нечто, и не вдавался в детали, они уже закрывали окна и глаза, и никогда не видели, как именно это происходит. Как с города медленно сползает лицо, и оголяются серые высохшие здания, ободранные фасады, как Бог прекращает думать, и впадает в болезненные сны, как эти сны вращаются вокруг города, и вначале кажутся дроздами, затем тучами, как ветер гуляет по улицам, как подхватывает трупы собак, и ломает им позвоночники одним звонким ударом об угол пекарни; как срывает все; и все молчит. Миз М. в этом известном платье – каждый чаще других одежд видит на ней именно это, с тугой серебристой застежкой на спине – с этими сморщенными бровями, с этой сигаретой, полузастывшая в кататонии и немом ощущении чего-то важного, посреди города, полуосмысленная и взлохмаченная сильным ветром. Ее зонт уже сломался и отлетел в сторону, если бы ее кто-то видел – двое мужчин, что вечно играют в карты – то спорили бы, как скоро сломает и ее. Переломит этот немного изогнутый позвоночник. А она задрана вверх, немного подняла руку и дребезжит пальцами, будто бы эти легкие движения являются причиной страшного вихря. Она уже потеряла желания, и его тени, но продолжает стоять, уже бессмысленная и бесчувственная – ломает или нет, как ту желтую псину – оставит или убьет, и что он такое – вихрь, накрывающий город каждый год и заставляющий видеть жителей видения жуткой жизни<sup>5</sup>.

И что-то еще происходит, но прячется от миз М., от ее неопределенного семейного положения, от ее нелюбопытства, и она только думает, сломает ли ее или произойдет что-то иное, когда та часть улицы, на которой стоят ее ноги, тоже изменится. Сомкнет домами, изнасилует дряхлым флюгером на святом Франциске или что-то еще, такое же неважное, ведь чтобы ни случилось, она, оставшись в живых, перешагнет это, а единственной тенью желания ее было – такое, такое, ТАКОЕ, которое делает жизнь хоть капельку важной. Это было четыре года назад, она сделала что-то не то, и она была достаточно стара, чтобы понять и признать – в жизни не будет ничего, никаких кульминаций, ничто не закончилось, потому что оно не начиналось, ничего даже не начиналось, не имело смысла и тайной подоплеки. Тайное было лишь у этого города, и оно появлялось раз в год, но тоже бессмысленное, просто такая погода – кошмар; как дождь или град, может, неведомое для других городов, но для этого – самая заурядная и предсказуемая

---

<sup>5</sup> Черные облака полностью срослись, и теперь кажутся какой-то опухолью на небе, живыми, нет, мертво-железными, как обручи на деревянной бочке, плотными. И потом начинается шум. Когда сцена уже готова, начинается шум механизмов, и миз – она бесстрастно смотрит – сегодня зритель, а значит, шум будет особенно яростен, особенно эффектен, как на премьере, и кошмар в этом году будет особенно пышным для жителей этого города. Она видит – глаза пустые, рыбы, утопленники в призрачной бухте – этот корабль, корабль, который будто плывет на обглоданных мачтах сквозь бурю; и тут же – нет, не плывет, а застрял, выстрелив вверх, в эти тучи, якорями, и висит. Ревет его тело, бьются о него ветра, и шумит, от этого шума кошмары спускаются в город... этот шум, будто его мотор, но нет, это – краем глаза заметно, почти неуловимо, но заметно – реальность комкается, медленно рвется, за ней обнажается что-то, но миз М. не может разглядеть, потому что стоит обернуться, и все, как прежде, и рвется уже в другом месте, никак не поспеть ухватить эту иную проекцию города. Трещит от того, как дальние улицы, никем не замеченные, рвутся, скидывают с себя брусчатку или же лопаются под ее тяжестью, и вся брусчатка сыпется во что-то, что живет под улицей. И дома раздвинулись, заговорили друг с другом, и какие-то слились в одно, целый год разлученные людским движением, сквозь широкую улицу прикнули губами-окнами к желанным губам напротив, и раздавили собой проспект; и какие-то раздвинулись, так давно хотели и, наконец, раздвинулись, этот богатый дом отскочил, подпрыгнул, как танцор или художник в скособоченной кепке от прокаженного, дома, где испражняется в собственные простыни старик. Дом-прокаженный двигается за ним и хочет, мигает окнами, хочет, шатает дверьми, объясниться. И призрачная бухта сцеживает воду, вся в тине и плесени, дрожит, своим раздраженным дрожанием заставляет всех утопленников встать, немедленно, давно утонувший фонарь сегодня, как бригадир, гонит своим жестоким светом по обезображенным спинам – работать, очистить бухту от тины и плесени, работать; и утопленники встают в ужасе, что ударом света фонарь рассечет их гнилые и тонкие-тонкие кожи, если они не будут прилежно работать; и фонарь бьет тех, кто еще не поднялся, кто делает вид, что работает, но отлынивает, и соскабливает ногтями тину и плесень, и особенно рьяно бьет ту проститутку, что боится испачкать ноги о тину и плесень и, исполосовав ее лицо своим светом, что теперь она – то ли мужчина, то ли женщина, не разобрать по лицу – гонит ее на работу, как всех других, а когда все вернется, и город людей станет городом людей, вода наполнит бухту, и вода выполаскает грязные ногти своих утонувших жителей от застрявшей под их ногтями тины и плесени.

вещь, происходящая каждый год, помогающая продавцам лекарств продать за день недельный запас успокоительных, ничего... такого, хотя бы – какого-то.

Все внутри молчало навстречу этому шуму и рвущемуся пространству.

Это было четыре года назад. Она позволила Нико подзаработать у Арчибальда. Она помнила, почему. Поэтому не уволила его после того, как все разоблачили его тайну. В ту ночь ей было нужно остаться одной. У нее еще было некоторое время до ночного кошмара, чтобы все решить. Эта черта, этот срок, ускоряли ход мыслей. И она решила. Кажется, именно это решение подвигло миз М. несколькими часами позже выйти на улицу и встать на перекрестие этих улиц, чтобы услышать рвущуюся реальность. Нет, даже не решение, а то, что его исполнение ничего не вызвало... это просто случилось, как сейчас случается (пусть миз и желала бы, чтобы ее историю рассказывали в прошедшем времени, как про покойницу), что она надевает шляпку, и то самое известное платье, туго застегнутое на спине серебристым крючком. Вечеринка в доме художника Арчи не заставила ее изменить этому платью, с плохо работающим крючком на спине.

Никакого «морального плоскостопия» и «апатии»; болезни – это уже что-то, за них можно зацепиться в этой реальности, сделать их врагами или иконами. Не было ничего. Но врач говорил, что это «апатия», и ему снилось, что из него вылезает его умершая жена, бренчит золотым браслетом, и рвет его рот своим мертвым телом. Он цеплялся за нее, его рука теребилась, бренчали на волосатом запястье часы, он цеплялся за воздух, а жене Арчибальда снилось, что на тысячи голосов, тысяча разных людей спорят «моя ли ты дочь?», и никто не находится истинной матерью, все тонет в бессмысленности, и все не решается, и это оттого, что ранним детством она потеряла мать, та исчезла в вечных любовниках, умерла от сифилиса, как манифест гетеросексуальных эмоций. Но миз М. знала, что апатии нет, апатия – что-то слишком вещественное; миз М. знала, что лишена маяков. Она слишком хорошо помнила свои сны. В них не было привязок и крючков, только этот серебряный крюк на любимом платье. Она всегда – каждую ночь – снилась сама себе в этом изношенном платье. И никаких маяков. Бессюжетная темнота.

В доме Арчибальда были все, даже неуклюжий констебль. Миз М. ухватила что-то из прошлого, но решила оставить это на более пьяное время. Она стала сплетничать с миз Г., так и желая спросить, почему же миз Г. отказывается озвучить свое семейное положение, но не спрашивала, и они говорили о другом.

Дом был солидным, давно умершим. Когда-то вокруг него рос пышный сад, но умер; и сам дом тоже умер, его ранее бежевые живые обои переклеили на желтую трупную кожу. Внутри пили шампанское, и миз М. слегка опьянела. Она присоединилась к игре, когда все гости начали пьяно бегать за голыми собаками. Теперь она точно знала за что заплатили Нико: бегать голым на четвереньках и забыть, что ты человек – это дорогая штука; в доме было трое «псов», в одном из них узнавалась старая прачка с обрюзгшим телом, она была мопсом и поэтому ей разрешали развозить по паркету слюну. Мопс не успевал за другими псами: блондинистым ретривером с большим членом и жгучей овчаркой, с членом поменьше. В конце концов прачку оставили в одной из комнат, а с другими псами заперлись в спальне. Миз М. внезапно отыскала себя по другую сторону двери, и некоторое время слушала, как собаки воодушевленно лают, и светские дамочки лают под собаками.

Она отправилась искать констебля. В этом была какая-то особая пьяная игра: желтый дом, трупы, легкие крики собак и женщин за спиной, не наступать в слюну жирной прачки, найти констебля. В этом что-то было, но миз М. не могла понять хорошее или дурное. Что-то среднее, никакое. Как и этот констебль. Вот, он такой уже пьяный, с каким-то молодым мужчиной под руку у окна. Старается не слюнуть

на гардины, облакачивается на кадку с дряхлым цветком и говорит сдавленно «это мой сын от первого брака», и миз М. улыбается: «от первого брака, как интересно! И откуда вы? И давно вы? Давно вы здесь?» – нет, ей хочется спросить и давно ли у тебя появился сын от первого брака или почему ты забыл сказать мне об этом, но она спрашивает давно ли он приехал в этот город, и откуда он приехал. «Пять месяцев», и миз хохочет, ей многое становится ясно, она может и не хочет этого говорить, но говорит «ха! Пять месяцев! Ваш отец так долго искал вас, милый, попробуйте заглянуть в призрачную бухту, там он не найдет ваших хлебных крошек», и тут же вспоминает, что хлебные крошки в призрачной бухте будут съедены удильщиком трупов. Ее начинает тошнить, констебль краснеет от таких намеков, а мужчина – наверное, у него дурно с головой, он внутри себя, его нет здесь, а те люди ему мешали – смотрит выпучено. Она отходит к окну, другому окну, подальше от констебля, нюхает гардины, хочет что-то ощутить, она поджигает себя изнутри, хочет трагедию, ведь все составляющие трагедии налицо, но ничего не чувствует. Она даже говорит вслух, говорит гардинам, ведь в трагедиях всегда говорят с мебелью, говорит, исповедуется, и говорит так тихо, пыльно, приглушенно, как плачет, но все мертво. Но она продолжает: «...а у него оказался сын. И сейчас ему все равно. Можно оказаться с ним в постели, но нельзя в его сердце. Как не крутись, как не кричи, а у него оказался сын, и я как бы виновата, как бы чувствую стыд, но не знаю за что, но чувствую. Как все не так, как я бежала от него, как вытравила ребенка в ту ночь, и потом ждала наказания от кошмаров, но Бог спал. Я вытравила, чтобы он кричал и плакал, но было поздно. Он не кричал, он не плакал, и у него был сын, и он ничего не чувствует. И я к нему ничего не чувствую. И никогда... не чувствовала к нему ничего и никогда. И к этому ребенку. И даже к тому, что этого ребенка нет. Мне даже не страшно. И будто бы слегка обидно, но это лишь тень и иллюзия обиды, что эта свинья пьяна и она далеко, ей не хочется плакать и стоять на коленях, а я бы его не простила, потому что ничего не чувствую, но разум играет, что ему как будто обидно за то, что эта свинья уже давно стала отцом. А я бы не простила, но хотела бы проявить это непощение, чтобы он встал на колени и плакал, и обидно, что он не стоит, он не знает, что я его не прощу, и ему даже не важно – прощу или нет – он даже не знает, что мой разум играет сам с собой в обиду» – и опустилась вниз по гардине, старая прачка, увидев миз М. подумала, что та расчувствовалась от старой любви, и только миз М. знала, что ее сейчас вывернет наизнанку от перепитого шампанского, и что в сердце у нее пусто, только, кажется, все четыре сердечные камеры заполнены алкоголем, и от каждого удара сердца вверх по телу, сквозь гортань, выходят пузырьки, и сердце пустеет.

И тут подползла старая прачка. Все было испорчено. Заламывание пальцев в гостинной желтого цвета и приглушенного света было испорчено, потому что липкий мопс обнял миз М. за плечи и стал говорить то, что обычно и говорит одна женщина другой женщины в таком случае. Трагедия удалась, зрители потрясены. Стало понятно, что слышали не только гардины, что слышали и другие. От этого стало так смешно, что миз М. не сдержалась, но прачка приняла это за слезы и стала еще более страстно говорить то, что обычно и говорит одна женщина другой в таком странном случае. И вспомнился мальчик. Кажется, он был лет на пятнадцать младше, неместный, его кожа была темная и не мокрая, он зачем-то пришел оттуда, где не льет дождь. Она хотела его. Хотела выпить его жаркое сердце от какой-то зависти. Она не понимала, что это за чувство, но эту горечь ни с чем нельзя спутать, и она знала, что хочет выпить его жаркое сердце, не совсем понимая зачем. Больше для того, чтобы и у него не горело, чем для собственного тепла. Она хотела его, будучи старше на пятнадцать лет, она грезилась несколько дней и ловко плела сети, она получила, она выпила, и тогда, обкрученная красной простыней, сохранившая на

теле следы его ласк и убеждений, запах его мыслей, подошла к окну, чтобы смотреть в дождь. Было так понятно, что его тело, раскинутое на кровати, навсегда будет здесь, в стране дождя, отныне и навсегда она в нем что-то испортила, горечь еще оставалась, и своим хриплым – красивым, немного островатым и хриплым, но красивым – голосом запела слова как бы из другой вселенной, вынутые из его... жаркого сердца, а он, лишенный этих слов и жары, бледнел на ее кровати. Кажется, он умирал, но она не смотрела, его неопытное тело больше не доставляло интереса, она просто пела, потому что эти слова в ту ночь стали ее, и не знала, что же значит – «Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia...» – и, не зная этого языка, но будто отхаркивала наружу, чтобы оно никому не досталось и никого не зажгло, это яркое жаркое сердце.

Когда спальня вновь открылась миз М. была уже вновь миз М., без тени тусклой трагедии, без налета этой глупости, а мопс получил на чай за участие в массовке. Арчибальд сказал, что «Эм (он так тянет звуки, как ест), такой цвет лица, такой...», его жена подтвердила, и от нее пахло собаками, и от ее мужа пахло собаками, и всем было очень хорошо. Некоторое время эти все делились мертвыми словами друг с другом, а потом начали говорить на любимую тему – какие кому снятся кошмары? – и все друг друга жалели и подливали шампанское. Констебль помог надеть пальто уходящей домой даме, и миз М. это встревожило. Не ревность, но ощущения вялости и старения в теле, своего упадка по сравнению с гладкой шеей и запястьями этой: с боа, узкой сумочкой и чем-то еще неуловимым, но почти наверняка, называемым свежестью. Нет, она почти наверняка уже бывала с мужчинами, и может даже играла с собаками несколько минут назад, но в ней не было затасканности, одеванности, она всегда была узкая, как первый раз.

Когда миз М. снова увидела мопса, ей стало неловко. Получается, живущая в бессюжетная темноте только что, сама не ведая, она подарила этой жирной и седой сюжет. Та скажет «был прием, и дама плакала, а я ее утешала», та приобщилась к лживой трагедии, но испытала и взяла от нее, как от настоящей. И было в этом что-то болезненное, как день за днем видеть рядом с собой одного и того же человека, изображать радость за него и молиться за него как бы искренне, а еще говорить ему честно, и при этом честно наедине с самой собой отмечать, что говоришь правду «я хочу от тебя третьего ребенка» – что-то с душком настоящей трагедии. Беззвучно растекшейся в воздухе. И миз М. поняла, что уже над ней не властна, уже не плетет, а как бы выпустила из себя, и это детище существует отдельно. И существует в разы более счастливо, чем его создатель. И его уже не лишит жизненных соков.

Преступали к главному блюду. Констебль кому-то подливал, и рожденное этим становилось систематичным. Какая-то перманентная тошнота в желтых стенах. Особая желтизна, особого тона и тембра свет горел в главной комнате. Здесь как бы все было нормально, только запах немытости и смерти был в воздухе: не естественного и жаркого разложения, но мучительной и растянутой в годы настоящей смерти, которая пахнет лакрицей, бумагой, старой одеждой и какими-то лекарствами с фруктовым вкусом. На высоком стуле сидел наследник художника Арчи, маленький и скелетоподобный мальчик в маске свиньи. Он сложил руки на коленях, и смотрел в прорези на толпу. «Он сидит уже два часа!» – с гордостью говорила жена Арчибальда, никак не вобрат в разум, как ее звать; и все начали аплодировать. Миз М. поняла, что чего-то не знает, но не оттого, что это скрывали от нее, но от безразличия. Она тоже начала хлопать. Конечно, как не хлопать, ведь шестнадцатилетний мальчик сам собой сидит на стуле уже два часа в комнате, где такой мертвый цвет павшей лошади. Это действительно трудно. Не упасть, не

захотеть скончаться, не присоединиться к мамочкиной оргии, это правда заслуживало оваций. Она аплодирует собственной памяти<sup>6</sup>.

Эта история должна быть рассказана в прошедшем времени, как про мертвецов. Как про людей, заключенных в единое тело; засыпающих и бьющихся кошмарно под взглядом этого божества в свиной маске. Без эмоций, без возможности вырвать из 146-го сегмента этого огромного тела, от ежегодной протирки твоих суставов гермафродитом по имени Нико.

Ночь была глупой и безнадежной. Покрытая сверху донизу дождем. Безнадежность желтых стен, в которые были замкнуты эти люди граничила с психическим расстройством, с лицом, скрытым под свиной маской. Миз М. должна была убедиться. Кажется, это что-то значило. Ее собственного примера не хватало, чтобы осмыслить хотя бы тень этого замысла. Она посмотрела на прачку, вспоминая свежие одежды капитана кошмаров, и, кажется, ухватила, что все они скрывали под лицами что-то; она должна была убедиться, и кажется, глаза прачки поддерживали ее решимость. Одним ловким движением она сорвала свиную маску с шестнадцатилетнего парня, который сумел два часа просидеть на стуле.

Его кожа будто была прицеплена на безжизненный череп. Более тонко, чем гвозди капитана Марселя, но она будто жила не на своем месте. Тонкая слюна стекала по подбородку аутика, и все молчали, чувствуя неловкость момента. Каждый вспоминал о кошмаре, который снится жене Арчибальда, где тысячи голосов спорят о материнстве, один голос пытается спихнуть виновность в нем на другой, не менее

---

<sup>6</sup> Дождь и ветер. Они стоят напротив друг друга. Он – то ли такой высокий, то ли сидит на огромном стуле, а длинные какие-то женоподобные юбки прячут и его ноги и стул. Она задрала тогда голову, чтобы его увидеть, и он показался ей судьей за своей кафедрой, и себя она тогда увидела подсудимой. Конечно, ведь ей казалось, что-то произошло, что она вытравила ребенка констебля, и что-то произошло, и этот сон, где она подсудимый, а это существо – судья – казалась ей естественным, даже закономерным.

Миз М. ждала, что же будет дальше, и изучала существо. Рыжий и облезлый, у него никогда не было женщин, это ясно, тонкие круглые очки на странном лице. Лицо будто срезано с тела и посажено на деревянную куклу. Тут и там видны швы, видны эти гвозди, которые прибили кожу к дереву, рот не шевелится, за губами нет зубов и языка, нет гортани, за гортанью пищеварительного тракта, в теле нет крови, и кровь не бьется в венах, и самих вен тоже нет. Вокруг него вращается черный смерч, это он спустился с корабля кошмаров, и он – капитан, Марсель – принц Ваезжердека; он управляет всеми кошмарами, его деревянное тело выдумывает их, его отсутствующее дыхание – выдувает наружу и, обращаясь ветром, разносит смертным. Он сидит и глухо двигает мертвой рукой, которая обита мужской кожей, но это существо – не мужчина в полном смысле. Не как Нико, нет, он просто что-то иное. Категории пола, роста, веса и философских взглядов – были не про него. Миз М. всегда хотелось быть такой, но даже сейчас, когда она видела Марселя так близко, она не могла понять какую из его черт стоит украсть, чтобы стать похожей.

Потом подул ветер, и все исказилось. Эти его коричневатые юбки вздернулись, и миз М. подглядела в чужой сон; она была и она спала, но сейчас видела сон другого человека, видела то, что снилось в ночи кошмара Нико. Ее слуга стоял на коленях, прятался от бури под этими коричневыми юбками, его голова и его тело мелькали за длинным деревянным шестом, на вершину которого было насажено тело капитана кошмаров. И Нико занимался своей обычной работой. Даже во сне, даже в кошмаре он занимался тем, что работал рабом у знатного господина. Он мыл его нескончаемое тело. Миз М. вначале даже не поняла, что скрывается под юбками, и силилась это разглядеть: множество голых тел; ног не было, только огромное количество рук, и руки шарят по деревянному шесту и селятся держать его ровно, чтобы капитана не кренило и он не соскальзывал вниз. Деревянный торс с прибитой к деревянному лицу человеческой кожей – был будто вершиной поочередно скрепленных друг с другом других человеческих торсов. Там, где талия сужалась до невероятной тонкости, начиналась шея другого тела, которое заканчивалось шеей следующего. Все это подчинялось инородному рассудку, плавно и мертво движущейся руке в перчатке мужских пальцев, и в этих телах миз М. увидела и свое тело, с едва сгорбленной спиной, и тела многих своих знакомых, многие из тел, побывавшие в ее постели, и не очень красивое тело констебля. Все двигалось, иногда сплеталось руками, тело одной руки трогало ребра другого, и так бесконечно, и этими движениями создавалась энергия, и энергия генерировала бесконечность этого кошмарного пространства. А Нико мыл эти тела, потому что раз в год, хотя бы раз в год, каждое тело нужно мыть; даже страшно представить, что случится с этим городом, если один из этих сегментов заразится гангреной, пойдет волдырями или умрет, что же случится с дождливым городом, если этот организм распадется... поэтому ночь кошмаров длилась, пока Нико не отмоет каждый сустав и каждое ребро, каждый сантиметр желтой и страшной кожи этого существа. А смысла не было; не было какой-то кары в явлении капитана, не было ничего, одно лишь его появление вызывало у людей ночные кошмары, но появлялся он не за тем, чтобы мучить, а просто чтобы отмыть свое тело. И у каждого жителя города перепутаны причины и следствия. Системы приоритетов давно мертвы. Тот, кого приглашали играть собаку в доме Арчибальда оказался самым приближенным к капитану кошмаров. Пожалуй, он не мог бы приблизиться к нему больше, даже став любовником одного из этих тел; не было и не существовало, не выдуманно человечеством ничего более интимного, чем стоящее перед глазами миз М. в ту страшную ночь.

испуганный голос. Тысячи сегментов сросшегося тела спорили в этом дурном сне, а ее шестнадцатилетний сын уже два часа просидел на стуле и не упал. Она бы хотела – не говорила и не думала, старалась, очень старалась – чтобы он упал. Насмерть. И его похоронили в саду, и больше в глазах Арчибальда не будет этого немого крика, больше не будут нанимать собак на праздник и можно будет изменить запах в доме. Выпустить отсюда вонь лекарств с фруктовым ароматизатором. Но эта тварь – чудовище, стеклянные глаза, изломанный позвоночник, будто деленный на множество сегментов, будто с множеством талий, и ни единым рабочим органом – сидела, дышала, она говорила, что хочет и будет жить вечно. Как немой укор, как памятник на этом высоком стуле всему кошмарному, что приходит ночью. Своей мочой на простыни будет напоминать, своим криком и своим бессмысленным взором с этого трона он будет напоминать человечеству о своем существовании. Он не хочет быть похороненным в старом саду, и ему ничего никогда не снится. Он даже не способен мыслить, и, от этого хочется выть, и от этого нанимаются собаки, от этого все отчаяние, и именно этой какофонии завидует миз М., – Арчибальд его любит. Арчибальд любит его больше, чем посиневшую от заботы о безумном сыне, кожу своей жены.

Каждый будто поймал в воздухе и разжевывал, что Арчибальд лишь тенью любит свою жену, и любит только за то, что она родила ему ЭТО, немое божество, с которым он пытается сделать дом из картонных кубиков. Шестнадцать лет оно живет здесь, и источает свои кошмарные сны.

Оно вдыхает  
горячие сердца вошедших в этот дом  
оно  
живущее

в бессюжетной темноте. Не знающее и не имеющее даже оттенка мысли о существовании сюжета и умысла. Какое-то неприлично счастливое, когда отец касается его неестественного лица и мертвенной кожи под глазами, кричит радостно, криком, от которого каждому, кроме Арчи, хочется умереть. Немая тварь стала единственным источником вдохновения для Арчибальда, немым укором его жене, немым хозяином дождливого города.

Все смотрели в два разоблаченных лица – ребенка и его матери – и только миз М. понимала многозначительность увиденного. Ее никто не замечал, она была невидима, и невидимой подошла к констеблю, чтобы сказать «идем, и возьми сына, идите по хлебным крошкам», и, как обычно, он не сумел отказать разрезу ее юбки. На столе было достаточно хлеба, а дом такой желтый, что разбросанные по нему желтые крошки – заметны только для ищущего. Они вели в спальню, где все еще пахло собаками. Миз М. даже не сомневалась, что они придут. Она лишь пыталась понять в эти последние минуты своего одинокого пребывания в спальне, зачем она это делает.

Никто не выходит из дождливого города. Но, может, она хотела повторно войти в бурлящую реку. Или же в ней остались крохи жаркого сердца, которые она выпила из смуглокожего юнца. Может, она все еще была завернута в красную простыню революции, может, ее устраивал тот выход, который дарил сын констебля от первого брака.

Или хотела их сравнить.

Или кто-то выходит из города. Или что-то зреет над городом, и что-то уже поменялось.

Она знала, что хочет погрузиться вместе с ними в эту темноту без всякого сюжета. И лежать под ними в прошедшем времени, как покойница.



## 5. Те, кто отданы в жены

Небо Цюриха. Она смотрит в небо Цюриха, и не хочет увидеть птиц. Она думает о криках, которые издают лисы в период спаривания. Брачный сезон, вакхические танцы, течка, на снегу остается кровь, тень от деревьев, в свете ночника движение пальцев принимает облик медвежьей головы. Там, за окном – небо Цюриха, будто отпечатанный в одну краску типографский лист. Черная краска осенних туч. Она отворачивается. Там, на веранде лисы любят подсматривать за людьми сквозь огромные стекла. За женщиной в серых чулках, за дорогостоящей светской дамой около тридцати семи лет. Они видят, как она сидит за столом, они видят, как протирает шею, и как пальцы дергают неудобную молнию на платье, они видят ее гордо задранную шею и напряженное лицо, которые смотрит в небо, они знают, что она думает о них, думает об их спаривании. Картина спаривающихся лисиц тревожит ее, почему-то не существует ничего более грязного, чем лисьи коитусы. Возможно – медвежьих коитусы. Где-то под землей, в широких норах, размерные движения медвежьего паха. Но эти крики не доходят до застекленной веранды, тогда как лисьи – да.

Сегодня среда. Она встает из-за стола и выходит в просторный коридор, на ее ногах удобные тапочки, и она двигается бесшумно. Вот зеленые буржуазные обои, и вновь мода на железные канделябры. Ее зовут Лизавета, это ее канделябры. Лисьи крики и небо Цюриха принадлежат ей. Конечно, и всем остальным, если бы остальные – существовали. Там, внизу, Георге пьет кофе. Четыре кусочка рыжего сахара и молоко, никогда сливки. Георге сосредоточенно бренчит ложкой. Наверняка, антиквариат. В его толстой аорте, толстом животе и, конечно, больших легких – все помешано на антиквариате. Его медийный образ – это подражание Борджиа, и поэтому дом – будто желудок [Темного] Отца Борджиа. В Георге много утонченной распаханности, Лизавета даже думает, что Георге – похож на вспоротую вену. Он основателен, как любой невротик, плюшевый медведь Вуду, нашпигованный иглами, он – словно чья-то погибель, которая не была доведена до конца.

**Георге.** Дочитала?

**Лизавета.** Да, вчера. А ты?

**Георге.** Да. Мне не нравятся швы. Они очень заметны.

**Лизавета.** Думаю, это попытка передать дихотомию. После изнасилования часто наступает дихотомия и ангедония. Это нормально.

**Георге.** Иногда меня пугает с какой легкостью он движется. Это же почти ненормально. Ему ничего не стоит двигаться сквозь все это.

Она знает, что Георге не нравится бояться того, с кем он спит. Вероятно, у него не очень длинный послужной список. Невротики делают романтику еще более романтической, они изнывают десятки лет во имя своего воздержания, их мозги тщательно анализируют объекты, иногда экран загорается красным – «ТО САМОЕ!» – оно, великая цюрихская любовь, любовь к самому факту любви, к той неожиданной встрече и первому поцелую, к ошеломляющим реакциям химии. Когда Лизавета думает, что именно То Самое может толкать их на отбеливание ануса и эпиляцию яиц, ей становится странно, хотя она понимает – почему бы и нет? Глянец обслуживает нужды человечества, но как-то травмирует, когда проникает в твою собственную жизнь. Резиновые члены и анальные шарики. При всех их привлекательности, есть какая-то карикатурность в их антиантическом назначении. Георге, вероятно, тоже испытывает легкое отторжение от неэстетичных форм, но будучи книгоиздателем, у него богатый опыт принятия.

У него бессонницы. Мигрени. Серый пиджак. У него существует нормальное человеческое детство. Его мать умерла от рака поджелудочной два года назад, Лизавета помнит, как Георге плакал и цеплялся за рукав Александра. Почему-то эти человеческие ноты в ДНК его прошлого кажутся Лизавете излишними, ее отталкивает, что в человеческих жизнях – столько человеческого.

**Лизавета.** Но тебе понравилось?

**Георге.** Ну, это гениально.

**Лизавета.** Правда?

**Георге.** Конечно.

**Лизавета.** Ты очень хочешь торжествовать свою любовь. Празднование серебряной свадьбы с гением. Ты когда-нибудь думал, что ошибся? Что, если в нем нет ничего, кроме сделанного лично тобой? Нет никакого торжества над вечностью, и только твое торжество?

**Георге.** Не думал.

В дни, когда он страдает бессонницами – часто пьет кофе. Ему помогает. Александр уже спит, после сладких уединений он курит две сигареты и целует лоб Георге, как покойника. Автор и его книгоиздатель в сладкой истоме + анальные шарики, и беременная жена одного из них по имени Лизавета. Она решила сказать о своем ребенке во время обеда, то есть – уже сегодня, в среду, может быть, как обычно, будут звучать «вариации», Георге говорит, что «вариации» мешают язве глотать желудок. Четыре месяца никакой крови, никаких выделений. Ее дыра омертвела, стала банальным жерлом. Она ежедневно пила красное вино, но ничего. Две среды назад во время презентации – был утомительный перелет, и Александр смотрел в окно – собралось много народу, она стояла во втором ряду, и, конечно, никто ни с чем ее не поздравлял, жена гения прячется между чужих пиджаков, и разглядывает эту двойную иронию – закрытая гомосексуальность ее супруга и закрытость наличия Лизаветы, делает его образ притягательно-асексуальным, с поволокой дымы – они сильно выпили, красное вино пошло сверху. Но никаких месячных. Во время презентации она пахла «Герлен Грин Найт», а на Георге серый галстук Эрмес, возможно, в гостиничном номере он позволил связать себе руки, но, если так, его невротия должна была запульсировать. Любое инородное – неорганическое вмешательство – заставляет невротика испытывать сомнение в любви своего партнера.

Она решила рассказать в обед, после Главной Процедуры. Беременная жена, муж и его любовник – идеальная композиция, арабская вязь на тонком стилете их вампирического существования. Они трое – как огромный уроборос, сосущий собственный член. Если точнее: сорокачетырехлетний книгоиздатель, издающий книги своего любовника; тридцатидевятилетний писатель, вдохновляющийся историями своей жены; тридцатисемилетняя женщина, диктующая мужу истории пустоты и кровоточащий сок Древа Мертвых, и живущая за счет книгоиздателя своего мужа. Бермудский треугольник.

**Георге.** Кажется, он ушел от этой бархатной поэтичности. Теперь он рубленый, очень чеканный.

**Лизавета.** Разве это важно? Оно продается. Темнота всегда продается. Всегда. Репелленты возбуждают звериные чувства.

Во время Главной Процедуры Лизавета сидит на деревянном стуле эпохи Тюдоров. Георге с пылающими глазами разглядывает своего любовника, будто никогда не видел его раньше. Их любовь – это когда тебе просто больно, от того, что нужно отлучиться в сортир. У Александра белеют костяшки пальцев в отсутствии своего книгоиздателя, – как, впрочем, и у любого автора. Возможно, белизну вызывает астма. Иногда он задыхается, и тогда прыскает себе в горло спрей.

Лизавета может увидеть его горло и его язык. Она никогда не трогала его язык, и точно – никогда своим языком. Некоторые вещи позволены только невротикам. Она знает, что он был девственником до Георге, но зато имел сильный любовный опыт во время аспирантуры. Она знает, что Георге был женат и у него есть дочь, но никогда прежде – он не испытывал любовного опыта.

Поэтому ей не остается ничего другого, как перейти к Главной Процедуре. Пустить новую кровь в их финансовую вену. К сожалению, ее муж творчески бесплоден.

**Лизавета.** Как я говорила, иногда они трахают лисиц. Не знаю почему, но им нравится размножаться с лисами. Возможно, что-то в лисьей пизде или матке такое, или кровь такая, что им очень легко вылупиться именно из лисицы. Во время спаривания те истошно кричат, а во время родов обычно умирают. Говорят, лисица, понесшая от них дважды – становится лисьей королевой, божественной рыжей потаскухой, и именно ей поручают воспитание темного потомства. Лисью королеву Цюриха зовут Маргарита. Ее шерсть седая, а глаза выгнили. Лисьи королевы правят рыжими стаями, пока новая королева не перегрызет ей горло. Это крещение кровью. Очень похоже на человеческое общество – вначале работа пиздой, а затем убийство. И торжество. Она прикажет слугам съесть умершую королеву, и будет смотреть, как подданные давятся гнилым, рассыпающимся мясом. Там, в огромной норе под старым цюрихским дубом, Маргарита правит лисами Австрии – огромная, около двух метров в длину... на ее рыхлой спине есть пробоины от охотничьих пуль. Раньше – четыре или пять столетий назад, на мертвецов охотились. Мертвое должно быть мертвым. Это сейчас ему место – на обложке Vogue.

Когда у лисицы наступает эструс, она начинает тревожно кричать. Ей очень нужно заполниться. И тогда приходят они. Мертвые седлают крохотные рыжие и белые тела, нашпиговывают их собой, и сквозь них – рождаются снова.

**Георге.** А где обитает Маргарита?

**Лизавета.** Недалеко. Ты хочешь увидеть?

**Георге.** Нет.

**Лизавета.** Хорошо. Ты бы не смог этого пережить. Точнее – продолжить жить. Для тебя вообще лучше – охранять свои информационные границы. Мир, суженый до размера любовника и френдленты. Георге, можно еще кофе?

**Александр.** Продолжай.

**Лизавета.** Тебе страшно?

**Александр.** Не по себе. Это очень простая история, но что-то в ней очень неправильно.

**Лизавета.** В ней правильно все. Только от этого тебе не по себе. Ничего не вырезано. Жизнь лис без купюр. Никакого лоска и глянца, старая жизнь не сведена до размеров прекрасной любви Ланселота. Иногда стоит просто посмотреть в окно, чтобы увидеть, как цепочка лисьих следов ведет прочь от дома в лес. И никогда нельзя знать, зачем они приходили к нам. Им не нравятся люди, но они приходят. Их ведет любопытство? Им – мертвым – так же, как тебе, хочется прикоснуться к чему-то другому. Вот и все. Это не то, что враждебно, это то – что просто находится рядом. Как кровь, – течет в невидимой для тебя близости к тебе. Это просто другая сторона, и ты просто не хочешь видеть.

**Георге.** Не расплескай.

**Лизавета.** Постараюсь. Продолжать?

Александр – вся его жизнь сведена к решению простой задачи – быть гением. В мире стеклянных небоскребов, отданных под офисы, мире прозрачной и красивой конкуренции, в мире бесконечного аттракциона – интеллектуальным правом и правом на жизнь – очень легко решать уравнение гениальности с одним

неизвестным. Александр прославился, как кетаминный фрик масс-маркета. Большие деньги ему приносят синяки под глазами и сильно выпирающие вены на запястье. Его шея пахнет «Gucci Black», его похабная и хтоническая готика хорошо продается. Он не тот, кто делает день-день на камеру, тайна его интимной жизни – не просто стремление к личному пространству, но маркетинговое предложение. Александр никогда не испортит себе имидж, собирая краудфандингом на новые рубашки от Лагерфельда или виллу в Исландии; он никогда не пожертвует в пользу голодающих Судана. Его последняя повесть – «Невесты Донбасса» – больно отозвались в жилах вселенной. Александру нравится быть непощенным, но нельзя догадаться, как далеко он пойдет в следующий раз.

**Лизавета.** Против всеобщего заблуждения, жизнь женщины не сводится к поиску мужика. Конечно, жажда осеменения очень велика, но в то же время, оно пугает, и заставляет женщину искать других развлечений. Потому в тайных женских обществах, претворяющихся кружками по рукоделию или минет-коучингу, обучают и тому, как найти королеву лисиц. Многие женщины мечтают босиком станцевать перед ожившим трупом Маргариты. Женщин, конечно, очень возбуждает близость к олицетворенной смерти.словно огромная богиня или даже принявший форму лисицы серп, Маргарита лежит в гнезде из костей – человеческих или лисьих – и зиянием рассматривает танцовщиц. Иногда женщинам позволяют плести царственный венок для Бледного Зверя. Обычно используют ядовитые растения и кости небольших птичек. Разрешаются колокольчики и красивые – с яркими фиолетовыми сердцами – цветы репейника. Репейником же можно облепить хвост Маргариты. Обычно женщины танцуют нагишом. Женщин пугает спать голыми рядом со своими мужьями, хотя мужчины и считают иначе. Иногда ты просыпаешься, и находишь эту штуку, упирающуюся тебе в позвонки, и понимаешь о мужчинах все. Но вот перед лисами у женщин нет такой стыдливости. А когда танец заканчивается, женщина встает на четвереньки, но не так, как перед мужиком, а опустив задницу ниже, чтобы лисы могли дотянуться. Женщинам нравятся шершавые лисьи язычки, и на удивление увесистые члены.

Раньше даже считалось честью подарить лисьей стае свое девичество, или даже понести от нее первенца. Сейчас, конечно, первые тридцать раз – вообще не считаются опытом.

**Георге.** Это не опасно?

**Лизавета.** Возбужденная женщина не знает, что такое опасность. Но, думаю, это опасно. Это как стремление стать лицом модного дома – так желанно, но при этом очень уязвимо к критике. Это как новая книга – всегда повод быть осмеянным. К счастью, танец перед Маргаритой едва ли угрожает женщинам стыдом. Могут случиться разрыв вагинальных тканей и смерть от обширного кровотечения или разорванное горло, но это, конечно, менее болезненно, чем ошибка, совершенная в простройке медиа-образа или неудачно данное интервью.

**Александр.** Так они совокупаются только с лисами?

**Лизавета.** Думаю, не только. Но лисы возвели совокупление с мертвецами в культ, а культ обратился в традицию. Как ты знаешь, кельтские жрецы во время инициации совокупляли овулирующую лисицу, и это символично означало совокупление с духами умерших. Я также знаю о женщинах, которые посвятили себя служению лисьим королевам. Их прельщала не только пляска, но и полная самоотдача мертвому чудовищу. Такие женщины оставались в норе навсегда, и постепенно слепли. В их обязанности входило обслуживание самцов, но большую часть времени они тратили на уход за королевой.

**Александр.** Думаю, достаточно про лис. Этого хватит на главу.

**Лизавета.** Еще кое-что. Центральный элемент лисьей культуры. Они называют это Погребенный Возлюбленный<sup>7</sup>. Об этом мне рассказали в одном из женских обществ, и я склонна верить, что это так. Лисьи королевы наследуют не только корону, сделанную из костей и бузины, но и сердечное чувство к некому Погребенному Возлюбленному. Иногда его называют Первый-из-Умерших. О нем все лисьи крики и ночные песни. Королева наследует платонического Возлюбленного, потерянного много столетий назад. Он – как бы любовник всего лисьего рода. И лисы верят, что много столетий назад, люди убили Возлюбленного королевы, и похоронили его в земле. Оттуда все это лисье мародерство кладбищ и – часто – некрофилические акты с человеческими мертвецами и этот некросадизм, когда грызут мягкие ткани. От злобы. Крохотные лисьи лапки роют глубокие человеческие могилы, и вновь не находят Погребенного Возлюбленного. Так что – от злобы. На этом все.

**Александр.** Все это нелепо. Очень по-детски.

**Лизавета.** Это архаика. А она не склонна наслаивать смыслы. Ты просто ждешь чего-то эдакого, такого – не такого, как у всех. Но такое не может существовать. Все, что ты можешь изобрести – уже изобретено. Все, что тебе остается – переиздавать свои книги в покетбуках и в новых обложках под новыми названиее.

**Георге.** Достаточно жутко. Когда понятные вещи становятся внезапно другими – это пугает.

**Александр.** Не знаю. Это другой уровень, другая целевая аудитория.

**Лизавета.** Не бойся, Нобелевскую премию дают за совокупность. Если бы ты придумывал свои книги сам – думаю, они были бы как раз такими, как тебе хочется. Но тебе ничего не остается, как описать Маргариту. Думаю, Анна<sup>8</sup> бежит из дома... внезапно. Она почему-то поняла, что больше не может жить в ритме «входит-и-выходит», она понимает – с женщинами такое случается – что рождена для чего-то другого. Ее не волнует, что у нее нет денег, и что муж может броситься за ней в погоню. Возможно, ее пугает, что он как раз не бросится. Но это точка невозврата. Ей тридцать шесть, она верная жена, у нее нет любовника и подруг, и она больше не может. Она бежит из дома. И встречает Маргариту, мертвую королеву лисиц. Добавь к этому множество умных слов, покажи им торжество своей богатой фантазии, покажи им ризомы, ублажи их метатекстом, трахни актуальностью и чеканным стилем. Опиши, как мертвец насилует рыжую лисицу на излете осени. Начни с этого главу. Да, крупным планом – мужчина, бывший мужчина, мертвец – грузное чудовище с одним глазом, насилует лисицу. Опиши, как сокращается лисья матка, не забудь вкусное описание его оружия, все эти венки, драную шерсть на мошонке и все остальное – они это обожают; опиши, как падают осенние листья, они трахаются на повороте реки. Лисица опасливо озирается, будто боится, что их застукают. Мертвец опирается на руки, обломанные ногти. Начни с этого, а затем вернись к Анне-Розе. Покажи им контраст и язык насилия. Пусть монтаж произойдет в точке описания его лоснящейся кожи и описания того, как Роза-Анна гладит салфетки. Или манжеты его рубашек. Может быть, мертвец формами похож на ее мужа? Или она смотрит в окно – один случайный взгляд, прочь от рубашек и манжет – и видит, как мертвец и лиса? Я не знаю, придумай сам. Ты мастер чудовищного копирайта. Добавь несколько завуалированных цитат из Зюскинда и Рушди. Покажи им, что прочитал еще несколько высокоинтеллектуальных книг. К примеру, пусть лиса во время того, как в нее запихивают, цитирует список кораблей. Или Бахман? Да, пусть цитирует Бахман. А в конце главы не забудь дать зыбкий намек, что все аллюзии не случайны. Сделай вид, что так и задумано, что ты не просто грязный некрофил, смакующий

---

<sup>7</sup> Конечно, как бы «Джекоб Блём»

<sup>8</sup> Или [мареновая] Роза

темы гибели и пасмурного разврата. Пусть твой стиль будет таким, будто ты просишь внести тебя в букеровские списки. А я пойду прогуляюсь. Вдоль по улице. Там, за стеной – по улице мира, где не думают о смерти. Я выйду вон. И буду там, что ты так ненавидишь – в Гольфстриме человеческой жизни, обычной и банальной, где солнце плещется на витражах и огромные плазменные квадраты рекламируют Перье.

Она встает со стула. Мебель эпохи Тюдоров заставляет тебя понимать, что все, что делаешь – может остаться в веках. Мадам Бовари, Анна Каренина, Жанна д'Арк – все эти бессмысленные имена почему-то сохранены в контексте; Гретхен, Ева, Альбертина – и это они тоже; Шанель, Синди Кроуфорд, Ангела Меркель – и они... добро пожаловать, ничего не будет забыто. Даже если тебе захочется. Может быть, ты сможешь не вспоминать отвратительную резиновую сухость елозящего в тебе гондона, но кто-то обязательно вспомнит. Даже если однажды ты проснешься в сумрачном лесу – какая-либо случайная сплетня и контекстная реклама – расскажет о тебе его обитателям.

Лизавета идет по улице. Здесь и повсюду рекламируют утраченные, но вернувшиеся в моду 90-ые. VHS-кассеты, особый шарм потоковых кинофильмов того десятилетия, расцвет мыльной оперы и ее трагический конец на фоне бури столетия, все эти люди, поющие, играющие и говорящие – как бы все еще существующие в нашей памяти, полумертвые звиздули прошлого столетия, мальчик Кен, плачущий пластиком, по ушедшей волей маркетинга Барби к другой силиконовой блондинке, ленты Гаспара Ноэ с красивыми ретроспективами скотобойни, – 90-ые, десятилетие разнообразия и бесконечного эксперимента снова выкатило свои длиннорукие кофты на прилавки, кудрявые прически и сексуальность здорового женского тела. И в параллель им – книги Александра, фриковые звезды, переливающиеся на рулонах презервативов детского размера, современный кондом отпускается по достижению 13 в вагинальном и анальном варианте, туалетная бумага с растворимой втулкой – чтобы мужчинам не нужно было напрягать себя и нести втулку до мусорного ведра; мир, когда девушки 90-х возвращаются в беспощадной и злой пародии на самих себя, снова фотографируются неглиже, прикрыв сиськи умными книгами, – чтобы подчеркнуть процесс интеллектуализации, в котором они плескались все эти утраченные годы.

Ее ждала долгая дорога. Она смутно представляла, где и как повернуть, чтобы срезать углы. «Дом Сивиллы» попался ей по одной из множества ссылок рекламы по интересам. Кажется, раньше он действительно претворялся модным заведением для мистически настроенной молодежи, но сейчас приспособился к новым веяниям, и с легким кокетством обыгрывал свое прошлое. Теперь он – злчное фешенебельное заведение с мрачным сайтом-визиткой, где каждая девочка вела тематический блог. Общее настроение была желчным, очень снобным. Эти девочки как бы утратили всякий вкус жизни, но были богинями понимания. Ничего не укрывалось от их высказываний: женщины, заплонившие личинками весь мир, быстроразпускающие мужланы, многочисленные туристы с красноватой от воздержания спермой, нравственные священники с крохотными мудями, собачонки из гляцевых журналов, арт-выставки с глиняными пёздами на прилавках, китайская одежда, тротуары, магазины, мещанство, Библия, секс-шопы. Лизавете нравились те, кто умел приспособливаться. Ей чем-то нравился Георге с его нескончаемой манией накопления: портфолио, фотосессий, онлайн-интервью, упоминаний в социальных сетях, побед в виртуальных конкурсах, ежеквартальных отчетов по продажам. Ему казалось, что все это как-то спасет его. Однажды. Ему казалось, все это зачтется. Георге из тех, кто боится ссориться с кем-либо, вдруг пригодится. Долгая привычка бесконфликтности развила в нем злокачественную доброту. Его страсть к

значимости заставляла Александра продавать свои книги под тысячью разных названий всех возможных формат во всех существующих сериях, перевестись на все бесполезные языки мира, выступить на тысяче конференций, саммитов, открытых дискуссий, книжных ярмарках и фестивалей, – все, где хоть каким-то боком он мог пригодится, и там, где не мог, но выступал локомотивом малораскрученного дерьма, будь то ручные украшения, открытие концертных залов и мероприятий неясного направления, – конечно, ему следовало там быть; пусть даже его образ не разрушался, так как его речь и облик всегда отстаивали самобытность его таланта, от этой вездесущности, сам факт его существования стал малозначительным и каким-то контекстным, по умолчанию, ни у кого не вызывал сомнения очередной релиз его книги, но все же покупка этого релиза стала чем-то обязательным, тоже очень обычным. Ранее шокирующее в его текстах – стало глянец черного цвета, не более, чем новым блюдом в рождественском меню. Его передачи на ВВС, которая вначале транслировалась после полуночи и была как бы не про каждого, медленно сползала в прайм-тайм и множилась в количестве, так что, в конечном итоге, ее стало так много, что ни Георге, ни Александр не смогли контролировать ее содержимое, и она, как все остальное, стала дерьмом. Качественное мрачное дерьмо. Медленно обрывая острые углы, он стал глуповатым гением с шестью интервью в месяц, тремя ежемесячными колонками и ежемесячным спец-проектом. И если Георге никогда не испытывал панической страсти к пограничью и был вполне удовлетворен, то Александр, как и Лизавета, истинно возбуждались на фотографии обезображенных трупов и репортажи о чем бы то ни было отвратительном, и теперь – чувствовали себя кастрированными, когда их признания в этом перестали читаться до глубины, стали – прозрачными и формирующими новый жанр с тысячью эпигонов. Даже если ты получаешь больше всех повторяющих, ты – тонешь в их количестве. Ты перестаешь существовать. Ты уже не понимаешь, где кончается любовь и начинается блядство. Где твоя фантазия перетекает в потакание ожиданиям. Где начинаешься ты, и заканчивается твоя фотография. И что в твоём интервью – сказано новым словом и хоть как-то отделяет тебя от вчерашнего дня. Когда-нибудь ты перестаешь замечать, как один день превращается в другой. А когда-нибудь все исчезает. Это называется смерть, и тысячи литературоведов, изучающий твои слова, никогда не разберутся в твоих мотивах и телодвижениях; когда-нибудь – однажды – ты сделаешь такое количество дел, что их нельзя будет запомнить. Там – далеко впереди – тебя так много, что ты перестаешь контролировать каждую малость. И наступает – Всё, Аус, Беркенау, эндро морте унд э морте энд ля'морт...

«Дом Сивиллы» был не таким крутым, как хотелось. Очевидно, что все эти барочные арки и готический шпиль – слились в нем по какой-то случайности. Конечно, жизнь была блеклым зеркалом своей веб-визитки. Но все же Лизавета вошла, как и положено, она нажала на звонок, встроенный в пасть бронзового льва, и оказалась как бы снова у себя дома, в богатой богадельне с персидскими коврами и зеркалами в кованых рамах. Жизнь – очень нищенская вещь, и поэтому все же очень приятно, когда она обставлена богато.

Там, в зеркале, ей не было тридцати семи. Беременность почти не видна. Успешная вдова или женщина на огромных каблуках в царском офисе. Или художница, или жена художника. Острые черты лица, кокетливая анорексичная бледность, Дитта-фон-Тиз-нуво.

**Лизавета.** Девочка без большого опыта. Готовую рассказать свою историю, как в первый раз. Не потасканная на откровения. И выслушать. Дырка узкая. Страпон. Включая анал, оплата наличными.

Такая девочка нашлась на третьей этаже. Утраченная жизнь и заточение в башне. Здравствуй, моя дорогая, как же тебе хотелось, чтобы он любил твое страшное прошлое, прижимал твои холодные руки и целовал твои пальцы, как же всем нам хотелось – когда-то давно – отдавать то, что называется нежностью, прижимать его большую голову к нашей плохо сформированной груди, целовать его большие руки от избытка благодарности. Теперь – ты проститутка. Не такая, как все, но проститутка. И у тебя новые фантазии: чтобы он взял твои холодные руки и целовал твои пальцы, вывел из башни, не позволил цветку завянуть для удовольствия, оросить своим соком больную почву одинокого и покинутого всеми посетителя, богато на отчаяние мужчины средних лет, здравствуй, забери меня прочь – по лестнице, ведущей из ада. Оплати мое время и целуй меня нежно. Целуй мое сердце навывлет. Послушай, как крутится в глубине моих ребер – вентилятор колесе судеб. Как кровообращение больно жаждой любви – без всяких на то причин, в любви замечая зыбкость спасение.

**Лизавета.** Как тебя зовут?

Ее зовут Лиза. Другая зеркальная Лиза двадцати трех лет. Лизавете предстоит как бы изнасиловать собственное прошлое, а точнее – повторить его. Продолжить насилие. В этом закономерность Колеса Судьбы. В бархатной комнате бордовых обоев – разве не здесь оно проворачивает свои ржавые ребра, отвечающие за холодную меланхолию и разбитое девичество?

**Лизавета.** Меня тоже.

**Лиза.** Сразу?

**Лизавета.** Нет. Сядь на кровать. Положи руки на промежность, и задери голову. Гордо и томно смотри в потолок.

**Лиза.** Так.

**Лизавета.** Голову чуть набок. Да, хорошо. Говори негромко, с томностью, как в фильмах.

**Лиза.** Что именно говорить?

**Лизавета.** О своей катастрофе.

**Лиза.** Что именно?

**Лизавета.** Все и до конца. Ты была у исповедника?

**Лиза.** Да.

**Лизавета.** Точно так же, но без надрывной мольбы о прощении. Это черно-белое кино. Ты должна рассказывать так, будто знаешь, что тебе никто не поможет, но будто в тебе еще остались надежды.

**Лиза.** Так и есть.

**Лизавета.** Я знаю. Ты рассказываешь главному герою. Ты рассказываешь ему с ожиданием, что он полюбит тебя за твое страшное прошлое. Не смотри ему в глаза. Во время таких исповедей всегда стыдно и страшно, что тебя ударят в ответ

**Лиза.** Я убила свою подругу.

**Лизавета.** Не так. С начала.

**Лиза.** Мы с ней сдружились в школе, а два месяца назад у меня умер отец. Это был рак, но я не могла это понять. Мне было от этого холодно, и я не могла понять, почему именно осенью. Мне, кажется, было бы понятнее, если бы он умер весной. И может быть я с ней так сдружилась, потому что он умер. Я как бы чувствовала в ней возможность это понять. И это именно она научила меня мастурбировать поразному. Это меня согревало. Не могу сказать, что думала об отце, но «тепло-холодно» было связано с ним. После школы мы ходили к ней, и она доставала ключ, и открывала дверь, мы шли в ее комнату и мастурбировали. А потом, однажды, она начала трястись, это был транс, и сказала, что это папа ее научил. Когда они ездят на дачу, он рассказывает ей, как дрочить. Но себя запрещает трогать. Она плакала, но

беззвучно, и все повторяла, что каждую субботу он ей рассказывает что-то новое. Скоро в нее не влезет, и она обязательно умрет. Этим знаниям становится слишком... ей. Слишком от того, как много она знает, но она не может не попробовать. Это слишком заманчиво. Она не может остановиться, не может рассказать маме, но кажется, она скоро умрет. Я обняла ее и сказала, что ничего страшного. Поцеловала ее в шею, и поняла, что это как бы мой отец через ее отца делает мне «тепло», я хотела узнать от нее все, я была ученицей ее отца, и не слушала, что в ней это не умещается. В меня больше не вмещалось горе, и я нашла, чем его потеснить. Я хотела, чтобы она продолжила ездить с отцом на дачу. Я находила множество слов изо дня в день, чтобы убедить ее – все хорошо, так нужно, папа тебя любит. Я знала, что что-то не так, но все это вырывалось из меня само, это была истинная и честная манипуляция, я должна была это знать. Однажды она повесилась. Внезапно. Как бы просто так. Наверное, ей стало слишком много. Она больше не смогла учиться. Она использовала его ремень. Помню, я подумала, что легкое удушение обостряет чувства. От этого может стать горячо. Очень горячо. То есть она сгорела. Я боролась с собой, чтобы не злиться на нее за смерть, и пыталась скорбеть по ней, но скорбела по прекращенным урокам. Мне ничего не оставалось, как пойти к ее отцу. Я не знала, что могла сказать ему, и попыталась соблазнить, одеться, как его дочка, стать ею, похитить ее жизнь, но он не реагировал, ему никто не был нужен, кроме нее, и учить своему тайному знанию он хотел только ее, а ее больше не было, и все знание умерло вместе с ней. Он не совращал ее. Он передавал сокровенные знания, он хотел ее блистательного будущего, он воспитывал в ней независимость – он слишком хорошо знал опасный мир мужчин, и пытался сделать ее самостоятельной. Но в выборе между отцом и его ремнем, она выбрала ремень.

**Лизавета.** Дальше.

**Лиза.** Ничего. На этом вся моя жизнь заканчивается. Я не получила ключа к независимости, и пошла по рукам. Во мне не было никаких удивительных знаний, чтобы влюблять в себя мужчин. И теперь я мечтаю, чтобы они любили меня просто так.

**Лизавета.** Был очень жаркий день. Почти полдень, в деревне. Это русский юг, а с Сашей мы познакомились в Москве, где он читал лекции. Мы выбрали друг друга взглядами, он мог это понять. Там, на русском юге, водятся гигантские мухоловки, разновидность сколопендр. От них почти невозможно спрятаться, летом они везде. Размером до семи сантиметров. Ты понимаешь, каково девочке остаться с ними наедине. Иногда ты просыпаешься от того, что одна из них случайно пробегает по твоей ноге. Будто пересекает горный хребет. Или видишь, как она ползет по подушке, извивается и трещит лапками. Это все, что я помню о детстве – гигантские мухоловки.

Был очень жаркий день, и я в ситце. Какая блеклость, какая затасканная история. Слишком много фальши, трагедия больше не выстреливают в нас. Я просто шла мимо этих домов, и мама с папой позади. Крыши, раскаленные крыши, и хотелось, чтобы пошел дождь. Высокая трава, с проплешинами желтизны. Обугленные круги солнца. Такое случается с множеством девочек, об этом не расскажешь. Он просто сказал, чтобы я пошла... наверное, была какая-то причина. Поедать землянику? Мне не более семи, я в ситце, и он держит меня за руку. Моя рука тонет в его, как в темноте. Большой мужчина. Псевдо-Георге, его предтеча, его очередное зеркало. Я знаю, что таких называют Безумными Королями – в Валахии им отстроены жертвенные холмы, их почитали убийством весталок, традиция поклонения их терновым бакенбардам – уходит очень глубоко. Это нарратив, от этого не уйти. Одно из искренних проявлений человеческой скорби – в фигуре

огромного мужчины с рыжими бакенбардами. Джекоб Блём, так они говорят – Безумный Король прошлого и грядущего. Вечный возвращенец.

Это был какой-то старый знакомый моей мамы или нет. Все и всех когда-то видели – далекий юг, мухоловки. Он ведет меня за руку, чтобы есть землянику, МОЮ землянику. Мученик современности вынужден поедать собственные потроха. Он приводит меня в дом. И я понимаю, что это что-то неправильное. Я ничего не знаю о сексе, но я предчувствую его. В этой жизни должно быть что-то зловещее – и оно в этом мужчине. Его огромный торс наполнен тоской. Педофилия и насилие – не его природа, но деформация и социальное давление. Он хочет пасть так глубоко, чтобы наступила беспросветное молчание. Трахнуть маленькую девочку. Расширить ее горизонты, и чтобы она растеклась вдоль их линии, он хочет выпустить ее грязную кровь, растоптать земляничную поляну. Он идет на второй этаж, а я четко понимаю – что-то произойдет. И бегу через окно. Царапаю колено. Я не знаю, зачем мне бежать, но во мне чувство уже свершившегося горя. Кажется, все изменилось.

И тогда пришли Они.

Они всегда приходят вовремя – полдень ли или вечерний сумрак, они приходят на твои желания наблюдать. Горячая и сухая трава по колено маленькой девочке. Время как бы остановилось, и горе-насилник застыл в своем доме. Это поле сухой травы кажется бесконечным. Я вижу, как начинает зеленью отливать небо. Когда Они здесь – все немного меняется. Недостаточно сильно, чтобы каждый заметил. Это аура тревожности, подвижности воздуха. Реальность и ее отражение плотно соприкасаются, ты застреваешь в шве их стыка. Это Изнанка. Маленькая семилетняя девочка слышит, как шуршат мухоловки. Этот звук нарастает. И я вижу его. Он стоит на поляне. Пастух мухоловок. Франциск фон Офтендинген, торговец детскими тенями.

Вначале я вижу только его тонкие руки и распоротый шов вены. Шелестящие края раны, насекомых, снуют ИЗ – наружу, текут по его руке. Вижу колокольчик на шелковой белой ленте. Его пальцы невротично перебирают воздух, и колокольчик звенит. От этого звона воздух наполняется ирреальностью. Я вижу его ногти, изломанные и длинные, покрытые белыми царапинами, блестящие, зазубренные концы, и пальцы, и насекомых на пальцах. Черное шелковое платье пастуха-священника. И дальше его корону. Реальность комкается. Корона из папье-маше. Так мне кажется. Но потом я вижу тончайшие нити, покрывающие картонные зубцы. И понимаю, что это мухоловки. Кажется, их спрессовали в трехрогую корону, их цвет стал цветом ее бронзы, и тонкие лапки ворсом торчат во все стороны. Вижу, как он подносит руку к лицу и погружает пальцы в нос(?), и только потом я осознаю отсутствие носа. Упразднено с корнем, и трещины поднимаются вверх, режут кожу, и вниз к ампутированным губам. Идеальные зубы. Внечеловеческая красота. На пальцах остается земляничный сок, как будто нос выломали несколько минут назад. Глубокие глаза волглого кряжа. Вижу птичьи кости в его ушах. Мелкие птицы, обглоданные мухоловками до белизны. Лысый и коронованный пастух. Опускает руки и облизывает пальцы, влажными пальцами по кадыку, болезненно вдавливая его – так (теперь я знаю) ритуально приветствуют смертных жрецы трансгенитальной боли – ниже, шуршит по твердой накрахмаленной стойке черного «мельничного жернова», я вспоминаю гравюры Дон Кихота из папиной книги, славные рыцари на приемах с такими же красивыми ошейниками, оттягивает его и показывает открытую рану, цветущую вниз по его груди. Мухоловки. Длинные пальцы. Мертвый пастух насекомых шуршит туфлями на большом каблуке по скоплению их тел. Он служит в честь ржавого скрипа кармы, Колесо вышито на его робе, колокольчик звенит как проповедь.

**Франциск фон Офтендинген.** Она рушится...

**Лизавета.** ...

**Франциск фон Офтендинген.** Карма рушится. Рвется в клочья.

**Лиза.** Я не понимаю.

**Лизавета.** Депрессия – это когда они проходят рядом с тобой. В непосредственной близости. С другой стороны. Они управляют нашими смутными тревогами, нашими историями, нашей духовной жизнью.

**Лиза.** Кто?

**Лизавета.** Иной Народ. Духи дхармы, ее воля, ее настоящее намерение.

**Лиза.** Я не понимаю.

**Лизавета.** Тебе повезло. Они стали моей поэзией, моей манией. И теперь я не могу быть понята. Я посмотрела в зеркало и узнала, что зеркала не существует. Летним днем мой шок расширил мое зрение. Я узнала изнанку реальности. Повернись. Я хочу начать.

Она пристегивает strapon, и берет Лизу. Та скулит. Лизавета прижимает ее к постели, ложится сверху.

**Лизавета.** Саша, обморок, я смотрю в твои окна, я ловлю твой снег, я преследую твои дороги, пару мгновений будто обычная девочка. Я пытаюсь говорить непонятно, я пытаюсь быть интересной, не такой, как все. Ты смотришь серо, я отвечаю поизощренней. Я выдумываю завихрения, я очищаюсь любовью от мертвых. Вот идет снег, мои плечи. Еще непонятней, я заворачиваю твое ненужное время в наши встречи. Ты не отказываешься. Я как бы готова все... В моих вьюжных снах ты греешь руки о мою грудь. В моей реальности я рассказываю тебе о моих видениях. О том, что стоит закрыть глаза, иное показывает себя из стен. И ты зовешь меня в Цюрих женой. Я становлюсь твоим текстом, твоей гениальностью, твоей черной невестой, исповедью поперек иконы... в стране, где мертвые катаются на лыжах с огромных гор, мы живем глупой студенткой-медиумом и нищим преподавателем. Повернись.

Вкладывает ей во влагилице.

**Лизавета.** Я диктую их в твою жизнь. Я надиктовываю свою любовь. Я говорю, что он поднял свою руку и поманил меня пальцем, я говорю, он заставил одну из мухоловок стрекотать по моей ноге, я говорю, что было жарко, что она проникла в меня. Я говорю, никакой крови. И даже кажется, что это сон. Но уже ночью я ошупала себя там и достала тончайшую лапку. Как на его короне. И это не сон. И он не сон. Так – моя любовь становится твоим текстом, я говорю о твоей гениальности, и с этими словами проходит моя любовь, ее все меньше, и вот конец.

**Лиза.** Ты ушла?

**Лизавета.** Нет. Я с ними. Мы вампиры-втроем. Деньги, слава и книги. Мы пьем кровь по кругу. Мы умерли давным-давно. Призраки 21-века. Брендовая одежда, проститутки, легкие наркотики, головокружительная карьера, страстная гомосексуальность, мебель Тюдоров, полный шик. Но мертвые больше не говорят со мной. Мертвые больше не говорят с ним сквозь меня. Мертвых больше нет.

**Лиза.** Почему?

**Лизавета.** Мы думали, мертвые отдали все. Но нет, мертвые – забрали. Нам больше нечем платить ржавой карме. Ее колокольчики теперь для других. Оденься.

**Лиза.** А что твой муж?

**Лизавета.** Он живет гениальностью, которой нет. Он – как все. Его глаза светятся пустотой. В них только его любовник. Жадный книгоиздатель и гений продаж. В них только – высушенная женщина, опустошенная фабрика его романов. Я бы хотела заламывать руки, я бы хотела трагедию, но нет.

Но больше всего я бы хотела, чтобы тот огромный мужик выебал меня по-человечески, и моя жизнь бы испортилась. Я хотела бы плакать, и чтобы он меня

ебал до смерти. Чтобы он задушил меня. Пусть бы он утолил свою похоть моей крохотной писью. И это было бы лучше, чем все, что сейчас...

...

Георге на презентации. Очередной презентации. Ей просто нужно занять чем-либо голову, пока идет по улице, поэтому она вспоминает ту презентацию со стороны Георге. Ему холодно от правды. Его гений – продается усилиями продаж. Каждый раз – новая трагичная история реализации, отгрузок, всепоглощающая печаль реальности. Лизавета отбрасывает эти мысли.

Свои планы.

Ее темная реальность больше не пульсирует.

Сегодня среда, время рассказать о беременности. Последняя сказка – о том, что мертвые вынашивают долго. Время течет иначе. Пришло и ее время, страшная мухоловка, тридцать лет. Но и этим планам не суждено сбыться. Лизавета идет туда, где кончатся Цюрих. Туда, на темную сторону улицы. Подальше от света фонарей. Потом – лисьими тропами. Она знает, что это некролог. Последнее письмо с того света. И ее мужчины никогда не узнают правды, но тысячи литературных призраков займут ее место. Она движется инстинктами – женская тайна берет верх – и идет туда, где правит Маргарита. Туда, где, как ей кажется, должна править Маргарита.

Вот так внезапно. Голый постмодернизм. Она обрывает всякие причины и оставляет ружья на своих местах. Многие женщины танцуют для мертвых. Время Лизаветы пришло. Это будут тяжелые роды, токсикоз уже вытравил из нее все человеческое. Ее пространство странных историй комкается, и небо отливает зеленым. Она помнит, как вытащила из себя лапку мухоловки. Помнит, как сидя на стуле эпохи Тюдоров, рассказывала о Маргарите. Помнит, что когда-то она любила его – там, может быть. И как он, может быть, любил Георге. Пока их не связали оковы этики и профессиональной лояльности. Мир дикой природы должен открыть Лизавете глаза. Мир, где женщины пляшут для мертвых. Там, у огромного дуба.

Но Цюрих все не кончается, и мужчины не узнают правды.

Среда. Город слишком разросся, у Лизаветы нет сил идти пешком, и она вызывает такси. Из окна – небо Цюриха. Она смотрит в небо Цюриха, и хочет увидеть птиц. Она думает о криках, которые издают лисы в период спаривания. Брачный сезон, вакхические танцы, течка, на снегу остается кровь, тень от деревьев, в свете ночника движение пальцев принимает облик медвежьей головы. Там, за окном – небо Цюриха, будто отпечатанный в одну краску типографский лист. Черная краска осенних туч.

## 6. Босния

Мы – вместе могилы копаем в воздухе. Я называю это любовью; в моем понимании это именно так. Наш роман случился в том возрасте, когда юношеские прожекты уже отзвенели, когда гордость закончилась, когда какое-либо ожидание притупилось. Я был немного старше, но и ее стаж хватало, чтобы разлюбить жизнь. Мы встречались в комнате, кровать которой заправлена синим бархатным покрывалом, шторы в которой синие и из бархата, где салфетки вязались чьими-то старческими руками в ностальгическом порыве, и она часто любила курить у окна с какой-то глупой печалью, с манерной кинематографичностью и комичной приподнятостью навстречу солнцу. Все в ней напоминало мне старость, дряхлеющие строения и воспоминания Большого Бена<sup>9</sup> о временах юношеского перезвона; ее стройные руки должны были бы копать могилы посреди воздуха, ее пальцы – укладывать мертвецов в эти могилы, ее голосовые связки напрягаться в нелепом «да не убоюсь я, идя долиною смертной тени...», и при этом всем тело ее и дух ее оставались бы совершенно серьезны; она была старомодна, и по старой моде кости ее были тонкими, ветхими, сердце глубоким, а дырка влажной. Мы практиковали римминг и глубокое страпонирование без смазки, мне нравилась эта боль и кровотечения, то, как Босния курила после процедуры с видом покинувшей площадку Монро; спящая в гробу Дитрих – вот кем была Босния, запертая в комнату с синим бархатом. Она не создана и никогда не рождалась для другой жизни, она, скорее всего, не умела читать, ее макияж был создан под полутона этой комнаты, ее платья маскировали изъяны резных набалдашников нашей постели; я не удивился бы, узнав, что Босния никогда не выходила на улицу, что похоронена она будет здесь, в синем саване, в синем капоре дешевой проститутки, удушена сигаретным дымом, с трупными пятнами мечтательности на щеках, обильная и сочная в своем желании умереть, даже посмертно не удовлетворенная и умершая от недостатка смерти. Босния была королевой тех проституток, которые желают больше и больше, которые расширены шире, чем предместья Парижа, ее содержимое – старая посудная лавка, звонкие щелчки предохранителя и музыкальной табакерки; Босния была бесчувственной любовницей с красивым шрамом во всю спину, она любила говорить о вещах, знание о которых было призрачным и отдаленным, она любила мечтать о них ярко, пафосно, с нарочитой похабщиной, словно старая башня на берегу Рейна говорит о шедеврах эпохи модерна; она была смертельно больна любовью к миру и презрительно-близорука к своей судьбе; я любил ее хрупкость, ее мертвые кости, ее кожу белую от смерти, ее разнузданную пизденку, ее раскляченные ноги, ее пегую шерстку, ее глубокую ненависть к контрацепции, ее детскую открытость миру за стеклом. Придет час, и ее механизм остановится, спящей она останется в синем бархате несказанных слов.

Мы встретились – стареющий педераст, отчужденность и холодность которого можно было бы полюбить, но не срослось, старый девственник, свою девственность превративший в ненависть к миру, и Босния, тоскующая артистичная шлюха, не способная пережить гибель смертельно родной сестры. Я любил ее платья, как собственные, любил ее потерю, любил ее сестру за то, что она умерла. Мы повстречались во вторник. Меня всегда мучило – до этого вторника – как именно следует посещать бордель: будут ли они говорить со мной, могут ли позволить себе какие-то замечания, я не хотел, чтобы спрашивали, как я хочу и не хотел, чтобы они знали о моем отсутствующем прошлом, я хотел, чтобы все было так, будто по любви, и, понимая, что разочарование может меня уничтожить, не направлялся к мужчинам. Мечта о военной форме должна была вылиться в женщину; все мои причудливые

---

<sup>9</sup> Имеется ввиду «Медведь» Фолкнера.

узоры уже не имели никакого смысла, всякое мое ожидание высохло, моя пересохшая дельта настолько выпучилась трещинами дна навстречу солнцу, что я открыл для себя двери борделя. И за ними – девки-девки-девки, и все вокруг девок драпировано под венецианство, все покрыто пудрой, церковно-приходская школа для юного педераста, здесь и накрахмаленные волосы и начесы, вазы с уриной, здесь гроты, здесь дворцы – утонувшие в пене, утонувшие в минувшем, здесь остановившееся часы и оплата по минутам, здесь девки-девки-девки, а я бы хотел мужчину, но иду, а мимо девки-девки-девки, и я пытаюсь выбрать из них хотя бы какую-то, чтобы не уходить вновь опустошенным, не уходить в привычном ощущении разочарования. И вот Босния. Это не тот роман, который как-либо афишируют. Его изломанная драматичность пересекает фарватеры тишины, ее костистый стан опирался на спинку стула из красного дерева, и я приценился к ней. Мы отправились в комнату, которая позже станет комнатой наших постоянных свиданий. Мне бы хотелось, что в этой комнате помимо меня не происходило никаких празднеств, никаких торжеств, чтобы Вахх здесь не рождался и Сатурналии не праздновались, чтобы мои запахи, каждое мое слово, выделение, секреция и секрет впечатались в череп комнаты, подперли ее своды, впитались в духоту ее прошлого, стали – частью ее, неотделимой лобной долей, чтобы исповедь моя – трещала стропилами даже тогда, когда моего тела не станет. В этой комнате я рассказал, что меня возбуждают детские платья, божьи коровки, и собственные фантазии о мужчине, которого зовут Марк; такого мужчины никогда не существовало, и я не встречал никого, кто был бы хоть отдаленно похож на него, но почему-то меж моих зубов постоянно звучит его голос, и когда я наедине, то говорю-говорю с ним, о нем, засыпаю с влажностью к Марку и просыпаюсь, упираясь в пустоту по имени Марк; что Марк носит военную форму, очки, любит мою нелюдимость; что я возбуждаюсь, когда представляю, что Марк плачет, то есть – до воображаемого совокупления – раскручиваю в голове сорокаминутную-часовую предысторию, в которой я ссорюсь с Марком, а затем мирюсь с ним, и мы выражаем телесно свою любовь и примирение, он целует меня, он лежит на моей груди, он историк или врач, он лежит на моей груди, мы говорим, и я прокручиваю, пока не засну, наши с ним разговоры, и что я знаю имена и жизни всех сотрудников Марка, знаю его маму, знаю каждую деталь его скелета, его жизни, каждую трещину и потаенную правду, каждую его страшную фантазию; что вся моя жизнь – это совместная жизнь с выдуманным Марком, и что когда я иду по улицам, часто ищу его в толпе, что я сохраняю свою девственность ради Марка, ради Марка каждый мой вдох, каждый мой выдох, все мое сердце и все мои осени в ожидании Марка, каждый рабочий день, каждая зарплата, мое завещание, мои кредитные карты, моя чистейшая кредитная история, что, может, мы усыновим ребенка, у нас будет большая собака, и собака будет вбегать к нам по утрам и наш сын тоже будет вбегать в спальню, а в спальне – я и Марк – я знаю, как будет выглядеть наша спальня, а если выйти из спальни – квартира, и я знаю в этой квартире каждый угол, каждое тайное имя предметов нашей квартиры, я знаю, сколько он получает и кем работает, во сколько приходит домой и что любит на ужин, свинину больше говядины, наши будни, наши выходные, наши годовщины и даже – подарки, которые он подарил бы, существуй, только бы если он существовал, то подарил бы мне именно это; я рассказал, что в моих книжных шкафах есть пустые полки для книг Марка, в моем сердце нет ничего, кроме Марка, что я заготовил для него свое завещание, что всему своему крохотному кругу друзей я рассказал о Марке, но забыл добавить, что его – не существует; и все они думают, что уже много лет я живу с прекрасным мужчиной по имени Марк, все мои друзья думают, что я счастлив, я пересказываю им наши диалоги с Марком, наши мечты, наши будни, наши выходные, я нахожу поводы,

чтобы их не знакомить, но никто даже не сомневается в существовании Марка, я знаю и рассказываю о нем каждый фрагмент, каждый час нашей воображаемой жизни, я задыхаюсь от любви к нему, я плачу по ночам без него, иногда – он уезжает из моего разума в командировки на две недели, и я жду, и я жду его с трепетом, мы будто говорим с ним по телефону и пишем друг другу длинные письма, я пишу ему, что скучаю, и он отвечает мне тем же, я рассказываю ему, какие новости на работе, чем я живу в эти скучные дни, когда его нет, когда его нет рядом, и тут же придумываю, чем Марк занят там без меня, в чем его дни, что на работе и какие у него настроения; я выдумываю стихи, которые Марк посвящает мне, и показываю их друзьям – собственные стихи! – и они говорят, что у Марка определенно талант, и я даже чувствую за него гордость, но одновременно и боль, ведь это – мои стихи к Марку! – и я говорю своим друзьям, что он замечательный, что я горжусь им, что я люблю его больше жизни... пусть все это станет частью комнаты с синим бархатом. Я хочу, чтобы это было так.

Босния выгодно отличалась от прочих – женщин подобного возраста – она не пыталась спасти мир, не рассуждала о морали, не сокрушалась об ошибках, она принимала вещи такими, какими они являют себя в первое мгновение: мужчина мечтает носить девичье платье и выйти замуж; боль сиамских близнецов при потере второй половины надломлено-острая. О своей умершей сестре она рассказывала ровно столько, сколько требуется для пояснения угреподобных шрамов во всю спину – операция по разделению очень сложна, и сердце одно из разделяемых иногда не выдерживает. Жизнь теряет к подобным женщинам – ставшим несколько... однобокими – всякий интерес, как только чудо медицины сверкнуло скальпелем, и приходится идти в проститутки. Она сказала, что у ее отца было хорошее чувство юмора, оно выразило себя полностью в сросшимися торсами Боснии и Герцеговине, но после навсегда покинуло этот круп и отправилось искать себе более здоровородящую жену и более славное потомство. Босния не сокрушалась. Ее талия была прекрасной собеседницей. Ее ноги были прекрасными собеседниками. Все ее тело было заунывной песней о главном – смерти. После совокупления, она отходила к окну и закуривала, и мы начинали нашу любовь: поочередно рассказывали друг другу истории, она мне о Марке, о выдуманных моментах нашей с ним совместной жизни, во всех деталях, без всякой робости она ныряла в омуты наших взаимоотношений, придумывала поводы для ссор и под мою мастурбацию бурно описывала «примирения»; я же рассказывал ей о том принце, что ворвется в царство синего бархата и похитит свою шрамированную королеву; о том евнухе, которых выхватит ее из семяизвергающих простыней; о кастрированном королевстве, которое она получит в приданное. Мы говорили намеками, сказками и ложью. Пусть наши жизни и лежали за пределами веры в фантазии, сами фантазии были ценнее обычной человеческой жизни. Она мечтала о рыцаре с красным знаменем, на котором золотом вышит перечеркнутый пенис, а я – о красном и дымящемся в мою сторону рыцаре с багровым пенисом, о часах и минутах нашей радости; она – тишины, о часах и полуночных часах бесконечной фригидной беседы; она хотела жизни похожей, на сломанный палец, я – жизни, как вправленный перелом, чтобы кость снова на своем месте; она – о странах, где люди ползают перед огромными блохами на коленях, где на склонах (фоном – красный-красный или кровь-из-аорты рассвет/закат) молятся кастрированному Вакху, где пляшут освобожденные куртизанки, давшие обет целомудрия, где женщина присаживается и плачет золотым дождем без страха быть изнасилованной; я думал о Марке, том доме, который я выбрал для нас, и Босния рассказывала мне о тихих днях, осенних и зимних днях, летний, весенних днях, которые мы с ним вместе проводим денно и ночью, наших поездках на реку, где поют комары, где мы – я и он

– на медвежьем шкуре в одном из бунгало; я выдумывал для Боснии диковинные страны, я рассказывал ей книги, которые она никогда не читала, и делал ее главной героиней, я переписывал для нее эпилоги, я плакал вместе с ней в минуту расставания возлюбленных, я говорю ей, что рыцарь придет, разорвав заслоны, и все мы – я, Марк, Босния и рыцарь – будем счастливы, куда смерть не разлучит нас.

Здесь я забывал всех своих знакомых, их проповеди, их голоса тонули, синий бархат поедал все. Здесь Босния привязывала к своей спине одеяло и показывала, как именно кожные склейки связывали их с Герцеговиной, о врачах, которые проводили многочисленные операции, о детстве, проведенном под светом хирургической лампы. Здесь мы были счастливы: я, Марк, Босния и ее умершая сестра. Здесь проходило нашей время, наши осени и весны, лето, одно за другим, и весна, кислая и горькая весна, и с каждым часом мы с Боснией обогащались надеждами, и с каждым часом в нас рождались новые истории друг для друга. Наши больные тела изнемогали от желания к Маркам и рыцарям, и выражали эту любовь к ним друг сквозь друга; наши больные души жили в синем свете синей комнаты, наши мысли спали в далеких странах, наши океаны выходили из берегов, мы были – самыми счастливыми людьми на земле, я и Босния, прооперированными сказками чужаки на промозглых улицах, мы были лишены внутренней осени в объятьях друг друга; книгоиздатель и проститутка спали в одной колыбели, год за годом, год за годом, ночь подгоняя ночью, в песнях о таинственных землях, монастырях и утонувших аббатствах, чудовищ которых свергают рыцарь и его верный оруженосец по имени Марк, час за часом они были все ближе к цели – дверям синей комнаты; Рыцарь и Марк занимались любовью, в ожидании нас так же яростно, как я и Босния... там, за стеклом этой комнаты, жизнь была наполнена шумом, памятью и правилами, здесь же вечно горел зеленый свет, мы ныряли в ширину игольного ушка, чтобы выхватить наши фантазии из путаницы воображения и облачить их в слова друг для друга. Уже близко... год за годом, один дракон за другим, ветер за ветром, история за историей, тянется наша любовь, одно голодное сердце льнет к другому голодному сердцу, спят в одной колыбели отчаявшиеся, прижавшись спинами, будто сиамские близнецы, осень за осенью вместе, осень за осень в одной могиле, – обитой синем бархатом; на ночь целуя друг друга, будто целуя других, в лоб, в губы – глубоко-глубоко, и снова в лоб.

Мы – могилы копаем в воздухе.

## 7. Комната Жерико

Когда она съехала, остались только туфли от Маноло Бланик. Поддельные туфли, ремешок потерялся, дырка в колодке. Это все, что осталось. Такой ее запомнят, и это я называю грустной смертью. Каждый раз, когда я думаю о смерти, я вспоминаю картину Жерико и еще множество других картин. Когда я говорю «съехала», это значит – умерла. Выбыла из поля зрения; внеплановая командировка, несвоевременное замужество; грустная потеря девичества. Я не знаю, как она умерла, но она съехала в известном мне направлении – на правый берег реки; реки, берег которой кажется белым, мертвое тело в белой ветоши трупных червей; туда-туда, где мертвые в белом полощут свои рукава. Вот так; от нее остались только туфли Маноло Бланик; поддельные туфли, которые когда-то – очень-очень давно – так же были белыми. Она съехала, оставив мне свои туфли. Я выбрасываю их на следующий день, и навсегда стираю информацию о своей квартирантке с жесткого диска.

«Мертвые не шумят», – так всегда говорила мама. От мамы осталось несколько квартир, красивый браслет, папина фотография, обитая бархатом шкатулка с моей пуповиной, много всякого барахла, и эта замечательная фраза – мертвые не шумят. Как бы громко они не умирали, они никогда не шумят ПОТОМ. То, что будет потом – это очень важно. Кому следующему ты сдашь квартиры, оставшиеся от твоей матери. Плохие квартиры, странные квартиры, дешевые квартиры или дорогие квартиры.

Я знаю, что каждый квадратный метр нашей жилплощади принадлежит мертвым. Все, к чему мы прикасаемся – на самом деле принадлежит им. Жизнь – это аренда на длительный срок. На самом же деле твои морщины, твои туфли и твоя девственность – находятся в собственности тех, кто на другом берегу реки. Большая квартира в центре города с хорошим видом на –

Сан-Марко,  
Сен-Жермен,

Блутен-Блутен-Блутен-Плац – стоит дороже всех прочих квартир моей матери. Я думаю, что она слишком хорошо знала мертвых, поэтому преуспела в жизни. Она знала, что мертвые не шумят. Это все, что она знала, это все, что она оставила после себя – из важного.

Вся моя жизнь замкнута в квартирах моей матери. Я называю это добровольным заточением. Я считаю себя мыслью, заточенной в черепе этих комнат. Или птицей в клетке. Воздухом в легких. Никогда ты не определишь стоимость своей жизни более достоверно, чем так: жить на виду исключительно мертвых. Я осматриваю большую квартиру с видом на \*\*\* после того, как она съехала.

Я нахожу ее туфли и тысячу других мелочей. Все это уничтожается взмахом моей руки. В ванной она развела этих глистовидных созданий с хитиновым панцирем, которые скользят в каналах меж кафеля; я сижу на унитазе и смотрю, как одна из этих тварей дрейфует по цементным мостам. Я не знаю, что это за насекомые, но они всегда приходят на запах смерти. Квартиры в центре городов – мертвые, из них не вытравишь этих созданий, тысячи дезодорантов, индустрия освежителей воздуха, все эти клубничные ароматизаторы и даже инсектициды – ничего не поможет. У этого животного длинный подвижный хвост, множество лапок на брюшке, я разглядываю судорожные движения<sup>10</sup>. Перевожу взгляд, и вижу в

---

<sup>10</sup> Каждая из квартир моей матери заражена насекомыми. Кажется, они стоят на стороне нашей семейственности, и прячутся в темноте, когда приходят новые квартиранты. Мертвые не шумят, в этом все дело. Из поколения в поколения мы доим мертвых коров; всегда найдутся желающие нашего мертвого имущества. Условия таковы: мертвые кормят нас, а мы не будим их призраки. На языке

раковине еще одно. На этот раз более толстое. Думаю, они питаются песчинками перхоти, чешуйками эпителия, думаю, они утилизируют все мертвые, что производит человеческий организм. Когда ты носишь поддельные «маноло бланики», ты вынуждена делить пространство с мертвыми. Насекомые – их вездесущие спутники; они приходят из сливных отверстий, покрытых трупной ржавчиной канализационных метастаз. Там, ВНУТРИ домов они свиваются клубками, они спариваются друг с другом и откладывают яйца. Для матери хитиновых стай существование сводится к скольжению в рвотных массах и излишках эякулята, сдроченного в раковину; она плодится от анонимных мужчин, и в какой-то момент умирает от тяжелых родов. Ее дети подымаются из тенистых юдолей и выползают из слива и канализационных люков – а потом ползают в склейках меж нашего кафеля, и их хитиновые спинки блестят под нашими лампами. Та самка, что сейчас скользит по раковине – Эвридика, она так и норовит соскользнуть обратно в подземное царство. В чем-то ее жизнь очень напоминает мою – осознание черной дыры под ногами, ослепленность ярким светом, желание большего.

Тебя зовут Мария. Всему нужно имя. Анна Франк дала имя даже своему дневнику. Но у моего дневника не будет имени, и он будет выстроен в форме поучения – обращения к тебе, которую я хочу называть Мария. Ты понимаешь мой шифр, я плачу в твои объятия. Сейчас ты сидишь где-нибудь в Париже, и нравишься каждому мужчине в зале. Мне неважно отдаешься ты им или нет; я не верю ни в правосудие, ни в воздаяние, ты вольна распоряжаться своим телом по собственному усмотрению; главное – ты живешь жизнью тли ровно так же, как я. Ты сдаешь шесть или семь дорогих квартир, и только этим обеспечиваешь свое тленное существование. Моя матушка – как и твоя – была вдумчивой сукой, и, конечно, вкладывала подарки и деньги в квартиры, склепы, кладбищенскую землю и т.д. Твоя мать знала, что мертвые не шумят. Мертвые очень близко. Мертвые в зияющей темноте. Мертвые – в твоём сердце; скелеты птиц плетут гнезда в твоём черепе. В средние века нас называли ведьмами, в Просвещение – проститутками, сейчас мы просто достойные внимания женщины. Нам обрезают кутикулы, парикмахер вычесывает перхоть каждую среду, кожа обожжена вертикальным солярием. Ничего особенного – у нас просто есть время умертвлять наше тело самыми дорогостоящими и изысканными способами.

У нас есть возможность – вести неторопливые дневники. Письма. Изучать теорию струн. У нас было время расшатать свою толерантность, и принять – практически все. Нас невозможно удивить, влюбить или расстроить. Богатая женщина – самая мертвая женщина. Наверное, ты знаешь о снафф-порнографии все. По крайней мере я думаю, что тебе в свое время это было так же интересно, как мне. Ты слышала про Черную Мессу? Так назвали инцидент в детском доме, который арендовали четверо мужчин. Они были в масках Бафомета, и, наверное, они были из нашего племени. Шестьдесят восемь подопечных детского дома на одни выходные

---

живых это значит следующее: имущество подчиняется мне, пока я не нарушаю волю своего имущества. Я сдаю квартиры, я зажиточная стерва с имуществом в центре города, я хозяйка рычащих водопроводов и опадающей штукатурки, я заклинатель мертвых, обреченная на вечное отчаяние госпожа, но мертвые не шумят о своих несчастьях. Все началось давным давно. Думаю, кто-то из моих предков страдал по какому-то мальчику, и на этом топливе осознал: мертвые не шумят. В этой простой истине весь цимус жизни. Мы вольные художники, искатели несуществующего – мы те, для кого пишут книги по философии, это мы в рабочие часы сидим в дорогих кабаках, это для нас модельеры шьют свою непрактичную одежду, это мы понимаем комедию дель Арте, мы потребляем арт-хаус и многие странные виды искусства; мы способны заплакать от удивительно-тонкого зеленого оттенка на никчемном образце абстрактной живописи. Моя мать, моя бабушка, ее мать и мать ее матери, и бабушка этой матери, и мать этой бабушки – все мы не занимались ничем. Ничем, кроме посещения парикмахеров, спиритических салонов, приемов, ресторанов и мужчин. В разных странах, под разными именами, вырубая генеалогическое дерево и взрослая снова – мы всегда здесь. Мой дневник нетороплив – заметно – он ни к чему не стремится, он пишется – для гипотетических дочерей безделья, для касты работяг и декадентских приходов. Я знаю из какой скуки придумали Лысую гору и маленькое черное платье. Все это – для таких, как я. Нас много, как этих глистовидных чудовищ в старом водопроводе.

стали подопытными этих четверых. Несколько литров эякулята закачали в шестьдесят восемь тел. Я уверена, ты слышала об этом. Ты ведь тоже читаешь газеты, ты – бесконечно в сердце тренда. Ты знаешь, что постгэнг-бэнг вытеснил с рынка буккакэ. Я уверена, тебе надоела порнография так же, как мне.

Как Париж? Кованые решетки, влюбленные, комочки жвачки на перилах моста брачующихся, катакомбы с веселыми скелетами, и все эти бесконечные художники, которые готовы нарисовать твою манду за два евро? Думаю – так же, как в прошлом году, столетие назад, четыре столетия – даже во времена Иисуса.

Все это не имеет никакого значения, поэтому я расскажу тебе свою жизнь. Вехами. Кровью. Сейчас, когда я ощутила, что мое очко сводит белой болью, и мне больше неинтересно разглядывать Эвридику-на-кафеле, я поднимаюсь с унитаза и чувствую, как онемели ноги. Даже эти нюансы бывают важны. В их описании – сильное и большое искусство. Бесплезность. Усталость. Темнота. Поддельными «маноло бланиками» вытоптана дорога в ад. А когда-то я была трепетной девочкой. У меня было детство. И воображаемый мальчик. Как тебе известно – когда-то много поколений назад женщина из нашего рода разочаровалась в мужчинах, и наши сердца – навсегда замерзли. Теперь мы не ищем любви. Взамен наши глаза научились выхватывать из действительности удивительные нюансы тщетности и смерти. Но когда-то давно у меня был воображаемый мальчик. Я только нащупывала свою потаенную сексуальность. Я только училась жить. Но мать сказала, что мертвые не шумят. С этой фразы начинается инициация. Тебе это известно, ведь так? Взрослая женщина ведет тебя на чердак – туда, куда раньше тебе запрещали подниматься, и ты видишь огромное нарисованное на стене дерево. Женщина торжественно говорит тебе, что это – Тоддрассиль – символическое изображение великого Дерева Смерти, Древо Клифот, тайнопись, дверь в мир призраков. Ты чувствуешь будто мир начинает дрожать. Его границы расширяются и вибрируют. Тебе кажется, что сейчас что-то случится. Смотришь на тщательно прорисованные листья этого великого дерева, хитросплетения его торса, в его коре тебе мерещатся человеческие лица и даже черепа. Женщина в красном, ты – в желтом. Я знаю, что в этом есть какой-то намек. Недавно ты начала читать Бронте, твоя мать – купила новую квартиру. Она говорит, что происходящее – очень важно. Ты должна вобрать в свое сердце и вытеснить все прочее – мертвые не шумят. Даже если ты не хочешь этого знать – мертвые не шумят. Даже если ты хочешь жить – мертвые не шумят. Любить – мертвые не шумят. Чего бы ты не хотела до этой минуты – мертвые не шумят. Вот к чему сводится твоя жизнь. Это право рождения. Дерево Смерти нарисовано на твоём чердаке, на его листьях – имена твоих предков, черных вдов, самок богомола. Забудь воображаемого мальчика. На этом все духовные процессы остановлены. После – тебя отправляют в художественное училище. Твои руки должны научиться рисовать. Там – твоя первая школа одиночества. Добро пожаловать, вилькоммен и все остальное. Привет. Здравствуй. Славься – густая чернильная чернота.

Художественное училище знакомит тебя с картинами Жерико. Для тебя, что они, что открытки с видом заснеженной Праги. В модных салонах любят обсуждать Климта и Софокла. Иногда тебе снится Тоддрассиль, и ты понимаешь, что все это – не шутка. Дерево мертвых действительно существует. Ты знакомишься с трудами средневековых демонологов, и все это – совсем не шутка. Ты ходишь по книжным магазинам и выбираешь книги. Ты ждешь, что однажды хоть кто-то напишет правдивую топографию ада. Чак Паланик «Проклятые», Данте «Божественная комедия», Свифт, Толкиен – все они не рассказали всей правды. Каждый забыл о страшной атмосфере душевной угнетенности. Ад кишит «живыми» существами, мертвыми, насекомыми, он поражает границы твоего воображения. Ты пытаешься

прикоснуться к его величественной архитектуре. В какой-то момент ты понимаешь, что должна нарисовать ИСТИННУЮ картину. Лучше, чем другие картины. Единственную картину. Я назвала ее «Свадьба Бархатного Короля», я слышала о другой Подобной – «Брат, на что ты меня покинул...<sup>11</sup>», картина от которой шестнадцать девственниц покончили с собой. Я решила нарисовать «Свадьбу Бархатного Короля» через два года после «инициации», после того как приехала из училища в одну из квартир моей матери. Мне казалось, я почти поняла, что значит Тоддрассиль, и наша жизнь – служительниц мертвого дерева – и сказала матери «я хочу нарисовать ИСТИННУЮ картину...», «я хочу показать людям МЕРТВЫХ, то, что происходит ПОТОМ...», она посмеялась надо мной. Тебе известно о том, что НАС преследует странные сны. Корни дерева мертвых растут в нашей почве, а крона затмевает солнце. Это напоминает действие барбитуратов. Жизнь перестает что-то значить, когда маленькая девочка приносит мечты о мальчиках, слюнявом сердце и деторождении на алтарь Тоддрассиля. Все становится совсем другим. Тебе это известно. И я должна была нарисовать «Свадьбу Бархатного Короля»...

...я продолжала посещать модные салоны и вести дискуссии об искусстве. На самом деле я очень боялась увидеть на одной из выставок что-то, что показалось бы мне ИСТИННОЙ картиной; я боялась, что меня опередили. Но нет. Ничего подобного. Люди продолжали рисовать людей: людей, сделанных из кубиков, кусков дерьма или красного пенопласта. Никому не снились сны, подобные мне. Я бредила «Свадьбой Бархатного Короля» несколько лет. Все мое существование свелось к отстаиванию своей творческой позиции перед лицом критиков и потребителей. Я думала, что смогу проложить мост между миром живых и миром мертвых, а мать продолжала смеяться надо мной. Мертвые – в атмосфере, они в тягостном бездействии, очень скоро ты поймешь тщетность, там на глубине этой тщетности – и существуют мертвые, это и есть – Свадьба Бархатного Короля. Но я не верила в нее. Скорее всего в тебе так же существовали человеческие амбиции, ты хотела – так сказать, схитрожопить – сесть на два, а то и три стула сразу. Ты думала, что принадлежишь мертвым, но при этом откусишь от пирога живых. Я спорила с литературоведами. Я выступала с докладами и кричала «Джойс – бездарность, самая маковка, самая поверхность, искусство должно шагать глубже...», я спала с критиками, и тогда им начинали нравиться мои эскизы. «Свадьба Бархатного Короля» существовала в шестидесяти восьми набросках – ровно по числу жертв Черной Мессы. Я была одержима искусством, я была одержима «Свадьбой...» в той же мере, как, вероятно, Караваджо был одержим «Поцелуем Иуды». Со мной вели разговор о манере, о красках, и я не могла понять – зачем? Живые очень любят подвижные мелочи, они мечтают обмануть самих себя, утроба их воображения родила поддельные «маноло бланики», они говорили, как моя кисть ложится на полотно, как холст отторгает краску и все остальное. Они уничтожали воздух своими разговорами. Мы занимались сухим художественным сексом, и по утрам обсуждали «Свадьбу...». Никто не мог понять метафору Бархатного Короля, и никто не мог поверить, что метафоры – не существует. Бархатный Король существует, как существуют мертвые, но люди не верят в мертвецов. Отгороженные кладбищенскими оградами, те плачут в одиночестве. Одному из критиков я сказала, что Бархатный Король спит в корнях Древа Смерти, и к нему обращены крики всех колоколов загробного пространства. Я сказала ему, что в Зеленом Радже<sup>12</sup> высится

---

<sup>11</sup> Один из самых известных портретов Джекоба Блёма, на котором Девы Голода подносят Безумному Королю свою жизнь и свою любовь.

<sup>12</sup> Один из доменов Иных Народов эпохи близкой к Зимнему Луностоянию, находящийся в обозримой близости к миру смертных. Считается, что земля здесь так переменчива, что ежедневно меняет свои

Колольня Верхрист, и что в соборе Комбре<sup>13</sup> есть колокол мертвых. Он спросил меня «ты пересказываешь фантастический роман?», и я ответила, что нет, конечно же – я не пересказываю тебе и твоему крохотному художественному члену фантастический роман, я рассказываю о той реальности, которую открыл мне шепот Тоддрассиля, дерева мертвых. Колокола умерших кричат, занимаясь друг с другом любовью своими криками. Я сказала, что знаю топографию сумеречных пространств. Он ответил – ты обкурилась, деточка, или ты пишешь фантастический роман. Очень дурной фантастический роман, деточка, – добавил он, и я спросила, почему же дурной?! Он дал очень простой ответ, до того простой, что я начала хохотать. Вот что он сказал «фантастический дискурс подразумевает синтез аксиомических тезисов и введение физической манифестации Другого, который в данном случае должен являться искаженной автором мифологемы», и знаешь, что я ответила ему? Правильно – иди нахуй.

Каждый художник – должен нарисовать картину своей тишиной. Иначе ничего не получится. Краски, вымысел и сублимация, вся прочая атрибуция портит замысел. Только тишине подвластна правда Древа Смерти. Мертвые не шумят, – в этом вся истина. Никто не готов был услышать то, что я знаю. И когда я замолчала – мир живых перестал существовать для меня.

Теперь я молча сдаю квартиры. Я продаю их желающим найти временное прибежище. Я продаю мебель. Я сдаю в аренду смерть, похоронила мать, по пятницам поднимаюсь на чердак, чтобы любоваться Тоддрасилем. Его ствол – это дневник нескончаемой некростенции. Его тело – похоже на тело Эвридики, очком сидящей на подземном царстве. Оно шелестит множеством лап, оно бархатится страшными сегментами плоти насекомых. Оно растет сквозь бесчисленные пространства мертвых. Их называют Бардо, ад и Шеол. Много всего придумано на этот счет, но искусства бесполезны.

Одиночество – это заточенность гения в собственный замысел. Остается разглядывать поддельные туфли своих квартирантов, читать ожесточенные дискуссии по выходу нового бестселлера, посещать морги и смотреть, как прекрасно смерть точит свои шедевры. Нам много чего остается, Мария: вертикальный солярий, педикюр по средам, страшные сны каждое воскресенье. В конце концов гениальные картины остаются в наших головах. Мы умираем – заполненными. Мы перестаем шуметь. «Мертвые никогда не шумят», – вот что говорила моя мать. И она оказалось права. Мертвые тихо смотрят, как шевелится Древо Смерти. Вот и все, Мария. Вот и все. Вот и все, не так ли?

PS.

1) Жерико долго разглядывал трупы, чтобы воссоздать пластичность их мускульной системы на своих полотнах. Моя комната – это ход его мысли, ход его смерти. Старые часы громко поют для меня. Комната, в которой нет ничего – это моя комната. Место ссылки. И место ожидания смерти.

2) Колокольня Верхрист поднимает свою голову высоко над Зеленым Раджем, ее плач является любимым блюдом матери стаи – Кармиллы<sup>14</sup>.

---

очертания. Это – прямолинейная метафора приближения Луностояния, точки Конца, исключения жизни Великого Прокаженного – возвышенной Ночи Брахмы и смерти искусства.

<sup>13</sup> Мистический город памяти, «открытый» известным «путешественником на край ночи» Марселем Прустом. Известно, что Джеффи Невенмейер, вдохновляясь Комбре, создал серию музыкальных табакерок. Одну из них Джекоб Блём дарил каждой из своих женщин – обычно, на Рождество, это наиболее логично. Сердце Безумного Короля псевдочувствует штампами. Обычно, именно эта музыкальная шкатулка со стеклянным городом Комбре – становилась средоточием женского гештальта, началом истории их гибели. Остальные шкатулки находятся в частной коллекции мистера Бомонда – в Цюрихе или Братиславе.

<sup>14</sup> Кармила считается матерью ночных ведьм и паранойи. Ее страсть к безграничным интеллектуальным накоплениям погрузила Зеленый Радж в марево тревожности и разврата. Угодья Кармиллы выстроены

3) Колокол в соборе Комбре – вылит из бронзы и крови, и своим плачем хочет заняться любовью с Колокольной Верхрист.

4) Свадьба Бархатного Короля – это пылающая лестница. Это огонь, облизывающий ступени. Это наш первый мальчик – ставший мужчиной – идущий по горячей лестницы. Ему не больно от пламени. Пламя пляшет по шнуркам на его ботинках. Он поднимается вверх – туда, где нет ничего, только снова и снова – горящая лестница. Художник шаг за шагом преодолевает одно и тоже пространство.

Вот и все, Мария, ничего больше. Рано или поздно – тысяча усилий – толстое тело Эвридики соскальзывает обратно в сливное отверстие.

## Акт II. Древо Клифот.

Разомкнутый адресат и вдовами  
пенящийся берег Рейна – вот от кого  
я зачал – ту печаль|третий глаз,  
обращенный в слепую зону  
тот тотентанц и зельбцерштёрнг  
тех детей и ту красоту – самоколесованных  
посреди воздуха  
Мейфлауэр рваные мачты протоки извилины дельты  
- состоящие из моей любви, составляющие мою любовь –  
седьмой, восьмой и девятый  
вал, безразличие, старость, майская ночь –  
...где вся красота спит  
в разуме омута в памяти и разомкнутости  
шумит имя мое из чужого рта,  
как обращение развращающего к развращенному  
мой бляйбен мой фон дер – моя неприкаянность  
Лотта из гесперид нити трахей в своих пальцах –  
в пользу Атропос  
Швейные фабрики вдовы штопают вновь  
исходящие Рейном внутренности моих рук  
полости четырех – моих истонченных камер  
там у подножия меня  
то есть там, где вода спит  
и свивается в вечные кольца  
бензола прозака шиллера беркенау кадавров в моем  
тотенкляге  
в моем дисперсивном завтра  
вдовы штопают ночь  
на месте выгнившего третьего глаза

## 1. До крика петуха...

У нее был муж, у него была жена, но это ничего не значило. Миссис \*\*\* и мистер Бомонд состояли в плодотворно-интимной связи, и это опять же ничего не значило. 1933 год, два часа до Лондона, – в этом что-то было, но она не могла понять что. Видя себя со стороны, она видела: острые плечи и сильные ноги; видя себя со стороны, она не могла сказать уверенно, что эта женщина решила покончить с собой, будучи этой женщиной – она знала это наверняка. Никак не удавалось забыть запах легкой плесени, исходящий от сыра, и поэтому она решила умереть. У нее все было слишком хорошо, и поэтому она решила умереть. Она считала себя лучшим читателем Вирджинии Вулф, и поэтому она решила умереть. Ни разу в жизни миссис \*\*\* не смогла преодолеть страх перед миссис Вулф, прочесть хотя бы одну ее книгу, зная, что сила этой книги сокрушит и острые плечи и неловкое сорокалетнее лицо; она знала наверняка, больше чем что-то другое, что миссис Вулф – была гением, и для этого вовсе не обязательно читать хотя бы одну из ее книг.

Этого всего было достаточно, чтобы хладнокровно решить – пришло время умереть, миссис \*\*\*.

У нее был муж, а у него была жена, и поэтому мистер Бомонд вежливо спросил:

- Все нормально?

- Да, – ответил я. Глядя сквозь свою мать, я не понял, почему она спрашивает, все ли у меня нормально. Потом я посмотрел на поезд. Тот застыл посреди ночи, и, глядя на него, я продолжал не понимать, почему моя мать находится здесь. Обычно она занята разводами, налаживанием личной жизни, и я не знаю, почему она находится здесь и сейчас – Москва, 2002 год – и делает вид, что является хорошей матерью. Я отвечаю, что да, все нормально.

Мы стоим на перроне, меня ждет поезд через Украину, с пересадкой во Львове, до Братиславы. Перрон заполнен людьми, одна парочка слишком громко воркует, мама краснеет, потому что мы никогда не обсуждали, есть ли у меня личная жизнь, а сейчас обсуждать слишком поздно, и она просто краснеет от того, что кто-то кому-то признается в любви, а мы находимся рядом, никогда не обсуждавшие подобного и потерявшие время обсудить.

Я прислушиваюсь.

- Мы правда до конца будем вместе?

- До крика петуха, – тихо отвечает миссис \*\*\*. На ней платье с серыми тюльпанами, платье сдавливает и не дает дышать. На пару мгновений она отвлеклась, чтобы вновь увидеть хищные глаза Вирджинии Вулф, будто коснуться этого – «я... я люблю Вирджинию Вулф, может, даже, как женщину...», а сейчас вернулась. Ее муж тянул трубку и смотрел на нее жалостливо и побито. Наверное, он ощутил, что именно сегодня ее потерял, ведь до этого ни разу в жизни он не говорил с женой о любви.

Потом она берет книгу. У него есть любовница, у нее есть любовник, они отужинали, как хорошая семейная пара, он читает газету, она читает книгу. *Мужчина был одет в странного вида пальто...* Она думает, что Вирджиния никогда бы не начала свою книгу столь глупой фразой; она не может сосредоточиться и думает о том, знает ли ее муж, догадывается ли ее муж, чувствует ли ее муж, что сегодня станет вдовцом. Или не чувствует?

Мужчина был одет в странного вида пальто. Его звали Джекоб Блём, и он исполосовал своим горем все европейские города. Он закончил двадцатый век в едва заснеженном Берлине и сразу же помчался дальше. Он не знал, что происходит, и ему

стоило бы умереть, потому что жизнь ничего не стоила. Заражая каждый город этой мыслью, он убегал дальше, туда, где мысль о смерти еще не свила свое гнездо.

Братислава, 2002 год, он ощущает, как тонкое лезвие парикмахера приводит в порядок встрепанные бакенбарды. Он старается не думать ни о чем, лишь чувствовать тонкий нож на бакенбардах. Потом он понимает, что не думать нельзя, и начинает думать о том, какую книгу купить. Нужно что-то... чтобы хотя бы сегодня мысли не заплели в гостиницу. Он остановился в просторном номере с видом на заснеженную улицу, но это не значило ничего. Ему нужна была книга, которая позволит не осознавать, что это не значит ничего, или...

Ему нравилась Вирджиния Вулф. Кажется, он ощущал в ней огромное горе. Джекоб Блём знал, что, если сегодня будет читать ее – утром уже не проснется. Тогда он вытянул следующую книгу, и уже хотел было вернуться к Вирджинии, но нечто остановило его. В тихом зале медленно гасли лампы. Девушка-продавец что-то сказала, но Джекоб не знал этого языка, ему лишь показалось, что она говорит: мы закрываемся. И поэтому гасли лампы. Он вернулся к книге, но девушка снова что-то сказала. Тогда он оплатил и вышел в снег. И только в своем холодном номере понял, что его вынудили купить. Что-то, допускающее, что «Лолита» Набокова – исповедь Гумберта своему врачу; что-то допускающее и содержащее ЭТО под своей обложкой, что врач отвечал Гумберту. Что все это – взаправду и имеет значение.

Как и обычно, Джекоб боялся, что книга кончится плохо, поэтому открыл последнюю страницу и начал читать с нее<sup>15</sup>. Письмо лежало среди прочих других. Тесный пакет дружеских посланий неявного содержания был перевязан зеленоватой лентой. Едва уловимое прошлое пахло гвоздиками и этим снегом. Я знал, что эти письма лежали спрятанными достаточно долго. Их привезли в Словакию и оставили, чтобы они начали пахнуть снегом. Выйдя на общий балкон, я ощущал этот же запах. Вся Словакия пахла так, и пачка писем, которую я нашел в небольшой нише, спрятанной между пыльными полками в чулане.

Это было мое первое самостоятельное путешествие по Европе. Меня слегка тревожило, что остальные успели познакомиться еще в поезде, а я вновь опоздал. И они, сбившиеся компаниями по три и четыре – пугали. Как темные тучи, еще разорванные, говорят о грозе, они – говорили о чем-то. А еще эти письма. Среди них не нашлось ничего, что могло объяснить это чувство безраздельного ужаса. Оно поселилось внутри. Я думал, что это – моя молчаливая влюбленность в бледную девушку из девятого класса; подсознательное, что пока я здесь, а она там, что-то случится. Но на самом деле мы даже не были знакомы, и этот страх – что-то другое. «...когда ты говоришь, будто слышишь в темноте ее кожу, ты говоришь о запахе или ты наблюдаешь цвет? Когда ты говоришь, что в ней лежит трансцендентальное зерно, правее сердца, и оно умирает от старости – оправдываешь ли ты себя, Гумберт?»

Я слышал поезд и дремал. Иногда было не отличить сердца от шума колес. Холодная струя воздуха упрямо бьет по лицу. До меня долетело «Что-то не так?», – это лысеющий мужчина спрашивал женщину. Его голос был высохшим и слишком

---

<sup>15</sup> ...PS: «Даже больше, Гумберт, ведь именно ты сделал ее Лолитой. В своем письме ты говоришь, что хотел съесть, хотел съесть маленькую Ло с потрохами, потому что она – Лолита, потому что ее имя – как едва обжаренное мясо на языке – ты хотел съесть ее и не съел, и оттого она умерла, но, Гумберт! Нет! Это не так. Даже больше, Гумберт, ведь именно ты сделал ее Лолитой, именно ты заставил ее умереть, потому что она стала Лолитой. Ты хотел съесть самого себя, став жертвой губительной жажды зубов перемолоть собственные же корни; ты боялся творения своих поцелуев, ты хотел убрать его обратно в гортань, и она умерла, потому как ты был слаб и не сделал подобного»

звонким. Он ехал научить своего сына кататься на лыжах. С ними была женщина, с которой он – в разводе. Я не знал, едет ли он именно затем, чтобы научить своего сына кататься, или же внутри него были другие мысли. Мне казались, что были. Они стояли за этим высохшим и звонким голосом.

За этим

«Что-то не так?»

все было совсем не так.

Засыпая, я слышал, как он повторил:

- Что-то не так?

- Что? – Джекоб уже почти заснул. Холодная Братислава его утомила.

Открывая дверь, он думал, просил ли не беспокоить или нет, уместно ли нахамить этой даме с накрахмаленным лицом, в накрахмаленном платье горничной. Она что-то сказала, но Джекоб плохо знал английский, а у нее был плохой английский, но, наверное, она спрашивала, не дует ли из окна, или что-то такое. Что-то неважное. Наверное, еще не слишком поздно, просто уже стемнело по-зимнему, и Джекобу хочется спать. Он пытался объяснить на пальцах, а когда она не поняла в пятый раз, что все хорошо, ему захотелось сказать правду, что все очень плохо. Может, она зайдет. Незамужняя, стареющая, может, она его пожалеет. Тогда она зайдет, они погасят свет, не будут понимать языков друг друга, и она проверит (как будущая жена Джойса проверила: тепло ли твоему паху, Джеймс?) не дует ли из окна; если он не сдержится, ей придется гладить его по голове. Джекоб знал, что она будет думать что-то очень тривиальное: о том, что, наверное, у него разбито сердце, и вспоминать, как и у нее разбилось сердце когда-то давно. Джекоб заставил себя посмотреть ей в глаза. Да, ее сердце было разбито, поволоченные легкой полутьмой глаза говорили, что так и есть. Нет, все в порядке.

Он закрыл дверь. Вновь ощутив холод, он хотел попросить ее вернуться и все же проверить окно, но затем взял себя в руки и сам прикрыл форточку. В темноте он смотрел, как за окном медленно растворяется в снегу всякая жизнь. Большой мужчина гладил свежий автомобиль, и было понятно, что он купил его только сегодня или только вчера. Две женщины о чем-то молчали, или говорили, но Джекоб не мог слышать. Да, наверное, они говорили о чем-то... неважном. Может быть, даже каждый день; каждый день говорили о чем-то неважном, и каждый день кто-то выглядывал из гостиницы и пытался подслушать их неважные разговоры. Молодая девушка что-то беззвучно выкрикнула на другой стороне улицы, его лоб напрягся, кожа почти надорвалась, но молодой человек не сдвинулся, и ни одна его морщинка не сдвинулась тоже; и девушка, увидев это, побежала, исчезла из виду.

И потом... старый костел пытался ударить в колокол, но снег облепил язык. Снег облепил надгробные плиты, похожие на больших овец, и старое распятие. Снег пристал к ранам на голених натуралистичного Христа, к зеленоватым нарывам в ладонях и бороздкам почерневшей крови. Колокол еще раз беззвучно ударил. А затем еще раз, и еще раз, и еще раз, и тогда Джекоб снова пронзительно ощутил, что куда бы он ни побежал, где бы не пытался укрыться, сменяющие друг друга кровавые рассветы найдут его и будут сменяться бесконечно, а внутри продолжит клочкотать мрак.

Он закашлялся, но это было уже сквозь сон. От собственного кашля разлепив глаза, Джекоб нашел себя на коленях, все еще смотрящим в окно. Колени и подбородок затекли. Снаружи все уже стемнело, и наступила ночь. Теперь даже женщина с плохим английским не зайдет узнать, все ли хорошо, не дует ли из окна, не дует ли в сердце, смораживает ли от отчаянья в глотке... теперь уже нет, не зайдут, только темнота. Даже снег казался черным, фонарей почему-то не было, или они заснули. Но казалось, что колокол продолжал бесноваться. Миссис \*\*\* знала, что

это колокол загробного мира. Когда ты умираешь и перешагиваешь тонкую бритву, медленно из тумана выходят метафоры посмертного существования. Человек слишком ограничен, чтобы его посмертие имело иные атрибуты, чем жизненное бремя. Поэтому там есть колокол, окруженный запахом цианистого калия звонарь, сплетенная из черепков, осколков хрупкого мрака и опия цепь держит колокол под сводами костистого донжона, время оторвало мякоть его серой стены, «Мария Целеста» гудит клаксонами, черная и густая вода перетекает по костям миссис Вулф, продолжает нести свою тайну и оmyвает оголенный торс Индии, а потом конденсируется и сбрасывает ее кости на тибетское плоскогорье. Она давно поняла, что сладкий сироп от кашля обостряет нервы, вызывает каталепсию и нарушение зрения. Прибавив к этому сиропу депривацию сна, миссис \*\*\* могла узнать, каково быть мертвым. Ей мерещилось, как пляж – это голый и вязкий ил, физические процессы выталкивают кроткую реку из берегов, и поэтому ил всегда влажный, похожий на кровоточащую десну, оклизлый кустарник на берегу, как скелет, обглоданный скелетик птицы, мертвое устье реки, сумрачная дельта, и бриз потустороннего колокола несет свои запахи и тревоги. Вода не имеет настроения. Она вне категории боли. Она не бывает радостной. Ил ясен и одновременно размыт, своими прозрачными формами похож на человеческую жизнь. Когда сироп застывает на губах, странное чувство сковывает горло, и ты понимаешь, что такое смерть: миссис \*\*\* чувствует, как холодные пальцы Вирджинии Вулф крепко держат ее в танце, слышит крики Ричмонда и отвергает эти крики, танец с утопленницей, а зрение, нарушенное сладким сиропом, позволяет видеть Вирджинию так, как миссис \*\*\* всегда представляла ее, – каталепсия и старые пристрастия к алкоголю размыли реальность. Остались только мысли о посмертном существовании. О, если бы можно было в раз лишиться суеверий и больше не знать об идеях воздаяния или перерождения, Джекоб бы больше не боялся.

Он бы снял комнату в Берлине и ждал дождливой ночи. И тогда он бы смотрел, высунув разрезанные руки в окно, как вытекает жизнь; ощущал бы, что тело сопротивляется, раз за разом пытается сомкнуть края ран, терзать сердце надеждами; дергается и просит Джекоба спастись...

...но проигрывает, жизнь смешивается с дождем и к первому крику петуха оседает лужицами на Альфонс-штрассе, и прохожие наступают в лужи. В этом был особый шарм – пачкать собой свежие ботинки работников крупных фирм и супермаркетов, искристо существовать в предельной к ним близости в то время, когда они даже не догадываются о существовании Джекоба Блёма.

Небо все в рваных тучах. Казалось, что пойдет дождь, но миссис \*\*\* не стала дожидаться дождя. В этом году в моду вошли французские камеи, все женщины сходили с ума от бус из муранского стекла, жемчуга были забыты, а еще были туфли с узорчатыми швами наружу, декорированные терновникам или красными нитками распустившихся роз. На миссис \*\*\* была камей с зеленовато-размытым, будто мандала или спил крохотного ясеня, образом медведя в погоне за самим собой, медведь-уроборос под ярким полуденным светом казался карикатурным, а в ночи прозрачным, едва уловимым знаком и самым главным правилом жизни. Эту камею привез мистер Бомонд, снявший летнюю веранду с ее прожаренными и гулками стропилами, осиным гнездом и завтраками от горничной миссис \*\*\*. Он был истинным ценителем стропил и осиных гнезд, пунктирной линией французских салонов, медведем-уроборосом.

В миссис \*\*\* он нашел притягательную силу смерти, затаенных демонов или мандалу особого тона на спиле ее жизни. На веранде, где жарко нагрето, и он зажигает посаженный на иглу шарик опия, они вступали в странные связи. Бомонд засыпал, оставив руку меж ее холодных ног, или она засыпала с пальцами,

погруженными в Бомонда, в рот или его черный ход, с особыми вздохами антиквар впускал в себя миссис \*\*\*, но никогда они не вступали друг в друга вычурно, по моде французских салонов, их связи были призрачны и едва уловимы, как медведь-уроборос. Он выливал глинтвейн на ее грудь, и смотрел, как тот воспаляет сосцы, затем медленно слизывал глинтвейн и позволял миссис \*\*\* вытянуть его своим ртом из его рта, а затем ложился на пол, художественно откидывал руку (пальцы хватаются за ножку стола из красного дерева), и позволял ей рисовать узоры гибели на склонах его сизых ребер, или облизывать крайнюю плоть, немного оттягивать ее зубами и причинять роковую боль. Выделения были под запретом.

Каждая мандала подвержена внутренней логике. Знания о точках позволяют расшифровать линии и общий умысел. Утренний туман в воспаленном зрении миссис \*\*\* казался зернистым, как влажный снег. Небо состояло из точек и линий. Мертвые двигались быстро, их тени проступали сквозь утренний мрак, выходили из сочного прибрежного ила. Все они выражали идеи и категории, не умирающие во тьме гениальности и бесконечные огни. Нервы миссис \*\*\* напряглись, руки застыли в распятии, спину поглотил туман, на шее следы утренней грязи, а в волосах зелень выброшенных на берег водорослей, крохотная личинка стрекозы ползет по ладони, теряется на пустыне этого огромного тела, мечтает о недосыгаемо-высоком камне ядовито-зеленого цвета, магической камее; полупрозрачная личинка методично движется – от медленной и затхлой кожи к мистическому камню на груди женщины. Последнее дыхание Бомонд забирает себе, а его пальцы ощущают твердый и льдистый клитор, затаивший свою жизнь внутри мертвой женщины. Миссис \*\*\* кажется, что много-много-много Вирджиний вышло сегодня на берег, платье зеленого стекла, муранские бусы, камеш для королевы стрекоз, разорванные на клочья тучи немного напоминают детство, мягкий податливый ил – объятья мужа, а поцелуи личинки на стылом запястье – таинство женской дружбы в пансионе «Санта-Мария», губы не чувствуют ничего, сладкий сироп от кашля парализовал ее горло. Перед смертью миссис \*\*\* слышала свои тайные имена – Сиэль, Саломея, Стелла и Астра – и думала о Франциске Ассизском.

Франциск умел слышать, о чем плачут птицы. В его честь названы многие базилики. Джекоб просыпался от собственного кашля и видел одну из них, сухие стены, немного сморщенные окна и заплаканные витражи. В сумбуре сна приходили погасшие влюбленности, приснопамятные имена и лица, замещенные лицами святых, Джекобу казалось, что он влюблен в самого Франциска и его идею, он не мог вспомнить своих перекрестий и пересечений, в груди было грубо скроенное распястье из тиса или ольхи, но какие-то сумбурные имена воспаляли нервы, какие-то фрагменты прошлого были отдаленно знакомы, тревожное эхо напоминало, что желание умереть имеет потаенные корни. Но мистер Блём всегда наблюдал мир, будто сквозь снег, его видения никогда не были достаточно контрастны, чтобы ясновидеть собственное прошлое. Сумбурные переживания и кашель наполняли собой его тревожные сны об улицах с выгоревшим асфальтом, о потаенных вселенных с вечным дождем, о дроздофилах, оплодотворяющих самих себя, мистериях Изида и элевсинских рождениях Вакха, о себе самом в исполнении Тициана, Рахманинова и Боттичелли, о самом главном: о людях, которые вбили гвозди в красивые запястья ночи, об утраченной идее божественной любви; о людях, которые вбили гвозди в красивые запястья любви, об утраченной идее божественной ночи, – приступ кашля, как погружение во тьму, остаточные боли в легких, как вспышки окровавленного маяка, Джекобу вновь было страшно, как ребенку, за то, что он знал: во тьме живет нечто, хохочущее над идеей божественной любви; нечто, подзадоривающее людей вбивать гвозди – в красивые запястья небосклона. Сквозь эту ночь плыла тревога в своем сером хитоне тумана и влажного

дождя, и Джекоб видел ее, когда просыпался, рыбу-тревогу, плывущую над сводом св. Франциска Ассизского.

Мы остановились в двух часах от Братиславы; город, отстроенный вокруг горнолыжного склона, старается удержать вес за счет денег туристов. За склоном начинается старое кладбище, под снегом надгробия напоминают овец, отара мертва, засыпана влажным пеплом. Подъемник издает протяжные стоны, чтобы натянуть свои цепи, их лязг долетает до кладбища, влетает в окна домов. Наш лицей вбирает в себя каждый социально-значимый элемент, у нас есть дочери ночной Москвы, есть сын брахмана, приносящий в класс ожерелья из человеческих черепков и тантрические лезвия, позолоченные украшения и воспоминания его детской Индии: о шудрах с грязными ногтями, тихих посвящениях для брахманских сыновей с балийскими шлюхами под присмотром отца, о той женщине, убившей его невинность, о звуках погружения в ее темное смуглое лоно, о катарсисе четырнадцатилетнего брахманенка в ее потных объятьях на дряхлой циновке, о наркотическом воздухе благовоний. Мы живем в доме словацкой семьи, в комнатах на четырех человек – я, брахманенок и еще двое – в трех комнатах из пяти на втором этаже этого дома; завтрак, обед и ужин, лыжное обмундирование и гид включены в стоимость. Хозяйина дома зовут Гумберт, его суровая расплывчатая тень иногда заполняет коридоры. Оглядываясь назад, я понимаю, что его симптомы и повадки были очевидны, слюнявый рот рассказывал все тайны своего хозяина. Когда-то свадьба мерещилась ему искуплением и переходом в новое состояние, сейчас Гумберт, отец двух дочерей, вновь во власти своих болезней, размеренное существование вернуло их к жизни, здоровый сон и семейные совокупления наделили их властью, взрослый одеревеневший в бесчувствии Гумберт научился жить двумя параллельными жизнями, вытеснения и внутренние баталии подошли к концу, кокетство, самобичевание и залысины властвовали над его внешностью, сальные железы окислили душу, черные перепонки желаний шуршали внутри него, череп Гумберта был заполнен нескончаемыми рядами детских гробов, и ему казалось, что это – мертвые бабочки свили гнездо внутри стареющего черепа. Он завел собаку, когда дочери перестали играть роль домашних любимцев, странные фантазии вынуждали его утягивать ошейник до асфиксии, долгая боль сделала сердце пса черным, как у самого Гумберта; они плавилась в чане раскаленного гноя, от злости Гумберт грыз ногти, а пес кусал тех, кто подходил близко. Женщины дома безмолвствовали, их молчание расширяло катакомбы подземных кладбищ, гематомы и насилие сделало их нрав кротким; Гумберт перестал брить подмышки с того самого дня, когда понял, что брак – это не инициация, не излечение и даже не лезвие.

«Педофилия, расширенная за пределы патологии, является феноменом, сходным с гениальностью. Гений не способен уместиться в рамках собственного тела и гений, неспособен относиться к себе снисходительно. Педофил так же расширяет себя за пределы собственного естества посредством детерминации: уничтожение того, кто мог бы быть (или был) порождением его собственных чресл, приводит к самоуничтожению, к полнейшему эсхатологическому восторгу. Мне приходилось видеть тех, кто не мог полностью развоплотить себя посредством одной жертвы (и таковых большинство), но идеальный или гениальный педофил – тот, кто четко просчитал траекторию и сумел уничтожить свой атом одной единственной правильно подобранной жертвой, той, кто является истинным зеркалом его чресл и его самого. Гениальный педофил, как жрец, воплощающий идею судьбы в реальность, и подвергает насилию лишь того, кто обязан быть изнасилован», – прочитал Джекоб.

Утренняя Братислава наполнена шумом, мистер Блём наблюдал, как целая свора трупов выстроилась в очередь на исповедь к святому Франциску. Их продолговатые пегие лица, как хлопья снега, струпьев, гнойничков, тайных лабиринтов метастаз и судорожного кашля. Их естество раскрыто ветром на части: жертвы обманов, священников и пустосердия, – рыжий пес вертится у мертвенно-стоптанных ног, пес-живой, как яркое пятно посреди Братиславы. Утром она – наполнена яростным шумом, тысячи голосов вновь нагоняют Джекоба, «вспомни! Вспомни нас!», и какие-то тайны прошлого приоткрываются на минуту, кажется, что жизнь – это рана, сморщенные края источают давно забытую вонь, силуэты людей, домов и гостиниц, Джекоб не мог помнить этого ясно, но было очевидно, что все это имеет какое-то отношение к прошлому. Но он не хочет вспоминать, заползать в расползшийся шов, он снова куда-то мчится, и когда проходит мимо Ассизского, ему кажется, что стекла церкви – это перепонки, трепещущие на ветре воспоминаний, слизистая раздражена, горло раздрает кашель, коже холодно, нарушение сна и аппетита, какой-то тяжелый недуг живет глубоко внутри, мистер Блём не знает его имени, но чувствует, как мышка-песчанка копает нору к центру его души.

«Ярость Вашей болезни не убивает, она покрывает Вселенную пленкой густо-черной смолы или дегтя...», – читает Джекоб в автобусе, а из окна виден холм, укрытый снегом. Погосты кажутся овцами. Пастух где-то рядом. Он не был жнецом, Джекоб всегда представлял пастуха подобных овец – человеком-с-ножницами, смерть всегда так чудовищна, приносящий ее вооружен ножницами. Пророк всегда устремлен вперед, он видит, его не интересуют математические ребусы и метастатические причины, критские захоронения и мандалы, он просто видит и не может иначе, – Джекоб никогда не вспоминает.

Тихий город погружен в ощущение праздника. Здесь тишина рокошет, и тревога дремлет в глубинах старых строений, подвалы отравлены тайнами, магазины распродают столетия, одиночество зацветает в сердцах, рыба-чума спит в местной реке. Я уходил в город от разговоров и вечерних пьянок. Брахманенок тратил индийское золото своего отца на «хенесси» и «джек дэниэлс», его приятели заполняли нашу комнату и пили до черноты; их свежие организмы просыхали к утру и устремлялись на горнолыжный склон, они радовались скрежету подъемника и девушкам в цветастых вязаных шапках, их сноубордам и их неумению; с горы – соскользнуть быстро, в этом она похожа на жизнь, смерть, оргазм и спазмы. Город был противоположен горе. Каталепсия, эпилептические припадки, рак грудного механизма противопоставлен пьяной драке, убийству и остановке ритма. Каждый дом сдается в аренду, в каждом своя тихая тайна и тихая семейная жизнь. По субботам женщины посещают кладбище, стряхивают снег с уснувших овец. Город – бесконечная менопауза, внутреннее кровотечение, почечная колика. Почечная колика заставила Гумберта схаркнуть в раковину клочок желтоватой слюны, ее нити все еще стягивали губы, отравленное дыхание разъедало не только комнату, но и сами его внутренности. Жизнь в этом теле была омерзительна: сколько себя помнил, Гумберт находил это тело больным: то выпадали волосы, то сильные морозы сковывали яички, и мочеиспускание начинало приносить боль. Гумберт не помнил дней радостного солнца, его жизнь пролегла сквозь ядерный реактор, мясоразделочную и темные коридоры прошлого. Внутри этого комбайна, молящего мжу, жила ярко-красная птица страсти. Единственный остров в гнойно-желтом океане будней.

Он хранил свою переписку с психиатром, как сентиментальные письма в бутылке, записи старинных романсов своей венгерской родины, патефон матушки и крохотную фотографию своей Долорес. Ло на велосипеде, который он подарил ей на шестилетие. Трагедия, похожая на падение в озеро Бодом. Очередная жертва

свергнутой словацкой королевы – Эржебет: Долорес с мышинными волосами и тонким голосом. Долорес на велосипеде. И Долорес, умершая самой страшной смертью из всех. Она упала под подъемник, а теперь Гумберт каждый день слышит его шум, в этом очень легко сойти с ума, его первая дочь чувствовала, как коченеют пальчики, но не могла позвать на помощь, бездушный подъемник разбил ей череп, и от боли она потеряла возможность кричать. Гумберт бежал через снег, и пес Гумберта бежал, но они нашли, когда было слишком поздно. Маленькая Ло уже была, как труп птицы, разбитая, невесомая, она терялась в огромных ладонях своего отца, пес плакал на звезды и облизывал ботиночек Ло. Долорес на велосипеде. Маленькая грустная Долорес, умершая на обочине горнолыжного склона. Сердце Гумберта черное, как южная ночь. Но внутри живет какая-то ночная птица. Папаша пошутил, назвав его Гумбертом, и он пошутил тоже, назвав свою первую дочь Долорес. Шутка удалась, крохотная Лолита, как воробей, потерявший перья, погасла навсегда. Кто-то погасил свет, а Гумберт больше не боится темноты с той ночи. Пес плачет на звезды.

Джекоб Блём любит собак. То, как они преданно плачут, ласково плачут. В 8:47 по местному времени он видит красивого пса, похожего на звезду, у магазина сувениров. В 8:56 идет по дороге, убаюканный тишиной.

В 8:34 Гумберт выходит из дома за покупками.

В 9:04 они сталкиваются с Джекобом на старой площади с остановившимися часами.

«...чаще всего нужду в самоуничтожении чувствует те, в ком не упокоены детские травмы, в ком родительские репрессии или разводы живут самостоятельной жизнью. Эти чудовищные потенции всегда видны за много просторов вокруг»

В 9:06 по наручным часам (которые, возможно, спешат на пару минут, а значит, встреча происходит синхронно) Джекоб Блём видит Гумберта, черное зеркало в раме человеческой плоти, голова полнится непонятным шумом, отворачивание скребется в душе.

Презревшие друг друга с первого взгляда они навсегда расходятся в 9:08 по часам Гумберта, и теряются друг для друга в пучине взаимного отвращения.

К полудню они не могут вспомнить друг друга.

Ровно в полдень (так получилось) мистер \*\*\* хватился своей жены. Через четыре года и шесть дней с того полдня, ровно в полдень (так получилось) вдовец \*\*\* порвал со своей любовницей миссис Хеджтон, и переехал в Лондон. Весной 1941 в 19:07 миссис Хеджтон принимает цианистый калий, чтобы облегчить раковые боли, две последние минуты своей жизни они почему-то думает о мистере Бомонде, старом антикваре, ставшим началом ее медленного падения, о холемом господине в старомодном сюртуке, о том, кто ни на кого не похож, кто не имеет аналогов, кто сотворен будто не человеческой спермой и не в чреве женщины. Этот припадок божественного откровения прерывается действием цианистого калия. Весной 1942 в 13:37 умирает единственный сын миссис Хеджтон. Его сердце останавливается внезапно, без всяких на то причин. Он помнит красивую миссис \*\*\*, первую свою детскую любовь, похожую на разряд электричества; презирает свою мать за фразу «она слишком старая для тебя», умирает мгновенно, а в кармане его клетчатого пиджака остается билет на вечернюю театральную премьеру. Осенью 1988 мистер Блём со своей женой посещает тот самый театр, который не сумел посетить сын миссис Хеджтон. Через два года с того спектакля, ровно в полдень (так получилось) мистеру Блему приходит навязчивая идея о разводе. Через четыре месяца в 9:06 по наручным часам, он получает развод и начинает свое грустное путешествие. В полдень сего дня, когда он уже ничего не может вспомнить о Гумберте, его начинает мучить головная боль.



## 2. Марсель, принц Ваезжердека<sup>16</sup>

### Сон.

А под сердцем Яна Гамсуна бился ночной кошмар. Проглотившие паука ощущают горлом конвульсии тонущего в слюне, а Ян Гамсун ощущает под сердцем ночной кошмар. Улицу заполнила ночь; откуда-то с запада в мансарду проникал тусклый свет маяка. Маяк погасили тридцать лет назад; Гамсуну было ровно шесть, когда моряки устроили празднество в честь смерти маяка. Свет погас. Свет навсегда погас, но Ян помнит, как вращалась яркая лампа на голове этой башни, как исторгаемый ею луч ощупывал город; голодно... голод, под сердцем, был голод; ощупывал с голодом, приценивался к уличным, иногда забирал с собой уличных, дети того времени верили, что их, умирающих от чахотки, забирает с собой маяк; а теперь их забирает лишь темнота. Ян ворочается, и свет давно мертвого маяка проходит сквозь окно; в его свете ярко и красно блестит оттопыренная заячья губа, бликует свет по слюне; бьется ночной кошмар. Там, в его глубине, будущий сутенер вспоминает мать. Она не двигалась. Он хватает ее, а она молчит; он тянется, а она молчит. Повсюду – только темнота; день, ночь – темнота; он дергает ее пальцами, и нога матери мягкая, вцепившись ей в кость, Ян плачет. В своем обмороке на мансарде, он причитает и зовет свет маяка; луч холодно проползает по комнате, исчезает, делает свой круг, и вновь пляшет по заячьей губе.

Луч заставляет старую кровь на полу блестеть. И в центре этой крови высвечивает железо. Едва приоткрыв глаза, Ян наблюдает, как что-то блестит посреди мансарды. Прижав к животу ладонь, он ощущает теплые ребра, и урчание кошмара. Тот бьет ногами; тот почти появился на свет. Луча маяка уже нет; толстое стекло разбили железными палками, и оно осколками осыпалось вниз; маяк уже мертв, но, кажется, его свет только что был в этой комнате... голод заставил Яна встать. Кажется, он не ел несколько суток, хотя, конечно, в этой темноте не могло пройти и более двух дней. За стеной резал кукол обезумевший старик. Того зовут Акибот; старина Акибот с вытравленной на плече русалкой; у той раскосые глаза, и ниже мохнатого паха член якорем; Акибот делает кукол, и сдает Яну Гамсуну старую мансарду, а нижние этажи – проституткам мамыши \*\*\*; в доме часто стоит кутерьма, в доме постоянно все слышно, а особенно то, что не хочется слышать, и поэтому Ян уверен, что не мог проспать более двух дней; эти девицы из 4-й и 6-й комнат стали звучать под клиентами громче и жутче с тех пор, как зло поселилось на этих улицах. Они звали его; и хотели умереть; хотели в каждом клиенте найти свою смерть, а по ночам, или лежа под моряками, которые слишком трусливы, чтобы утолить мортидо путан, мечтают о смерти. Им видится лунный серп, входящий в шею, и выходящей с другой ее стороны; невидимые нити, вздергивающие два окончания этого серпа к небу; и мечтают дергаться на этих нитках, как куклы старины Акибота; эта жизнь встала им посреди горла, и они бы хотели, чтобы лунный серп распорол это, обезумевшее от застрявшего в нем, горло, и выпустил ЭТО; и чтобы ОНО стекло по

---

<sup>16</sup> Один из самых макабричных районов Комбре, по традиции считающийся своеобразным «проспектом красных фонарей». Если Комбре в целом прямо ассоциируется с пространством снов, то Ваезжердек – с влажной их частью. Время стабильности и благополучия закончилось, когда люди покинули Комбре; шлюхи Ваезжердека вынуждены были оправдывать свое существование, воссоздавать новую идеологию своей пасмурной жизни. Тогда же возникает религиозная окраска извращенных и часто гомогенных актов звериного сношения. Старый маяк – стал алтарем малофьи и растроченной невинности. Казалось, шум свального греха мог пробудить Комбре от многолетнего сна, но нет, и Ваезжердек так и остался – и останется до Зимнего Луностояния – очагом неистового рукоблудия, сомнамбулического поиска взаимной любви и тошнотворной печали.

шее, к обвисшей груди, и капало на город с пяток, когда тело вздернется к небу на невидимых нитях. Ян знал, как они хотят смерти.

Гамсуну, когда он приблизился к предсердию комнаты, вновь показалось, что на красных досках что-то лежит; будто аорта выпирает и усердно показывает, как в ней урчит кровь. Но Ян отходит подальше; хрустит одна дверь, затем другая, и вот он уже протирает глаза, чтобы наваждение растворилось, в комнате Акибота. Не утружденная приличиями, Селина накинула пиджак кукольника на голое тело. Она смотрела сквозь наполненную сигаретным дымом комнату, чтобы отыскать в этом дыме самого Акибота. Ян не раз видел, слышал и чувствовал Селину; ей было двадцать, и от чахотки она заходила по ночам так, что ее шлюха потеряла в цене и теперь едва сводила концы с концами. На ее правой груди была большая расплывчатая родинка, похожая на остров посреди белой кожи, и, заходясь кашлем, Селина до сих пор верила, что это – карта; и на карте указано родинкой сокровище. Она рассказывала это на каждом углу; не боялась, что кто-то с нижних улиц срежет с нее кожу, и воспользуется этой кожей, как картой; может, даже хотела такой участи. Или уплыть с ним – волосы которого падают на загорелую грудь – за разбитый маяк, и чтобы его рука нежно отодвигала край платья, пальцами по этой родинке, и, сверяясь с координатами, сумела отыскать обетованную землю. Но иногда ей снилось, что когда она родилась, младенца принесли старику Акиботу, чтобы тот ножницами рассек пуповину, а тот уронил на ее живот сигарету, и так появилась «карта»; она просыпалась от кашля, от того, что кровь наполняла легкие, пыталась откашлять бронхи, и вывернуть посреди комнаты свое содержимое... но содержимого никакого не находилось, и Селине от боли продолжало сниться, что она выплевывает наружу себя-красную-внутреннюю, оставаясь на старом матрасе собой истинной – лишь кожей без содержимого, с вульгарной родинкой на правой груди.

Комната походила на морг. В дыму лица кукол очеловечивались; Ян видел, как целый ряд кукол у дальней стены ощупывает кирпич искусно сделанными пальцами. Они хотели вырваться; проломиться наружу, но снаружи тоже ничего не было; тихая улица погружена в ночь; но куклы не знали этого и хотели сбежать; а старик Акибот не препятствовал их желаниям.

- Как он выглядит? – спросил Ян у Селины. На кончиках ее губ запеклась кровь, и поэтому он просто обязан был спросить о ее сокровенном острове.

- Далеко... – улыбнулась она, – главное, он далеко. Вялый багет<sup>17</sup>. Никаких членов. Никаких мужчин.

- А твой капитан?

- Скормлю его рыбам. Я рассказывала, как один моряк признавался мне в любви?

- Они все тебе признаются, – откуда-то из дыма сказал Акибот.

- Он обещал меня забрать отсюда.

- Ждешь?

- Это было четыре года назад. Я думала, что он мертв. Это красиво. Но я видела его много раз с тех пор, и он меня не узнал. Лучше бы умер. Это красиво.

Вскоре Яну вновь захотелось спать. Он оставил Селину развлекать старика; и вернулся на свою мансарду. Ему вновь показалось, что луч маяка обыскивает комнату. Ему показалось. Никакого маяка не было. Была только кровь посреди, и именно поэтому их маленький дом вчера обыскали. Ян едва мог вспомнить заданные ему вопросы. Но очень хорошо перед ним стояли лица этих вояк; которые едва могли дышать от того, что стоят в самом сердце притона и слышат, как

---

<sup>17</sup> Страна вялых багетов – некое подобие Вальгаллы для проституток. Великая страна радости, где мужчины утратили эрекцию, а вслед за ней – похоть и лидерские качества. Мифическое far-far away, где женщина перестает быть вещью.

циркулирует по его стенам блядская кровь. Они называли его – «господин Гамсун», и это было смешно; один из них заикался, а второй казался храбрым. Храбрый легко ступил к телу и потерял всякую храбрость. Все оттого, что от двери едва ли были заметны раны; он, наверное, думал, что одна из шлюх словила удар под «господином Гамсуном». Да, вряд ли он ожидал подобного зрелища. Его щеки побелели. Тогда-то Ян и вспомнил маяк. Белый свет его, скользящий по лицу, делал лица такими же бледными; и дома... все якобы умирало в его свете, а затем вновь появлялось в темноте, и снова умирало, когда луч возвращался.

«Господин Гамсун!» – охнул храбрый. Будто с обидой, что Ян не предупредил его; может, этот мальчик впервые видел подобное; но в его голосе слышалась обида, в его желудке – обед, и тот хотел выйти наружу. «Господин мой!» – повторил он и сел рядом с трупом. Яну стало понятно, что на этот раз он зачем-то зовет сюда Бога, и ему хотелось сказать этому мужчине в синем жакете, что Бог не смотрит на улицу Ваезжердек с тех самых пор, как убили маяк. Ему даже хотелось узнать, не знает ли он, не узнавал ли случайно у Бога, зачем и почему убили маяк, но промолчал. «Господин!» – мальчик нагнулся над телом так близко, что можно было подумать, будто он начал молиться холодному мертвенному блеску слегка лоснящейся коже; и тогда, когда он лбом почти уперся в окровавленную промежность мертвеца, второй, который заикался, оттащил его за плечи и сам засвидетельствовал убийство. Ян сказал, что убитая – его сестра. Это подтвердилось женскими платьями, грубо сваленными в углу. «Она была проституткой?» «Нет, она была больна» – соврал Ян; «...с самого рождения она была больная (и это не являлось ложью), слабый рассудок заставлял ее сидеть у окна целыми днями». Потом Гамсун сказал, что просит милостыню на перекрестке между Ваезжердеком и Аушвером<sup>18</sup>; что однажды толстяк засунул ему монету под заячью губу, и что Ян никак не способен забыть такого позора. А еще он соврал, что не видел СДЕЛАВШЕГО это; потому что ни одно живое не поверит в увиденное. Только живущее под глазом мертвого маяка способно верить, и поэтому Ян поведал о ночном госте только Селине.

«Принц Вялого Багета!»

Яна не интересовало, какое зло пришло в Ваезжердек; он лишь знал, что это зло. Оно не могло не явиться, ведь весь этот квартал так жаждет гибели; когда маяк погас. Оно пришло на зов этой улицы, чтобы медленно умертвить ее. Когда-нибудь, когда последняя проститутка умрет, женский крик больше не будет звать стражу, и Ваезжердек станет таким же, как комната Акибота – заполненным куклами. А потом смрад позовет сюда людей, но зло уже скроется среди мякоти тел и вывалившихся сквозь лопнувшее брюхо останков. Оно растворится, и никто не узнает, как его зовут; пусть даже – Принц Вялого Багета.

...он хотел уже лечь спать, но снова увидел блеск. И нагнувшись, нашел в сердце комнаты бронзовый ключ. Тот был тонкой ручной работы, с раздувшейся головой, на которой кто-то выбил глаза и пунктир губ; этот ключ находился ровно там, где из сердца вылилась наружу кровь. И только это заставило Яна вновь произнести странное имя убийцы, названное Селиной.

Лежа на своем матрасе, Гамсун думал, а стоит ли верить этому имени, которое и не имя вовсе, а какая-то городская легенда. Стоит ли произносить его и потакать моряку, или кому-то подобному, кто хотел обрядить свою вонючую плоть в одежду этой легенды. Но снова ему вспомнилось зрелище и лицо убийцы, которое... которое! **ОНО БЫЛО ТАК ЯРКО ВИДНО, ЧТО НЕ БЫЛО СОМНЕНИЙ – ЕГО ВЫСВЕТИЛ ИЗ**

---

<sup>18</sup> Один из жилых кварталов Комбре, ставший печально известным благодаря Черной Аннет. Шлюхи Ваезжердека находили в услугах Аннет облегчение от нежелательной беременности и/или новорожденного потомства. Богачки из верхних кварталов в поисках омоложения покупали у Черной Аннет «красное варево» из эмбрионов, надеясь отыскать утраченное время.

ПУСТОТЫ ЛУЧ МАЯКА! Когда Ян вошел в комнату, он видел это лицо, и оно точно не принадлежало ни моряку, ни даже человеку. Никто не наряжался легендой, сам Ваезжердек этой густой ночью пришел призраков и сделал свое дело. Как пес, верно и любя, за худым телом двигался луч маяка. И теперь стало ясно, что Он – возвращался, чтобы оставить ключ, и именно поэтому Яну чудилось, что по его заячьей губе бегают белый луч, что глаза реагируют на яркий свет маяка... в груди что-то забило; Гамсун сжался в углу комнаты, чтобы не вспоминать, чтобы вновь не утонуть в своем ночном кошмаре. Но не смог, и темная волна подхватила его, вынесла сквозь западное окно, разбив его, и унося с собой по улице, заставило протиснуться в узкий люк коллектора.

Яну виделось, что он плывет на спине. Так плывут мертвые, из тел которых вышел воздух. Он подумал, почему Ваезжердек не утаскивает своих убитых именно так, если способен повелевать костям сжаться и протиснуться в узкое перекрестье канализационной решетки. А затем – зачем же? Зачем же самой улице скрываться, не лучше ли показаться свое господство над теми, кто кашляет кровью, и теми, кто холеной поступью в синих мундирах входит в его тенёта? Ян подумал (сильное течение канализации ударило его о стену – тело ощутило боль – прижало к ней, а затем перпендикулярный поток подхватил его и понес дальше), что ОН – пришел смеяться; Ян попросил в темноту, чтобы ЭТОТ исцелил ему заячью губу, коль уж ОН – ангел Ваезжердека; и тут же в его голове пронеслось, и это в затопленные уши совершенно точно прошептал смрадный поток – «Тише и никогда! Найди свои губы сам!» – а затем, не успев Гамсун ничего ответить этому потоку, как вода отпустила его, и он вновь оказался в своей комнате.

Тело болело. Оно все еще помнило, как его ударило о кирпичную стену сводчатого коридора. На нем остались напоминания об этом ударе. Ян ощутил, что губами сжал найденный ключ, и в нем возгорелось то ужасающее воспоминание, как толстый мужик засунул ему монету в рот; как однажды Ян Гамсун будто бы смотрел на себя со стороны, и его второе Я глядело в зеркало, а значит, в комнате единомоментно было целых три Яна, и каждый из них держал в руках бритву и желал перерезать себе горло – тогда только мысль «сколько тел найдут, если Ян Гамсун разрежет себя? И кто из нас – кто из нас троих? – испытает боль разошедшейся в стороны аорты?» – остановило его.

Ян вынул ключ, и испытал тошноту.

Кошмар хотел его обратно; но Ян не хотел вновь тонуть. Поэтому он быстро выбежал на улицу, чтобы вдохнуть Ваезжердек. Но ему не удалось вдохнуть улицы, потому что это улица вдохнула его. Ян побежал, и ему показалось, что он заточенный внутри мертвеца, и идет от самого копчика куда-то к глотке этого лежащего ничком скелета. И он знал, где окажется. Это место было ему хорошо известно. Сквозь глазницы – видно море. Мертвенный свет звезд заиграл на хмурых щеках Яна Гамсуна; и тот заплакал, припав к парапету. Вновь ему захотелось упасть за борт, как хотелось в детстве; тогда ему мешала твердая рука Акибота, воспитавшая Яна, будто сына; а сейчас... а сейчас ему не мешало ничего, но будто бы мешало. Он понял – что такой же, как проститутки мамыши \*\*\*, не имеющие силы лишить себя жизни; и теперь он понял, застывший и плачущий, почему дух Ваезжердека пришел. Внизу море мрачно билось о камень, и Ян многое понял.

От этого стало еще дурнее, и он засунул два грязных пальца себе в гортань, чтобы выпустить это наружу. Его начало тошнить, а в глазах всплыл мальчонка, которого точно так же тошнило с перепития и безумия, несколько лет назад. Ян нашел его у этого парапета и сделал своим любовником. Сейчас ему хорошо помнилось, что единственной мыслью было недоверие, как этот тонкокостный выдерживает поцелуй заячьей губой. И только сейчас Гамсун осознал от чего

истошно плачет под мертвенным светом звезд: мальчика больше нет; того, кто единственный без омерзения выдерживал поцелуй Яна – больше нет; и от вида его мертвого тела храброго мужчину в синем мундире тошнило так же, как тошнит сейчас Яна, как тошнило самого этого мальчика несколько лет назад, когда он понял, что вся его судьба – быть проституткой на Ваезжердеке.

Где-то очень далеко высился хрупкий стан маяка. Люди выбили ему глаз, потому что боялись белоснежного взгляда. А Яну было проще никогда не задавать себе вопроса, любит ли его это слабое тело или же нет, и поэтому дух улицы пришел и лишил Гамсуна сомнений. Мальчик, торгующий своим телом на мансарде Акибота, надевающий для привередливых клиентов женские платья, умер. И убийца оставил Яну ключ. Теперь этот ключ лежал в его кармане. Кармане штанов? Нет, пальцы находят оба кармана в широких штанах дырявыми. Кармане пиджака? Ян осознает, что на нем совсем не пиджак, а женская кофта, в которой его мальчик встречал клиентов. Вероятно, Ян схватил ее в приступе тошноты с груди другой одежды; или же сама кофта вызвала в нем тошноту, сама кофта приказала надеть ее, и бежать к этой набережной. Да, в ее кармане лежал бронзовый ключ с большой головой. Яну показалось, что на этой голове нацарапана заячья губа, но это – лишь на секунду; а затем – снова ключ, как ключ.

Итак, лишь на пару мгновений могло показаться, что какой-то мистический ветер подхватил Яна и потащил за собой; а теперь он вспомнил, как встретил мальчика на набережной. Наверное, тот хотел лишиться себя жизни, как сам Ян когда-то хотел; и точно так же, как рука Акибота спасла Яна от смерти; рука Яна спасла жизнь этого тонкокостного. Не так ли люди и находят себе семью на Ваезжердеке? Кто-то кого-то рождает от кого-то в темноте и выбрасывает в темноту, а потом этого выброшенного находит некто, кто давно хотел бы иметь преемника. Так Ян стал почти сыном старины Акибота; так и сам Ян стал отцом. Никто здесь не знал, что такое «отцовство», и потом Ян Гамсун глубоко целовал своего сына, и заставлял того надевать женские платья и торговать телом. По ночам они целовались; Ян так и не знал, нравится ли ему мужское тело или нет; но знал, что Ваезжердек убил его сына лишь за то, что в какой-то момент Ян Гамсун сказал себе – «Что я делаю?», не веря в любовь этого мальчика.

Тогда, ночью, улица пришла и забрала свое. Все ненужное тонет в древних коллекторах нижнего города. Но когда ты снимаешь рубашку, жизнь надевает на тебя новую, и поэтому сейчас в руках Яна Гамсуна был таинственный ключ, и этот ключ значил собой столь же много, как мальчик, продающий свое тело морякам.

«Принц Вялого Багета»

...снова прошуршала в его ушах.

На пару мгновений ему показалось, что за спиной кто-то стоит; но, обернувшись, нашел лишь спящий Ваезжердек. Страшно похожий на труп, он был бел в свете невидимого маяка.

## Явь

Ян спрятал лужу крови под ворохом старой одежды, а затем позвал к себе Белинду. В свете луны шлюха скинула перед ним одежду, встала на четвереньки и стала называть его «господином Гамсуном»; и тогда он понял, что она подслушивала его разговор с инспектором. Ян ударил ее, а затем заполз сверху; ему казалось, что она кричит от медленно умирания, но когда открыл глаза, понял, что Белинда кричит по привычке, а вены на ее шее даже не дрогнули, кровь не убыстрилась ни от удара, ни от быстрой езды.

Ночью казалось, что луч фонаря ползает по ее едва выпуклой груди. Ползает и блестит на серебряном медальоне. Белинда лжет, что она – дочь какой-то аристократки, которую похитили в младенчестве, и эта вещь, – единственное, что осталось у нее от прошлого. Но каждый, и Ян в том числе, знает, что шлюха просто украла его у девицы в сизом капоре, которая пришла поглазеть на тусклую жизнь Ваезжердека. Но сейчас медальон уже слился со смуглым телом Белинды, а иллюзия – крепко вросла в ее разум; Ян ухватил ее за талию и попытался заснуть.

...ему виделось, что он проходит сквозь ее грудную клетку, и оказывается внутри Белинды. Здесь темно. Ночь. Ночь скользит над городом. Все шлюшьи внутренности стали домами, лежащими в каньоне меж ребрами; и в центре этого кафедральный собор сердца. Ян будто наблюдал снаружи, и был самой ночью. А затем оказался в темной комнате, кротким ребенком, который теребит труп матери. Свет не проникает внутрь. Ребенок щупает материнскую ногу и ощущает кость. А затем появляется Акибот; будто из ниоткуда. И приносит с собой свет фонаря...

Проснувшись от громкого звука, Ян понимает, что этот шум доносится как раз из комнаты старика Акибота, и тут же Гамсун мчится на этот звук, оттолкнув от себя Белинду. Шлюха осталась лежать, опьяненная сном об аристократической жизни.

Внизу курит голый моряк.

Поднявшись по лестнице, Ян врывается в комнату кукольника. Того колотит. Руки, согнутые в локтях, припали к стене, и пальцы методично ощупывает кирпичи. «Здесь! Здесь! Принц! Здесь! Багет!» Последнее слово достигает Гамсуна, и он приходит в себе...

...Принц. Багет.

Куклы упали на пол лицом вниз. Старик раскидал их повсюду, и теперь они замерли, как мертвецы. Показалось, что старик Акибот – врач, потерявший в морге обручальное кольцо; и теперь все трупы лежат на полу, а ищущий плачет и бьется о кирпичную стену, потому что памятная вещь закатилась в толстую, шириной с палец, щель на стене. Ян никогда не видел этой щели; в сизом сигарном дыме кажется, что старик замер перед сокровенной дверью, и пытается ее открыть, но пальцы никак не могут найти потаенный механизм. Он засовывает мизинец в круглую щель, пытается вынуть его, на пару мгновений тот застревает, а затем окровавленный мизинец вновь предстает взору. Акибот что-то болезненно шепчет, а затем в слезах бьет железным каблуком ботинка по лицу ближайшей куклы. То трескается; голова отлетает от деревянной шеи и катится к ногам Яна Гамсуна; тот инстинктивно поднимает ее и смотрит в трещины, разошедшиеся по щекам. Никогда прежде Ян не видел в деревянных лицах столько боли.

Вновь запустив в щель палец, Акибот смазывает таинственную дверь кровью. А затем, усевшись на пол, начинает выть.

...на пару мгновений Яну показалось, что с другой стороны кирпичной кладки он видит свет, тот проходит сквозь круглую щель: тусклый и белый свет; будто старый маяк заложили кирпичом, но тот все еще продолжает светить; будто маяк никогда не умирал, а его просто заложили кирпичом.

- Видишь? – наконец, спросил Акибот. Кажется, он пришел в себя; подняв тело с пола, переполз на продавленную кушетку и затравленно посмотрел в глаза Яна Гамсуна. – видишь эту проклятую дверь? Видишь! А никто другой не видит! Говорят, старик Акибот потерял зрение, говорят, что двери нет! Но она есть!

- Откуда...?

- Не знаю. Она была не всегда. Просто появилась одной ночью. Меня это мало волновало, но последнее время я только и думал, что об этой двери. Я просыпался от того, что она звала меня. Дверь хотела, чтобы ее открыли. Но она не поддается. Ян?

...теперь стало ясно, почему куклы всегда стояли лицом к стене. Спятивший старик думал, будто множество крошечных пальцев найдут тайную панель, и комната явит себе миру. Так?

- Ян?!

- Да.

- Ты уснул или спятил, – улыбнулся старик, – уснул или спятил, точно тебе говорю. Хотя это одно и то же.

- Как дверь могла появиться просто так?

- Это Ваезжердек.

- Да, Ваезжердек, – кивнул Ян Гамсун. Ему вновь захотелось спать, и он знал, что, если уснет, вновь ему будет сниться тело матери. Ему будет сниться, как он лежит рядом с ее трупом в заколоченной комнате. Не этой ли комнате старика Акибота? Не здесь ли его нашел старик Акибот, нашел, а затем заложил труп его матушки кирпичами, со временем забыл об этом, и теперь жаждет узнать, что находится в этой могиле?

Единственное, что знал о своей матери Ян Гамсун, так это то, что она – была знатной шлюхой. Королевой или даже Богиней всех шалав Ваезжердека. Была, а затем исчезла, оставив новорожденного сына кукольнику Акиботу.

Только однажды Акибот сказал «она была хороша; столь познана мужчинами, что, конечно, не могла иметь от них детей; и поэтому однажды она сошла в море, и призналась, что ей овладел дельфин, а после этого твоя матушка сразу испытала недомогание и поняла, что от этого белого дельфина ей суждено родиться мальчика; этим мальчиком, конечно же, стал ты, Ян», но стоило ли это даже вспоминать, коль уж старый кукольник возомнил, будто в его комнате внезапно появилась таинственная дверь, издающая по ночам призывные стоны.

Гамсун услышал, как Белинда проснулась и прошлепала босоного к дочерям, живущим вместе с другими шлюхами, на первом этаже. И когда дом вновь умолк, сказал:

- Почему просто не сломать эту стену?

- Надо играть по правилам.

- Чьим?

- Принца, конечно, – улыбнулся старик, – ты разве не знаешь?

- Чего?

- Что Ваезжердек построили на костях королевской армии. Говорят, сам принц с церковной проповедью прошелся по этим местам, и смрад древних улиц задушил и его, и его армию. С тех пор улица любит принимать его форму; ужасную форму. Представь себе голубокрового юношу, обученного белошвейками и придворными шлюхами... что он испытал, увидев улицы нижнего города? Смрад сковал его горло, ужас заставил его кожу кровоточить, и он упал в канаву, где задохнулся вместе со всей своей армией служек и церковников. А новый Ваезжердек построили прямо поверх этой гнили, и улица все еще любит шутить над телом принца, принимая его форму. И если улица играет с нами, она хочет, чтобы мы играли по правилам.

- И каковы правила?

- Никто не знает правил, кроме Ваезжердека. Но если бы ты, Ян, был улицей и играл бы со старым кукольником, разрешил бы ты ему сломать таинственную стену? Я думаю, что вполне очевидно, будто подобное – нарушение.

- Не знаю...

- Он дал мне ключ, но я никак не могу понять – зачем... – простонал старик. Услышав это, Ян вздрогнул. Ему показалось, что его собственный бронзовый ключ начать звенеть в комнате и звать своего хозяина.

- Ключ?!

- Да. Вот! – старик достал из нагрудного кармана вырезанный из бумаги ключ.  
– Бумажный ключ. Им никак не открыть каменную дверь.

- И что ты отдал принцу за этот ключ, Акибот? Что?!

Кукольник долго молчал. Его пальцы подцепили с полки одну из новеньких кукол, и начали теревить край ее платья.

- Ну!

- Знаешь, Ян, с тех пор как Алисы нет, я все время делаю ее лица. Никак не могу остановиться. Иногда я вижу ее лицо среди облаков. А иногда мне кажется, что сам Ваезжердек, линии его улиц – ее лицо. Понимаешь?

Ян кивнул. Он хорошо помнил, как дочь Акибота весело смеялась на весь дом. Она была холодной правительницей. Под ее тусклым щеками текла настоящая ледяная кровь; она крепко держала этот вертеп в своих пальцах, а сейчас, всего за полгода, все пришло в уныние.

- Я так хотел бы узнать, что за этой дверью... – продолжал старик, – если Оно стоило утраты Алисы, что же Это такое, Ян? Что?

- Но она же не умерла...

- Какая разница? Для меня – что умерла! Уехала, и ни одного письма!

- Ты все равно не умеешь читать.

Акибот замолчал, дав понять, что наш с ним разговор окончен. Его лицо казалось тусклым и мертвым. Кажется, он сам не ожидал, что Алиса может куда-то исчезнуть. В раннем детстве у нее была гангрена, и левую ногу отрезали. Кукольник сделал деревянный протез, но с этой же минуты ощутил, что Алиса будет всегда. Всегда будет сжимать в кулаке этот дом. А потом какой-то моряк увидел ее и с первого взгляда умер от любви; она уезжала, испытывая тяготу беременности, а старина Акибот никак не может прийти в себя от потери. Видимо, равноценным обменом Принц посчитал для него – бумажный ключ. Который значил либо издевку, либо что-то очень значительное, чего ни мой мозг, ни мозг Акибота осмыслить не мог...

...Ян Гамсун покинул старика и поднялся к себе в комнату. Возле дверей тихо стояли двое мужчин, известных Яну. Обычно они приходили каждые три дня, чтобы хорошенько развлечься. Ян продавал им своего мальчонку, и на вырученные деньги снабжал едой и себя и Акибота. Сегодня же ему пришлось объяснить потного вида мужикам, что все закончено. Те прикусили тонкие губы, и попросили хотя бы раскупить женские вещи умершего. Ян с отвращением продал им всю кучу женских платьев, и те, шумя и посмеиваясь, стали обсуждать, кто из них что наденет, и как второй это снимет. Гамсуну стало дурно от подобного, ведь он видел, как большая часть вещей перепачкана кровью; но для других подобная мелочь ничего не значило. Из каталепсии его вырвала странная фраза брошенная одним из мужчин. «Ох и жаль, багет у него был знатный!»

- Что?! – шумно выдохнул Ян.

- Что что? – удивился мужик.

- Что ты только что сказал?

- Шутил.

- Повтори!

- Ну... сказал, что багет у него был хороший, – а потом пояснил, – ну членом твой парень работал знатно, усек?

- Да, – Ян облокотился к стене. «Принц Вялого Багета» – стены вновь прошептала это, и теперь Яну Гамсуну стало ясно о каком Багете шла речь, о каком Принце шла речь... ему стало ясно, что весь Ваезжердек погрузился в какую-то игру. Что-то пробудило мертвую улицу от долгого сна, и она ожила, разворачивая в своем чреве чудовищный карнавал.

Необходимо было показать старику Акиботу бронзовый ключ Принца, попробовать вставить его в кирпичную кладку, но вначале...

- Где Селина? – громко спросил Ян, врываясь в нижнюю комнату. Рот Белинды был занят, и она не смогла ответить, но одна из ее дочерей сказала Яну, что Селина на пристани, вновь (сказано с едва сдерживаемым смехом) ждет своего капитана. Стоило Гамсуну уйти, как все стали подтрунивать над его заячьей губой, и эти слова вонзились в Яна, вновь пробуждая прошлое. Вспомнились поцелуи. Вспомнился пьяным мальчик на пристани. Вспомнилось, как этот мальчик надевал оставшиеся от матери Гамсуна платья, чтобы торговать телом.

Холодный ветер на пристани немного успокоил Яна. А затем ему показалось, что он спит, потому что увиденное – невозможно. Там, на пристани, стояла Селина вся темная-темная, потому что луч маяка остановился на ее теле и, не двигаясь, освещал ее лицо. Кажется, впервые Ян Гамсун разобрал цвет ее волос, разглядел проглядывающий сквозь кожу позвоночник... но, когда он подошел ближе, свет исчез, и перед ним вновь стояла банальная Селина. Банальная и тусклая. Такая, которую он мацал множество раз; Селина, не представляющая никакого другого интереса, кроме...

- Принц!

- Да, – кивнула она, продолжая смотреть на море, – Принц.

- Скажи...

- Принц.

- Кто он!

- Он увезет меня, Ян. Он меня увезет.

- Что ты такое говоришь!? – Ян вцепился в ее плечо и развернул к себе. На ее лице застыли крупные бусины пота; глаза покраснели и опухли. Она оттолкнула от себя мужчину, оставив на его одежде следы крови. – Селина!

- Он взял. И теперь заберет меня.

- Взял... – глухо повторил Ян, разглядывая ее тело. Как и каждый, эта шлюха заплатила самым дорогим. Кто-то вырезал родинку с ее груди, и этим кем-то была сама Селина. Из глубокой раны сочилась кровь; прижимая к ней пальцы, она перепачкала и их; от этой потери крови у шлюхи сильно болела голова, и глаза были, как пьяные. – Принц взял...

Ян заглянул за парапет и увидел, как неровно срезанная кожа медленно плывет по воде. А затем начинает тонуть, оставляя за собой кровавые круги.

- Зачем? – ошарашено спросил Гамсун.

- Это все, что было. Теперь он заберет. В страну Вялых Багетов.

- Без мужчин?

- Да. Без этой...

- Откуда ты...

- Узнала?

- Да! Да! Откуда ты узнала о нем!?

- Что-то началось, Ян... разве ты не слышишь этого по ночам?

- Слышу, – признался он. Что-то действительно давно началось, но он не мог понять, что именно. Уже почти год. Это длится уже почти год. Старые кошмары вновь начали ныть под ребрами, под сердцем. Это длится уже почти год. С тех пор, как Алиса забеременела от неизвестного. – Чего хочет Принц?

- Дать нам желаемое, конечно, – улыбнулась Селина, – Ваезжердек милостив.

- Откуда ты узнала о нем?

- Сара. Цветочница. Ян?

- Да...

- Он идет. Оставь меня. Оставь!

Селина отпихнула Гамсуна и засунула пальцы в раны. Свет маяка сверкнул по заячьей губе Яна и окровавленной ране шлюхи. На секунду мир замер, а затем свет померк. Звезды исчезли, и только потом стало ясно, что нечто огромное закрыло собой небо. Ян прикрыл глаза ладонью, чтобы не видеть огромный шлейф темноты, который укутал собой все. Глубоко вобрав воздух, он лишь ощутил запах разложения, смирны, нечистот и ладана; а затем... смело посмотрев на Принца, увидел, как на темном шлейфе тут и там моргают большие белесые глаза, испуская свет. Похожий на свет старого маяка, он пронзил Яна и пронзил Селину. Девушка вскрикнула, а потом ощутила, как что-то холодное коснулось отверстой раны на ее груди. Длинные ногти отогнули край кожи, и она закричала, разглядев белесые пальцы Принца; разглядев, что его тонкая рука, изгнившая в запястье, заползла под серую кожу, и скрылась глубоко внутри ранения; как вздыбилось плечо, а затем она ощутила, что рука движется по ее шее – прямо по красной шее! – под кожей, а затем ногти начали изучать гортань и... Ян увидел пальцы, окровавлено проклюнувшиеся сквозь открытый рот Селины.

Он попытался что-то сказать, но Принц приказал ему молчать. Все было точно так же, как той ночью, в комнате. Гулко бьется сердце, и глаза не могут закрыться, продолжают наблюдать.

Принц прижал уже мертвое тело шлюхи к себе, а затем взметнулся в небо, оставляя за собой шлейф черно-гнилых мышц, покрытых серым прахом; и все глаза, лишённые глазниц и век, смотрели с усмешкой на Яна Гамсуна, в ужасе кусающего свой язык. Взор множества этих глаз, усеявших шлейф, напомнил ему холодно-жестоким свет маяка.

Теперь он понял, почему люди решили его ослепить.

### Полутьма.

В полутьме увиденного реальности уже не существовало. Яну казалось, что он спит у каменного парапета, но меж тем он не спал и видел себя со стороны. Он слышал, как в старой камере старика Акибота льнет к мертвой матери какой-то другой Ян Гамсун; он видел, как этого Яна Гамсуна выращивают черно-черствым. А еще – мальчика, пьяно прильнувшего к каменной ограде. Мальчик хочет смерти, ведь его вырастили черно-черствым.

Ян, лежа под мертвым взглядом маяка, вспоминает, как отдал Принцу все свое прошлое и сказал, что больше никогда не наденет женское платье и не будет обслуживать мужчин за деньги. Где-то на далекой улице, вне черты Ваезжердека цветочницы Сара избрала такую же участь... она была шлюхой. Когда-то. Она отдала Принцу все, что у нее было.

Ян Гамсун считал себя мертвым. Только мертвые видят так твердо, так широко открытыми глазами видят самих себя. Без всякого отвращения он смотрит на это прошлое, которое сошло с него будто старая кожа. Он лежит под разбитой светом маяка... и слышит, как шумит своей плотью внутри города Принц. И даже не Принц, а сам город, сам Ваезжердек, принявший его форму и презирающий все живое. Ян вспомнил, как тонул в своих снах; как темный прилив уносил его в яму коллектора. Нащупав внутри кармана бронзовый ключ с большой головой, он больше не думал, вырезана ли на ее бронзовом лице заячья губа. Кажется, она там имела. Ян посмотрел на нее без всякого страха; и ему показалось, что он смотрит в зеркало... сразу вспомнилось, что только однажды он видел свое отражение. Тогда он подносил бритву к шее и хотел, чтобы шеи не стало. Это было в тот день, когда Акибот впервые подложил своего «сына» под какого-то моряка. Это было давно. Давно. Ночь. Явь. Туман. Полутьма...

...Яну кажется, что он ослеп, слишком уж долго смотрел в Принца. Но через какое-то время зрение вернулось, и он вновь увидел темноту Ваезжердека. Город полностью умер. Теперь он даже не притворялся умершим, а был совершенно мертв, и только Ян что-то ощущал. В затылок смотрела луна. Она выхватывала куски бледного города, застывшего и сонного из темноты. И было ясно, что город – лежит меж двух рядов ребер. Проституция, пришедшая в Ваезжердек раньше Бога, глубоко пустила свои корни, и последний оплот спасения был разбит тридцать лет назад. Ян Гамсун помнил яркий свет маяка. Акибот выхватил ребенка из глубины ниши, оторвал от умершей матери, и вынес на свет. А потом маяк разбили. И кукольник начал наряжать «сына» в платье его умершей матери...

...он давно сумасшедший.

...все давно сумасшедшие.

Множество мертвецов на улицах Ваезжердека притворялись куклами старины Акибота, превращая улицу – в сцену. Ян Гамсун не мог понять, что по сценарию должно произойти дальше.

Пьеса.

Чтобы убедиться в этой мысли, он резко повернул голову и посмотрел на луну. И действительно: серп пронзил горло Белинды, и та, как мечта, повисла на невидимых нитях. Обнаженный труп висел в воздухе и излучал свет, а острый месяц втыкался ей в шею и проходил эту шею насквозь, выходя с другой стороны, и извлекая светящуюся кровь.

Ян Гамсун знал, что времени осталось мало. Эта вздернутая Белинда осталась последним источником света Ваезжердека; когда кровь вытечет, сцена погрузится во мрак. Размытая концовка не устраивала Яна Гамсуна.

Он в последний раз посмотрел, как густая, похожая на жир, сверкающая кровь течет по голым ногам шлюхи, собирается на ее пятках, набухает (ноги едва раскачиваются на ветру) и капает в море. Там на пару мгновений появляются радужные кольца, а затем море вновь становится мертво-черным.

«Что отдала она?»

«Все отдали все...»

Ян подумал, что не в силах идти, и всю кровь Белинды проведет лежа у каменного парапета. Там, где, напившись, хотел завершить свою жизнь. Но затем вновь сжал пальцы на бронзовом ключе. Да, на бронзовой голове в действительности была заячья губа, и чтобы двигаться дальше, Ян ударился лбом о сонм своих страшных кошмаров.

Он слышал, как что-то хохочет, и думал, что это ворчит кровью перерубленная шея Белинды.

Он слышал крики маленького Яна Гамсуна в каменной тюрьме Акибота.

Он слышал, как многие мертвые в теле Принца ворочаются.

...как гаснет свет.

И тогда он поднес ключ к губам и поцеловал бронзовую голову в заячью губу, испытывая на себе все то, за что платили любители экзотики...

...а потом плоть Ваезжердека пошла ходуном. И воды внутри нее обратились вспять.

### Полусвет.

...было неудивительно, что бронзовый ключ отпер решетку коллектора. Ведь Яну снилось, как темная сила проталкивает его сквозь ее квадраты. Он ступил в полную темноту, и холодная вода коснулась его паха.

Ему виделось, как едва светящиеся тела умерших выступают из старой кирпичной кладки. В толстые щели высовывали пальцы, и пытались ухватить воздух. Ссохшаяся рука с тонким обручальным кольцом коснулась плеча Яна Гамсуна, и тот обломил ей запястье. Крепко сжав эту кисть, он ее едва пульсирующей светом освещал себе путь.

Вода дремала спокойно, хотя он ощущал, что и она – мертвая; мешает ему пройти, тратит его время.

Старая шахта уходила все глубже и глубже: отломанная рука выхватывала разные слои кирпича, и Ян воочию увидел, как бордели в Ваезжердеке строились один поверх другого, как один возводился прямо на трупе предыдущего, и так бесчисленное множество.

Он не знал, многие ли бывали здесь.

Вероятно, полноватая цветочница. Ян видел ее два раза в жизни, и ему трудно было представить, что и она прошла через подобное. Зловонный поток достиг кадыка Яна Гамсуна, и уже скоро заячья губа цепляла собой соленые воды древнего коллектора. Едва придерживаясь стены, он уже не ощущал под пальцами кирпича; в почти полной темноте под его рукой разверзлось немыслимое: он знал, что это и есть истина улицы. Тела, которые срослись, скользкая церковная одежда, не истлевшая лишь оттого, что Ваезжердек хотел, чтобы она существовала.

Он подумал о бумажном ключе Акибота и не нашел ответа.

Спустившись вниз по скользким ступеням, «господин Гамсун» вспомнил, как Акибот силой заставил его обслужить двух военных, и эта ярость наполнила его силами. Там, ниже этих ступеней, ничего уже не было, и приходилось идти прямо по шлейфу Принца. Черные мышечные ткани сокращались, тяжелое дыхание Яна разрывало воздух; он старался лишь не наступать в окровавленные и разверстые, как раны, глаза на шевелящемся покрове города...

...сны разбивались вдребезги.

...и казались, что больше никогда не будет снов.

...что после такого не выходят наружу и не живут.

...не живут.

...и не стоит.

Ян знал, что Селина где-то здесь. И все другие, кто отдал себя Принцу. Они бьются в этих осклизлых стенах и ищут ту замочную скважину, к которой подойдет волшебный ключ. Но скважин нет. Вездесущие дыры проделаны мертвыми пальцами тех, кто пытался выбраться из тюрьмы города. Замочные скважины видны в каждой дыре тому, кто играет по немыслимым правилам Принца.

Гамсун уже даже не знал, а существует ли Принц. Не есть ли он – видения подсознания. Что-то, свернувшее свой шлейф внутри каждого черепа, и многочисленными глазами наблюдающий за каждым движением мысли. За тем, как беспорядочно и беспардонно люди ищут замочные скважины и засовывают в них, найдя, пальцы, раздирая кожу до крови.

Ничего не существует, – понял Ян, кроме того сердца, что сейчас билось в тюрьме Акибота. И игра по правилам – двигаться вперед.

Наконец, он увидел впереди мертвый свет. Он тускло пробивался откуда-то сверху, и сейчас Ян смотрел на него будто бы из глубины колодца. Там, наверху, что-то двигалось в лучах этого света, и оно звало к себе смертного по скользкой винтовой лестницы. Когда-то она была выстроенная внутри круга несущих стен, но сейчас, в этом небытии, произрастала из шлейфа Принца и была лишь шлейфов Принца, принявшим форму ступеней винтовой лестницы.

Ян Гамсун откинул сморщенную светящуюся руку и начал подъем. Ступени скрипели под его ногами и проминались. Кости священников и солдат лопались, и

оставался лишь их сросшиеся друг с другом черные мышцы да глаза. Трескались и кричали мертвые со всех сторон. Со ступеней вниз потекла из шлейфа кровь, и быстро начала заполнять собой бездну. Ян обернулся и увидел, что черно-красная жижа поднимает вверх останки и остатки перезревших трупов; и тогда он ускорил шаг. И чем быстрее он двигался, тем больше ломал костей и рвал сухожилий – тем быстрее поднималась кровь, а там, наверху, полыхал серп луны, воткнувшийся в горло умершей шлюхи.

Этот серп ярко освещал сквозь разбитую крышу верхний ярус умершего маяка. Бледный Принц сидел на разбитой лампе, и полог его мантии воссоздавал тридцать лет назад разрушенные ступени. Как только Ян Гамсун взошел к луне, Принц сбросил этот плащ, и тот накрыл собой выгребную яму, наполненную кровью. И теперь пути назад не было.

Бьется множество мертвых изнутри бездны, пытаюсь разорвать шлейф.

Капает из Белинды последняя кровь.

На вершине маяка Ян смотрит в мутные глаза Принца города.

Явь идет трещинами.

### Пробуждение.

Никогда Ян Гамсун не видел маяк вблизи. Это кажется похожим на страшное разочарование – раскуроченный корпус, обвалившиеся ступени и погасшая лампа. Будто впустить в себя человека и испытать глубокую боль от этого.

Ян нашел лишь разбитые стекла иллюзий на вершине маяка.

Ржавая корона лезвиями вниз входила в череп Принца и теперь казалась лишь венцом на его пустой лысине. И только на старом пальце его все еще находились признаки жизни. Ян увидел старое обручальное кольцо.

- Она просила, – призрак поймал этот взгляд и тоже поглядел на кольцо, – чтобы я показал ей перед свадьбой, будто являюсь мужчиной, и в знак этого посетил Ваезжердек. Но она не дождалась.

- Она ждет?

- Призрачно и костно.

- Но разве ты существуешь?

- А разве существуешь ты?

- Не думаю.

- А я думаю, что, вполне возможно.

- Что ты? – тихо спросил Ян Гамсун.

- А что ты хочешь увидеть?

- Не знаю. Ты исполняешь желание города?

- Нет. Они слишком много чего хотят. Но ничего не хотят на самом деле. Они те, кто посылают своих возлюбленных в могилу, чтобы проверить свои чувства. Я не могу исполнить их желания, лишь забрать их жизни. А чего хочешь ты, Ян Гамсун?

- Я не знаю.

- Но ты должен решить.

- Тогда...

Призрак внимательно изучал лицо человека. А Ян с ужасом заметил, что у призрака изуродован череп, будто ему ударили по зубам твердым предметом, и на черепе осталась вмятина. Или это было врожденное уродство, такое же, как у самого Яна, как у бронзового ключа с большой головой. И это было вероятнее всего.

- Я хочу... – начал он.

- Славы?

- Нет. Я хочу...

- Власти?
- Нет. Я хочу...
- Чего же?
- Чтобы маяк снова работал. Когда я открыл глаза, я видел, как он светит и кружится.

- Чтобы маяк работал?

- Чтобы этот старый проклятый маяк вновь начал работать, да! – выкрикнул Ян, и рванул вперед, чтобы заставить дух Ваезжердека выполнить свое обещание. И призрак тоже метнулся ему навстречу, будто это вовсе был и не призрак, а отражение, и Ян Гамсун ощутил нечто подобное, как если бы он ударился лбом о зеркало. В глазах потемнело и острый осколок воткнулся в ладонь.

Все померкло.

Коснувшись руки, он ощутил, что большая кость ушла ему глубоко под кожу, и сейчас из руки течет кровь. Осознав это, Ян понял, что вовсе не спит, но находится в полной темноте. Такую темноту трудно осознать или представить. Лишь слегка впереди мерещился ореол стены, и тот поблескивал в этой темноте.

Старый Акибот так и не смог смириться с тем, что его Алиса беременна.

И поэтому Ян ощутил под собой ее мертвое тело и мертвое тело ее возлюбленного, которых старик замуровал внутри своей комнаты. С тех пор ему слышались их стоны и просьбу о помощи. А затем он будто бы забыл (и взаправду забыл), что натворил. Как когда-то таким же образом забыл про убийство жены. От нее осталась лишь одежда и маленький сын. Она хотела уехать. Акибот же не мог этого позволить.

Все повторилось.

И сейчас второй раз за жизнь Ян Гамсун оказался в этой темноте. Он понял, что его мать на поздних сроках хотела покинуть Ваезжердек, но у нее ничего не получилось. Родившись здесь, он хватался за ее мертвое тело. А потом Акибот вынул его... ощущая под ногами уже ссохшиеся тела, Ян не знал кому они принадлежат, не мог разобрать в этой темноте, кто является его матерью, кто является Алисой, а кто тем мужчиной, которого кукольник так же приговорил к смерти.

Нужно играть по правилам.

Где-то за тонкой кирпичной стеной старик Акибот пытался разгадать загадку бумажного ключа.

Ломал голову над таинственной дверью, источающей шепоту и крики.

Пусть дверь уже давно молчит, старик спятил и продолжает слышать вопли Алисы.

В полной темноте, дочь старика потеряла ребенка.

Ослепла.

Кусала себе фаланги.

Умирала.

И теперь Ян Гамсун ощущал сухие кости этих мертвых под своими ногами. И слышал, как тяжело выдыхает Акибот за стеной сигаретный дым. Даже слышал запах этого табака; слышал запах дома, в котором прожил всю жизнь.

Нужно играть по правилам.

...Ян уже не мог вспомнить, как и при каких обстоятельствах «нужно играть по правилам». Он лишь хотел увидеть, исполнил ли Принц его желание, горит ли вновь маяк, как горел тридцать лет назад. И поэтому он рванул вперед, ударил плечом кирпичную перегородку; раз-другой, и услышал, как кирпичи двигаются в своих ложах, как встревожился и что-то зашептал старик Акибот по другую сторону; ударил вновь, впустил вновь свет, и еще, уже разбирая, что кукольник шепчет

молитву; ударил, ослеп от яркого света маяка, круг за кругом проникающего внутрь мансарды.

- Ян? – смущенно спросил старый сутенер. Перед глазами всплыла русалка с членом якорем. И женские платья, которые Акибот заставлял Гамсуна надевать на себя, потому как подобная экзотика высоко ценилась в Ваезжердеке. И от этой тошноты, Ян воткнул в горло своему отцу окровавленную кость Принца. Услышал, как шумит в распоротом горле кровь. Старик вцепился в стеллаж, перевернул его, и многочисленные куклы с лицом Алисы с грохотом упали на пол. На лестнице слышались шаги.

Ян встретил там голого моряка и двух осиротевших дочерей Белинды. У одной из них по тонким ногам струилась кровь. И по паху моряка струилась эта детская кровь. Ян оттолкнул их, кубарем скатился по лестнице, ощущая, как его тошнит, и, вырвавшись на улицы, вытошнил из себя Ваезжердек. Весь этот город вышел из него кроваво и болезненно, разрывая и садня горло.

### Рассвет.

Кажется моряк вернулся к своим утехам. Сегодня ночью он оплатил услугу двух дочерей Белинды. И Ян считал, что данной оплаты вполне хватит на лодку, которую он одолжил у этого эротомана.

Яркий свет маяка выхватывал костяной берег Ваезжердека, но Ян уже был далеко. Обернувшись, он видел, как покрытый туманом, город исчезает вдали. А где-то впереди разбивал плавником море белый дельфин. И когда Ян Гамсун подплыл к нему ближе, то увидел, как дрейфует среди волн обрывок кожи, срезанный Селиной со своей груди. Она всегда верила, что ее кожа – карта; а большая пунцовая родинка – заповедная страна Вялого Багета.

Ян Гамсун даже представить себе не мог, что это за страна. Но ему показалось, что ее берега – в разы лучше холодных берегов Ваезжердека. Подняв глаза вверх, он силился разглядеть на вершине маяка Принца, то не видел ничего, кроме вращающегося по кругу яркого луча небесно-лазоревого цвета.

### 3. Вама Марга

Иногда ему снилось, что Якоб плывет в белоснежной пустоте. Иногда он забывал, кто такой Якоб. Под остановившимися часами время текло незаметно; Якоб плывет в клубах белоснежной мглы, Якоб зарыт в чужую могилу, в дремлющем океане снов. В доме с множеством зеркал, зеркала всегда были порталами в сумрачные и потусторонние пространства, Якоб всегда любил зеркала, тихие потусторонние пространства, Якоб плыл в пустоте...

...Джекобу тоже казалось, что он плывет в пустоте под тихими часами. Наконец, Якоб исчез, как исчезают воспоминания о прочитанных книгах, чувства иерофании и единения, в тумане зеркал тень умершего сына такая же забытая, как несказанные слова. Джекоб прячется от них в кабаках, в водоворотах суеты, городах, городах и новых городах, провинциях, перебирает и не может найти. Слизистый след шабаша и черной мессы, двуглавого козла, культа человеческой жертвы преследовал его, на старых полянах он находил фосфоресцирующие круги ведьм, в книгах Юнга откровения и минутную остановку. Время имело свойство растягиваться или сужать свои круги. Настоящее, прошлое и будущее существовало в единой точке. Джекоб был телеграммой, которую никто не прочтет, каким-то важным посланием для мира, затерявшимся в толчеи.

С полудня и дальше он слушал странные истории в местном игорном клубе.

К полудню я ощутил жуткую слабость и вернулся в комнату. Мне нравилось ее одиночество и наполненность пустотой. Из окна можно было видеть горнолыжный склон и знакомые пестрые куртки. Я тяготился своей странной влюбленностью, находил ее гипертрофированной и экзальтированной, я читал Вальтера Скотта и мечтал о будущем, в пространстве простыней растягивал руки и часто представлял объятья, безымянные пальцы, изучающие мою кожу. Я не находил причин быть отличным от сверстников, но не находился среди них, и даже не был изгоем, я был клоками тумана с потаенными фантазиями о ненаписанных книгах, о подгорном короле, о комнатах, которые освещены лишь мистическими камнями, кругах фей, заоблачных танцах, я был мальчиком, которого нет; мальчиком, которым нельзя быть; мальчик, который будет разбит. Выглядывая в окно, я вижу черные тучи которые, как псы, и все это стоило бы назвать причиной страшных следствий, я продолжал читать ответы врача Гумберту, не связывая Этого Гумберта и адресата писем, подобное было мне чуждо, я погружался в еще одну странную реальность, наполненную кровавым сумбуром, и находил этот сумбур приятным моим нервам. Таинственный Вальтер Скот, горы любви моего будущего, заснеженные горные склоны, покрытые эдельвейсами, сорванные цветы моего ближайшего будущего.

Я прогуливался по городу, изучал местные лавки, вслушивался в печаль тихого ветра.

В 17:29 Джекоб Блём зашел в местный костел помолиться распятому Богу.

В 17:34 я зашел в местный костел согреть руки.

Моя память не дает четкой картины произошедшего, Джекоб продолжает существовать для меня, как прямая, идущая от самой точки знакомства через всю мою жизнь; Джекоб – категория надежды, толстая вена, исполненная кровью; Джекоб – мой безначальный символ рыцаря и кладбище павших безумцев. Он есть для меня сейчас, как был тогда, будто мой единственный друг. Иногда, когда густая листва засыпает Москву, он становится моим единственным собеседником. Джекоб – тот, с кем я придумал огромное количество воображаемых сценок; он сформулировал мое представление о мужской красоте и мужской душе; он стал иллюстрацией к «Дон Кихоту» Сервантеса и навсегда привязал эту книгу к линии моей судьбы

- Каждую секунду умирает медведь, а всем все равно. Или: каждая секунда – это умерший медведь? – сказал он. Мистер Блём плутал в темноте разбитого зеркала: когда я пью кофе, это я его пью, или он пьет меня?

Когда я ответил ему, и так, и так, он начал улыбаться, что хоть кто-то здесь знает немецкий.

Джекоб давно понял, что не у всех людей есть душа. В ком-то она зарождается, а в ком-то нет. Обычное холодный нож пророчеств рассказывает лишь о тех, в ком душа есть, но иногда ему виделись чудовища, бороздящие пустые полости мертворожденных; некоторые женщины рожают одухотворенные выкидыши, некоторые мертвые женщины рожают живых детей, причина не всегда ведет к следствию. Он ощутил, как болит колено, что стоять на коленях перед распятием – вызывает в нем боль. Подниматься было стыдно. Он продолжал стоять, поднимая вверх голову. Сквозь лицо Христа плыла огромная рыба-печаль, рыба-зло осквернила его красивые ноги, рыба-рана выпустила потомство вдоль его ребер. Иногда Джекоб доходил до слез, наблюдая натуралистичные образы Спасителя. Он ненавидел Хольбайна всей слабой злобой своего мягкого сердечника. Некоторые ритмы непозволительны для Вселенной, Хольбайн был очень слаб, если позволил себе нарушить эту заповедь. Рыба-хруст плыла внутри его колена, иногда боль становилась жестокой, иногда почти спала, она и действительно была как рыба, склонная к миграции, нересту и смерти. Джекоб чувствовал, как боль плодится внутри его тела, ее становилось все больше и больше.

Я помню его заснеженные плечи, его тело было спланировано под огромную душу, мне редко доводилось видеть столь обширных людей. Моих рук бы не хватило обнять его грудную клетку. Он был типичным бюргером в клетчатой рубашке. Вероятно, ему не приходилось выбирать себе одежду, Джекоб одевался в то, что подходило его размеру. Еще, я помню, он обладал широкими живыми усами и бакенбардами, похожими на разодранную тушу зайца или кошки, кровавый румянец наливал их карминно-черным цветом. Я помню его непослушные волосы. И его слова – каждую секунду умирает медведь.

Когда Джекоб поднялся с колен, он испытал стыд перед изможденным ликом Христа. Мучение колена было смехотворным перед его фигурой.

Я помню его заснеженную шапку.

Джекоб улыбался мне, и его зубы были больны.

В 17:39 душу мистера Блёма разорвал заряд, если, конечно, дружбу можно сравнить с молнией, поражающей без всяких на то причин. Ему показалось, что это Якоб. Потом он забыл, кто такой Якоб. В 17:40 Джекоб пожал руку своему новому другу, одному из тех, кому от рождения повезло иметь душу, и в 17:40:34 предложил угостить его кофе, шнапсом или чем-то другим, в 17:41:02 после паузы сказал, что можно просто прогуляться и не нужно размышлять и убивать медведей.

В 17:42 наши грудные клетки вновь вдыхали ветер.

Пока мы шли, я узнал одну историю; одну из тех, которые приходится мне по нраву, приходились по нраву уже тогда: ее звали Саломея в «Красной Мельнице», и все мужчины теряли слюну, видя выбеленные до смерти ноги. Бледные, неестественные. Макабртанц, который начался задолго до этого дня, когда высокопоставленному эротоману рассекло голову молнией, находит свое продолжение и теперь, как сказал Джекоб Блём. Там, где Саломея танцует, начинается смерть. В Чикаго мужчины с толстыми щеками и такими же кошельками впускали пулю в складки своего подбородка; плакали до гибели на Волге; падали телами в Рейн, а Саломея ускользала тенью. Трудно понять, как она относилась к их смертям, но девчонки из «Красной Мельницы» всегда говорили, что шея танцовщицы содрогается, будто она глотает, когда гибнет мужчина, содрогается,

будто проглатывает; челюсти начинают двигаться, зубы перемалывают, Саломея дергается в танце все более и более жарко и хохочет, когда кто-то в зале кончает с собой. Они всегда умирали, так было с самого начала, и поэтому она назвалась Саломеей. Женщина, у которой вдоль позвоночника нарисована цепь. Ускользнуло, что мужская рука, выцарапавшая эту цепь, принадлежала тому, кто умер первым. «...подумать только, Гумберт, как много отцов, как много братьев и сыновей, видят в строении их скелета совсем не дочерей, сестер и матерей, а видят любовниц? ... сколько было сломлено, сколько захоронено под дикой геранью таких же, как твоя Ло, а сколько похоронило в гневе таких, как ты, Гумберт, и сколько до сих пор не хоронили и не похоронены, но хранят в себе темноты и тикают в темноте, как часовая бомба?» Ее выкупил мистер Бомонд, именно он демонстрировал Саломею в «Расколоте Льве», именно он хранил женское тело в бархатном футляре, расчехляя его для сцены. Как он боялся, что она лишится девичества... трудно представить, почему этот сморщенный демон привез свою любовницу в Лондон, чтобы она танцевала для таких же прокуренных убийц, как он сам. «Саломея танцует только для меня», – говорил он, а затем при всех гостях высоко задирает ее юбку, раздвигал ноги, чтобы показать, что ни для кого и никогда Саломея не танцевала вульгарно: ее красное девство пульсировало.

Мистер Бомонд собирал ценности; он поедал старинные часы, старинные предания и монеты. Там, в его глубине жил меч Калибурн и фрески мальтийских капелл. Обожающий макабртанц во всех проявлениях, Он, в темноте и тишине вдали от мира смертных называемый Голодом, заставлял Саломею танцевать сквозь бэдтрипы и жуткий туберкулез; лондонский туман заразил Саломею унынием; она кричала в футляре, она танцевала для мертвых на вечеринках мистера Бомонда; в моргах и на гадальных столах в салоне на Альтертод-штрассе, но никому и никогда не танцевала глубоко и взаимно, даже своему хозяину.

Ее ненависть к мужчинам была столь губительна, что тихие графства Англии сотряслись от густого падежа мужчин. Августовская жара и августовские мухи облепили собой тела ее жертв; мальчишки, усердно теребящие кулаком над «мисс-Плейбой 1975» выблевывали жизнь. А Саломея продолжала танцевать только для мистера Бомонд, куда...

«...каждая Ло завершается; Ло не может быть вечно той, какой ты творишь ее, какой ты заставляешь рассудок наблюдать ее сквозь нее-истинную; она завершается, таит, и ты не можешь удержать ее; весь твой опыт не значит ничего, когда женщина, даже подсознательно, мечтает уйти. Уже в этот момент, когда ее нервы напряжены этой бессознательностью, ты уже не властен над ней, тебя уже не существует, и твоей Ло не существует тоже; в этот же миг она становится Долорес, и эта Долорес неведома тебе, не принадлежит тебе и больше никогда не будет принадлежать. Страшно не уловить этого в воздухе раньше, чем все станет реальным....

...здесь и сейчас советую тебе сказать «хватит», и прекратить это безумие, чтобы безумие не распространялось дальше. Скажи себе «нет», или обреки свою болезнь существовать вечно, научи внутренние травмы передаваться воздушно-капельным путем и подари миру ужас, который ничем не уничтожить, подари ему и каждому живущему в нем страх... перед самим собой, перед собственными потаенными мыслями; научи отцов желать своих дочерей, научи отцов не бояться желать своих дочерей, научи отцов овладевать собственными дочерьми, если считаешь это своей дорогой. Великое зло пробуждено в минуту, когда я пишу это тебе, мой возлюбленный пациент, и ты уже не в силах спрятать его обратно. В минуту, когда я рассказал тебе о такой дороге, ты выберешь именно ее, а если бы я не сказал? Никто не знает, но теперь ты двинешься именно так, и выбора больше

нет, а значит, виновным окажусь я. Ты двинешься, потому что подумаешь, будто виновен я, будто не ты виновен и будто не ты первый, комплекс Гумберта начнет отныне плодиться, как гнилой плод порождает в себе зло; семена ярости посеяны в Лолиту, и теперь они взойдут урожаем кошмара по всей земле. Бойся за тех благочестивых отцов, кто вплетал до этой минуты ленты в косы своих дочерей, теперь их блудливый взгляд цепляется за крохотные родинки на их шеях. По ночам родинки начинают звать. Зов будет услышан. Все предрешено, Гумберт, с минуты, как ты рассказал мне о себе, с тех пор как о тебе узнало человечество... он спрашивает «можно Гумберту, но почему нельзя мне?» и отвечаешь «можно каждому!», даже если не хочешь отвечать подобное»

Саломея ушла, – закончил свою историю Джекоб. «Ушла, скрылась здесь, в глубине тихого кладбища. Так мне сказали. В кабаках всегда рассказывают истину!»

Они никогда не уходят. Гумберт слышит скрип несмазанных колес ее велосипеда. Иногда она катается по дому и пытается что-то сказать. Иногда Гумберт видит их в темноте. Там, на улице, за оградой из суеверий. Маленькую Ло и своего отца. Малиновое от ожогов тело в одежде крохотной девочки, голенькая Долорес, волосы уже выпали, рана на черепе страшна и вульгарна, позвоночник вышел наружу, как нежный младенческий хрящ, в ореоле вен и детского непонимания. Эта пара ходит вокруг дома. Голенькая Ло и обугленный до черноты отец. Сожженная рука трясет погремушку, и Гумберт просыпается от гула литавр, от рыбы-гремушки детских воспоминаний: отец, как старая змея, в сером кресле, кожа и кресло сливаются в одно, он призывает к себе звоном погремушки. Сожженный мужчина и голая Ло плывут сквозь сумрак и сквозь туман, недостижимые и чудовищные. Иногда они стучатся в двери. Поэтому Гумберт сдает свой дом чужакам. Ангельские крылья медленно плавают в темном подвале. Самосожжение в приступе религиозного экстаза на глазах девятилетнего мальчика. Кожа отслаивается от тела, как кипа бумаг, все сгорает в отцовском хохоте. Такого не бывает. Такое бывает с каждым, в тихом городе, укушенном религиозной змеей. «Мы должны это сделать», – говорил отец и подзывал к себе Гумберта рыбой-трещоткой, странно-сизая печаль укутывает эти воспоминания. Что-то страшное течет над городом. Глупцы думают, что это небо. Черное что-то обволакивает собой небосвод. От темноты невозможно дышать...

#### 4. Карминовые гимны

Сердце эсквайра было фригидно, и потому поведение его целомудренно. Труды не оставили за собой ничего, труды не преследовали любовь и не гнались за богом, но хорошо коротали дни. С тех пор, как она растолстела, и он все чаще проводит дни в своем кресле, солнце, кажется, ярче и живее окрашивает деревянную веранду, и пес Джотто, кажется, более рад жизни и выглядит встревоженным деревенскими звуками. Солнце не нравится псу по имени Джотто, гораздо приятнее ему звуки ночных насекомых, насекомые вьются вокруг ламп, а еще они умеют проникать в стекло, что никогда не удавалось Джотто, тысячелапые краснотелки бегали быстрее, чем Джотто, и этим нравились ему; он гнался за каждой, носом откидывал камни, где они, так же, как, собственно, Джотто прятали полотно своей жизни от солнца, он гнался за ними, когда откидывал камень и находил под ним тысячелапую краснотелку... где-то там, в гуще неизвестной ему жизни, то есть – в лесу, должен был находиться их многожизный храм, ведь все они устремлялись в лес, куда нельзя было устремляться Джотто. Этим насекомых боялась хозяйка, а эсквайр просто не любил, и эсквайр не любил толстеющую хозяйку Джотто, но относился к ней лучше, чем раньше... раньше – это время до-Джотто, когда Она была моложе и как бы существовала, чтобы привлекать эсквайра. С тех пор, как она постарела, у него появились официальные возможности обращать на нее менее пристальное внимание. Джотто не любит солнце, но ночь, когда солнца нет, иногда наполняется звуками красных песен, когда хозяйка – нарушая официальные возможности эсквайра – в комнате слипаются в одно, образуя тысячелапое краснотело. Джотто не нравится, когда ночь сужается до размера протяжного стога, становится жидкой и теряет понятность, в глубине многоножьего храма красные тела существуют в беспорядке и ползают друг по другу, провоцируя раздражение деревенских псов.

Молодость, потраченная на размышления о старости и преодолевающая возгласы приятелей эсквайра «старости не существует», наконец, закончилась и закончила возгласы, наступила пора притупления физиологических потребностей. Теперь, сидя в фетровой шляпе и фланелевых брюках, он мог наслаждаться исключительно своими желаниями, которые раньше были оттенены именно потребностями, и заглушены нелюбимой женой. Теперь он мог любить свою фетровую шляпу и теплые от солнца фланелевые брюки, и не думать о будущем. Будущего уже не существовало, оно должно было предстать перед ним единственным миготом темноты, оно должно быть встречено театральным возгласом «для смертного лучше – вовсе на свет не рождаться», оно должно быть встречено с гордостью, и в этот миг он будет рад, что не дал никому жизни, но свою – неудачливую и одинокую жизнь – влил очереди в Рафаэля, Джоконду и Джотто; ему бы хотелось, чтобы все завершилось на Джотто, но Джотто уже семь лет и, возможно, темной точке будущего придется прийти на глазах какого-либо Босха или Караваджо. В будущем уже не было хитрости, игр на бирже и слез; а если в будущем и были слезы, то эсквайр может позволить себе их не прятать. Это почти прилично – плакать от страха старости. Он не поворачивается в прошлое, он всегда повернут в него, сфокусирован в одну точку. Бесконечная прямая человеческой истории пройдет сквозь две эти точки – средоточия его взгляда и темноты – чтобы продолжиться в бесконечность, ввинтиться в Джотто-Рафаэля-Джоконду и прочих, навсегда лишит эсквайра его имени и подарит его имя какому-либо новорожденному. Он забудет названия географических координат, заберет с собой списки прочитанных книг и свое увлечение ономастикой; он вновь будет погружен в пенную мглу, ровно такую же, какая предшествовала его рождению.

Он, как и Джотто, родился весной. Родился, чтобы иметь счастливую и сытую жизнь, крикнул криком первенца, и в четырнадцать похоронил свою мать, чтобы заплакать плачем единственного сына. В шестнадцать он понял, что до шестнадцати – жил в полнейшем самообмане, и поэтому поклялся никогда больше не верить в Иисуса, и никогда больше не пересекать белый штaketник церкви (и ему открылось в семнадцать, что даже отталкивающей его вид церкви все еще не умаляет красоту танцующих на ее территории и в ее тени воробьев, воробьев посреди сочной летней зелени). В двадцать он понял, что до двадцати – жил в полнейшем самообмане, и примкнул к либералам. Либералы казались ему такими же красивыми, как воробьи на церковном участке, красивые руки одного либерала, лежащие на зеленой и сочной поверхности бильярдного стола. В двадцать два он впервые задумался, почему ему так помнятся эти руки, и поэтому начал подыскивать себе жену, и через месяц после того, как ему исполнилось двадцать три, он женился; женился и отрастил усы. Он мог позволить себе выбрать самую лучшую женщину из всех, так как не руководствовался чувствами, но так как он не руководствовался чувствами, то женился на такой же, как и все остальные, но иногда ему говорили, что она у него – самая лучшая. Теперь ему легче было вновь поверить в Иисуса, и объяснить своей хорошей жене, что аскеза – красивый белый штaketник вокруг его тайн – есть великое таинство, подаренное нам евхаристией, и красные песни не гоже петь тем, кто желает их петь. Свадебный месяц в Греции, варвар вновь своими ногами запачкал камни акрополя. Достаточно грубый, он грубость свою делал достоинством; держался гордо, размышлял о смерти, о цианистом калии, о великом искусстве – то есть снова о смерти – о смерти, о темноте, иногда он плакал, и тогда утром был еще более грубым, и свои слезы делал источником достоинства, а достоинство – верной дорогой в северную темноту. Он был сыном того, кто когда-то разрушил Рим. Память его крови рассказывала об одном археологе шестнадцатого века, который полюбил юношу, память его крови обучила эсквайра избегать ошибок, научила торжественной практике этикета, помогла ему нащупать верную дорогу настоящего мужчины – научиться отличать вилку для мяса от вилки для устриц – и эта дорога, конечно, вела его к смерти, но самым красивым путем, сквозь званые ужины, дорогие костюмы, любовь к морепродуктам и солнечным дням на веранде, к фланелевым брюкам и красивой шляпе, любовь к которой могла сравниться только с любовью к античному искусству, только – с Любовью, которую он однажды почувствовал, но предпочел не делать его целью каждого своего движения.

Зеленый – цвет его жизни, ведь всем известно, что зеленый успокаивает глаз. Красный – вынужденной и сдержанной страсти с женой. Красные песни сопровождают физиологию. Но карминовые – пусть и производны, исходит из других труб, раздувают иные меха и надувают паруса совсем других кораблей. Отец показал ему карминовые гимны, гармоничные, как движение ДНК внутри органических руин его жизни; гармоничные и столь же очищенные от лишнего, как ДНК в отрыве от руин его физиологии. Отец часто слушал карминовые гимны после смерти жены. Карминовые гимны помогают мужчинам избежать ложной страсти. Каждое воскресенье белый штaketник церкви, каждое лето – этот загородный дом и карминовые гимны. Мужчинам, которые потеряли своих жен, нужны карминовые гимны. Вдовцам, которые блюдают верность, они просто необходимы. Те, кто уничтожают свою душу искусством – целевая аудитория песнопений. Те, кто познал любовь, должен потушить свою жизнь.

Джотто лишь подозревает о карминовых гимнах, ведь что-то таинственное манит его в лес. Мышцы четырех его лап напряжены, готовые рвануть в сторону многоножьего храма, но каждый раз что-то останавливает их, как обычно и бывает,

стоит хоть на секунду задуматься о траектории. Он чувствует всей силой своей интуиции, что этот лес не такой, как другие леса, хотя бы потому, что Джотто никогда не видел других лесов, в этом лесу поют карминовые гимны. Настолько сложные, что сердце пса может остановиться. Карминовые гимны могут остановиться любовь Джотто к своему хозяину. Карминовые гимны могут разрушить все. Там, в лесу, есть странное место, которое поет. Так поет память нашей крови, но память крови Джотто предупреждает его об опасности. Там, в лесу, что-то поет свою вечную песню. Там, в лесу. Джотто не любит этот лес, но хочет в него, стремление к ясности наполняет мускулы светом; там, в лесу, есть что-то, что может подарить Джотто мученическую и героическую смерть, карминовые гимны звучат, чтобы воодушевлять художников, но Джотто не знает, готов ли он принять мученичество, он не знает прелести героической смерти; Джотто вообще не знает о смерти, но предчувствует ее так же сильно, как странное место в этом лесу. А этот лес – он стал источником древесины, из которой сделан дом, все остальные дома этого мира, и древесина, впитавшая в себя карминовые гимны, вынуждает хозяев оголяться и срачиваться в красное страшное месиво. Там, в городской квартире, где жизнь Джотто подчинена квадратам, прямоугольникам, где все – равно удалено от Джотто – и улицы симметричны друг другу, хозяева редко становятся страшными... власть красного гимна ослабевает, но каждое лето вновь наполняет собой хозяйку.

Впервые он услышал их в свое первое лето. Они звучали из тысячапалого тела, прорывались сквозь хитин, аккомпанировали мандибулами. Эти гимны прятались от солнца под камнями, и впервые Джотто перевернул камень и увидел тысячапалую краснотелку из-за желания освободить алую песню из-под гнета тяжелого камня. Тогда он считал, что песни хорошие, но сейчас Джотто считает иначе. Оглядываясь в семь лет на семь лет своей жизни, Джотто понимает, что все эти семь лет не понимал ничего. Но каждый год был соединен с другими этими отрезками времени под названием лето, этим загородным домом, а отрезок времени под названием лето был наполнен карминовыми гимнами, и получалось, что вся жизнь Джотто какими-то таинственным способом была переплетена с этими странными песнопениями.

Хороша и размерена жизнь эсквайра, хороша и размерена жизнь его жены. Они позволяют друг другу молчание, позволяют ничего не делать, и коротать вечность в медлительных увлечениях. Он рассказывает ей про крикет, а она толстеет. В городе им любо наблюдать за прохожими, за одеждой, за пестрыми шляпками дам во время скачек, история кинематографа движется перед ними и куда-то спешит, трудовая биржа клокочет, и утренние газеты о чем-то рассказывают, и многочисленные приятели рассказывают что-то такое незначительное, как утренние газеты. Жизнь их лежит за пределом скандалов, никогда не случалось с ними ничего такого, чему стыдно случаться. Бездетность наградила их второй молодостью, скукой и оставила квартиру свободной от криков и лишних денежных трат. Иногда ему требуется слушать карминовые гимны, чтобы все улеглось, ведь эсквайр не любит сердечных движений. Скоро наступит вновь это время, и он отправится в лес, куда впервые отправился со своим отцом, и вместе они слушали карминовые гимны. По дороге отец впервые рассказал о сексе. О целомудренности и бережности мужа, о стыдливости жены, о том, как нужно двигаться равномерно, отодвигая сухую листву, как не наступить в лужу, как промочить ног, как до конца своих дней выстроить существо таким образом, чтобы к концу жизни оно представляло собой безграничную приличность. Они шли по дорогам, которых нет, и отец говорил, а эсквайр смущался; они отодвигали сухую листву, ветки, и шли, куда не нужно ходить эсквайру и его отцу, но все же – жизнь принуждает выплачивать жертвы и налоги. Нет меньшего зла, чем порядочному

мужчине идти по несуществующей дороге слушать карминовые гимны; другое фантазии, хотя и хотелось бы, чтобы физиология перестала поллюциями пачкать ночное белье. Там, на волшебной дороге, мальчик многое понял о жизни. И вскоре он вновь отправится по этой волшебной дороге, и будет испытывать радость от того, что не имеет сына, а значит – нет нужды рассказать никому о сексе. Цель его жизни – остаться чистым – скоро реализует себя в смерти. Все будет хорошо; эсквайру удалось испытание, он отодвигает сухие ветки, и ведет Джотто по волшебной дороге. Он рассказывает своему псу, как прошел много лет назад этой дорогой, он рассказывает Джотто, что карминовые гимны исходят из красных цветов, что растут в центре земли, что волшебные растения гремят в руках белоснежно-мертвенных женщин, там, в середине леса, в руках умерших женщин, что вернулись обратно, чтобы танцевать с красными цветами, танцем и гимном гасить в мужчинах похоть. Джотто не понимает похоти, и не понимает противоречивую терапию возбуждающего танца и гасящих возбуждения цветов; для Джотто – это путешествие, которое оно ощущает последним в своей жизни. Джотто ничего не знает о смерти, и поэтому знает о смерти все. Ему не доводилось видеть мертвых женщин, и потому он не знает, могут ли мертвые женщины танцевать. А эсквайр видел их, спящих в своих гробах, слышал отповедь, эсквайр многое видел и о многом вел беседы; четыре года он разговаривал с Человеком, и вел такие беседы, в которых важнее был процесс и важнее было слышать голос, чем достигать какого-то результата; четыре года эсквайр жил какой-то сердечной жизнью, бесцельной жизнью, в разговорах, которые уничтожают время, но почему-то так важны для души; руки эсквайра делали множество случайных и хаотичных движений – случайно касались Человека, его рук и однажды щеки, гладили его по волосам – и эсквайр постоянно хохотал в его присутствии, постоянно смущался или злился без повода, постоянно в эти четыре года состояние эсквайра меняло положение, и его бросило в понимание оперы, литературы и живописи... но потом, когда усилием воли он закончил все это, его вновь вынесло на пересеченную местность жизни, где нет никакого дела до оперы, литературы и живописи. Джотто бежал немного впереди, потому что обстоятельства, наконец, позволили узнать ему, куда бегут многоножки; а может это эсквайр медлил, удалившись в воспоминание. Он пытался решить, есть ли в нем еще какая-то любовь, или существует уже только память; ему следовало бы довериться сердечному ритму, но он не мог понять, почему сердце бьется так сильно – от любви или от памяти. Отец привел его на поляну, где танцуют мертвые женщины с красными цветами в руках. Красные гимны текут сквозь их бледную кожу, и после отец сказал эсквайру, что эти женщины танцуют, чтобы танцем и гимном напомнить мужчине о супружеской верности, о посмертном воздаянии, о цветах, которые будут лежать на твоём гробу, и которые ты должен заслужить своей быстрой, но достойной жизнью. Мертвые женщины танцуют на поляне. Незачем знать, почему они умерли. Незачем знать, зачем и почему они танцуют. Незачем знать, почему мертвые способны танцевать. Из многоножек их ожерелья, их монисты, их браслеты на запястьях и ногах. Незачем знать. И вот эсквайр говорит Джотто то, что Джотто не может понять. Эсквайр говорит Джотто, что точно уверен, будто любил мужчину. Джотто не может понять, почему в голосе эсквайра что-то нарушилось, почему изменился привычный ритм его дыхания, ведь Джотто мужчина, и эсквайр любит Джотто. Незачем знать. Там просто танцуют мертвые женщины. В самом сердце волшебного леса. А эсквайр любил мужчину. Там, далеко позади, и от этой любви не должно уже ничего остаться... но иногда мертвые танцуют. Иногда они танцуют, и, даже зная, что мертвые лежат спокойным сном, ты все же видишь, как они танцуют. Вспоминаешь их руки, вспоминаешь неловкость своего тела в их присутствии, понимаешь, что помнишь эти четыре года детальнее и

глубже, чем всю свою жинзь. Неважно почему. Здесь и далее – Джотто и эсквайру не по пути. Пес не может понять происходящего, и эсквайр просит его возвращаться домой, к толстеющей хозяйке, ему следует быть рядом с ней, ведь сейчас ей нужна поддержка. Хозяйка не вспоминает правду о муже, но эта правда резко вырывается к поверхности, когда он уходит слушать карминовые гимны. В остальном – все хорошо. Радостная и солнечная жизнь продолжается. Жизнь существует и до, и после карминовых затмений. Всего несколько раз в нашей жизни, мертвые танцуют. И Джотто подчиняется, но точно знает, что упущен последний шанс, он никогда больше не сможет узнать о кроваво-красных песнопениях. Джотто знает об этом, но подчиняется силе сыновьей любви. Джотто думает, что это его последнее лето. Джотто остро чувствует, что это его последнее лето, и наступило время подводить итоги. Джотто не смотрит в заплаканное лицо хозяина, потому что хозяин хочет, чтобы Джотто поступал именно так. И поэтому Джотто оставляет эсквайра одного, и возвращается к хозяйке. Здесь и сейчас – самое важное мгновение в жизни этого пса. Он ощутил, что здесь и сейчас тайна мироздания может ему открыться, но уже через секунду это ощущение стало частью прошлого, и Джотто не раскрыл тайны мироздания. Поэтому он возвращается к хозяйке, ему незачем знать всего остального. Джотто никогда больше не будет искать тысячапалых краснотелок под камнями, для этого – время уже упущено.

А эсквайр остается наедине с банальным волшебством мертвого танца. Волшебство, конечно, существует лишь для тех, кому нужен противовес какому-то страшному воспоминанию: свет его глаз, темнота в его голосе, неоправданные слезы, произвольные движения. Поэтому на поляне танцуют мертвые женщины. Диадемы многоножек, красных хитин, как рубины. Мертвые пьют вожделие смертных. Неизвестно почему и неважно зачем. И эсквайр теряет всю физиологическую окраску своих фантазий, его прошлое остается абсолютно платоническим, и потому – более острым, все тело эсквайра наполнено чудовищной меланхолической утратой. Он знает, что цель его жизни реализована. Чувствует, что цель эта осталась далеко позади. Слышит обрывки бесед, ветер приносит запахи. Эсквайр и его память, мертвые с красными цветами, солнечный день.

...он возвращается на теплую от солнца веранду. Джотто смотрит на него подозрительно, но нежно. Наступает теплый вечер, вскоре будет закат, и самое время для ужина. Он решает поговорить со своей женой, ни о чем конкретном, но в такие минуты даже ложь дается ему легче, чем глубокое молчание. Эсквайр стоит у окна и смотрит сквозь него, жизнь преломлена солнечным лучом в оконном стекле, а она сидит на кровати. Ее ждет болезненная ночь со слезами, она слишком привыкла к его молчаливости, чтобы поддержать внезапную беседу. Ей больно от неизвестности, и кажется, что было бы легче в знании. Но эсквайр считает иначе. Он говорит ей, что в такие дни, как сегодня, закат очень красив, переливается охрово, переливается карминовыми бликами, становится почти черным, а затем – вовсе черным – и он говорит ей, что когда закат становится черным, – это называется ночь.

## 5. Песни утонувших в себе

За четыре дня до Рождества Джекоб нашел отрезанную голову голубя. Очередной знак на пути. Кто-то аккуратно перепилил шею и оставил знак на дороге. И он поделился со мной своей находкой.

Кто-то уже увидел нас с мистером Блёмом. Во время экскурсии в старый замок они шутили вполголоса, в открытом аквапарке – громко заламывали руки, и жаловались преподавателям, что не могут переодеться передо мной. Я знал, что скоро это закончится. Но меж тем, этот «конец» обрывал нас с Джекобом, я не верил в переписки и заочную дружбу. Меня раскалывало на части, к примеру, в его номере, когда мы рассматривали голову умершего голубя. Мне хотелось сказать что-то вслух, но мистер Блём был слишком вне этих слов и этой Вселенной. Его вечность была разбита на сегменты от кашля до кашля. Он мучился тяжелыми думами о том, что одно его приближение будит в людях потаенных демонов и дарит демонам форму. Скажем, там, где его нога, внутренняя злоба превращается в гной, там, где Джекоб, всегда происходит преступление, самобичевание и страх застыли на нем суровой печалью, мои озвученные мысли лишь подтвердили бы его ужас. Но там, в его номере, мне не было страшно, привычная тревога, растянутая сквозь «сейчас» и «вечно» отступала, отступал и образ моей экзальтированной возлюбленной, ее имя скрывалось в темноте. Я проводил с ним все отведенное мне свободное время, и иногда у меня больно сжимало сердце, когда он кашлял. Мои сны стали истеричны и поверхностны. Может, мне было трудно спать в комнате с теми, кто громко смеялся над какими-то призраками. Они жаловались Гумберту, что не хотят жить со мной. В моих снах были реки-страх и рыбы-расставание, мое минутное знакомство с дружбой скоро разомкнется с той же силой, как разомкнется с унижением. Я вернусь в мир тихих книг и улиц шумной столицы, в беспросветный город, в потроха рыбы-суеты.

Джекоб и его усы были восторженными фантазерами, находящими Вселенную в лужах, больно сопереживающими их одиночеству, в папье-маше и хрустальных мишках из магазина сувениров. Иногда, когда уже смеркалось, мы слишком близко подходили к слову «гомосексуальность», в испуганном небытии этих минут Джекоба переставал мучить кашель.

Мои сверстники мазали друг другу лица зубной пастой, говорили о сексе и мастурбировали в душевой кабине. Брахманенок праздновал какой-то индусский праздник и расщедрился на выпивку для всей компании. Меня тоже позвали, и я сидел среди них, где бутылку пускают по кругу, и боялся уйти. В тишине никто не говорил обо мне и никак на меня не смотрел, мой уход мог привлечь внимание. Каждая секунда – умерший медведь. Каждую секунду – Джекоба становилось меньше.

Иногда мне хотелось все ему рассказать. Или чтобы он был моим отцом. Иногда Джекобу хотелось, чтобы время остановилось в определенном час, ему было интересно, как люди отреагируют на то, что солнце застыло в одной позиции, он представлял себе массовые истерики и всеобщую панику. Или что бы случилось со средневековым Парижем, посыпья на мостовую вместо дождя подшивка «Плейбоя», что будет, если начать храпеть во время мессы, что же, если сделать что-то такое, когда выйдешь за собственные берега, будто погрузить жизнь в стазис, что тогда будет? Потом он возвращался к своим страшным мыслям о смерти, о том, что Смерть – это человек-ножницы, что он видел, как умирают люди и как идет дождь над их душами. Что в воздухе он слышит запах беды, но, как обычно, не может понять предсказание. Что рыба-ужас ухмыляется в небе, а люди думают, что это – распухшее солнце. Что его приближение пробуждает зло. Что рыба-ужас в этом городе по вине

Джекоба. Что он слышит голоса. А что будет, если Вселенная перестанет пропускать волны, и все мы погрязнем в темноте и бескрайней тишине? «Все они станут – как я!»

Дыхание Гумберта стало черным. В ожидании Рождества он застыл как вкопанный, среди собственной жизни. Ло умерла. Этот факт прочерчивал всю его жизнь, но только в Рождество он обретал мясо и пульсировал, как красновато-черный шрам среди души. Гумберту казалось, что злоба выходит из него с тошнотой, утренней отрыжкой и газами. Дом был наполнен лишним шумом, пьянками и распутными девками. Иногда он задавался вопросом, почему никто из туристов не умирает от подъемника, а Ло умерла? Или почему они не слышат, как скрипит велосипед в тихом теле умирающего от рака дома? Разглядывая собственные желтоватые сгустки, облепившие пальцы, Гумберт думал о тошноте, о божественности этого процесса, об очищающей тошноте, о тошноте, которая преследует всю его жизнь сквозь ритуальное самосожжение отца и смерть Долорес, от Рождества к Рождеству, о тошноте, имеющий собственный ритм, собственный голос, о ночи Страшной Тошноты, которая всегда наступает в Рождество.

Его образ, его повадки, его тип телосложения, похожий на телосложение Джекоба, навсегда запомнился и ярко горит в темноте. Так, сквозь это сходство, я легко понял дуалистичную природу Бога, ангела самосожжения и бесконечную пустоту; все мои привязанности и ужасы в одном корне этого строения черепа, этого дыхания и этой грудной клетки, способной проглотить мир. Мрак безраздельного сизого одиночества.

В темноте мистер Блём медитирует над отрубленной головой голубя. В глазнице ему мерещится лик Якоба, святость этого ореола и имени; он плачет в свои ладони, в метастазах своей влюбленности, в своем горестном отцовстве. Кладет отрубленную голову, как на алтарь, попирает ей ответы психиатра Гумберту Набокова. В тихом омуте живут рыбы, в грязной воде живут рыбы; как рыбы, скользкие люди скользят по проспектам и раковым опухолям своих романов, как главные герои своих морей, не верят, будто что-то ухватит их за илестые жабры, не верят в отмели и моряков; лиловые рыбы-потаскухи курируют проспекты, чудовищные сомы по имени Саломея, Ингеборг и Сизэлла живут в черном небе; Дева Голода плавает под Словакией, вспоминая мистера Бомонда.

Я подарил ему свитер из теплой ткани. Он подарил мне букет желтых роз и сказал «я никогда тебе ничего не скажу лучше», и потом мы договорились, что после Рождества, когда все разойдутся спать, я улизну, и мы сможем пройтись по ночной улице. Посмотреть, как спит подъемник. Я не знал, зачем мистер Блём подарил мне цветы, но когда я шел домой, общая неправильность этого жеста медленно развивалась внутри, каждый лепесток был жестом отречения и раскаяния, живущего внутри Джекоба, каждый шип был вынут из его полнокровного тела, а я знал, чем станет моя жизнь, покажись я при всех с цветами от «друга»; Гумберт видел, как я прячу розы в сугроб, спелые, как гной, уготованные печали. Вот таким я запомнил Джекоба: бесконечным путешественником сквозь поле из желтых роз, с заплаканными и уставшими от нескончаемости процессов глазами, в серой дубленке и запорошенной снегом шапке. Вот таким я запомнил Гумберта: в желтой слизи раннего заката.

...Джекоб показал, что снег не падает, а поднимается с земли и еще выше. Падение – всегда иллюзия. «Вот когда я таки упал с этого голубя, тогда и стало понятно, что падения не существует. Я всегда заблуждался, называя небо – верхом; нет – все совсем не так однозначно». Так что снег поднимался вверх над нашими головами; в почти истинно-черном небе белело бельмо луны. Было видно, как подъемник все еще наматывает на колесо цепь, как кто-то поднимается вверх, кто-

то катится вниз, наверное, я даже мог разобрать несколько знакомых силуэтов, но Джекоб выдыхал все более густые клубы дыма, и уже скоро все знакомое исчезло в его дыхании.

- Мне было странно, что голосов давно нет. Я даже не ощущал, как больно без них. Как больно в Нормальном состоянии, в таком, как все люди, когда некуда бежать, не от кого бежать, все размерено и растянуто. Это оказалось страшно. Я могу быть здесь, сколько захочу; здесь, на этой лавке, в этом городе или пить глинтвейн, курить в кабаках и просто гулять столько, сколько захочу. А раньше я всегда бежал и... это оказалось страшнее. Мне совершенно нечем себя занять. И поэтому вчера я сидел и долго смотрел в мертвый глаз голубя. Конечно, отрубленная голубиная голова не может появляться в наших жизнях случайно. И у нее тоже был скрытый смысл, это ведь очевидно, – он говорил медленно, прерывался на кашель и зажжение новых сигарет; он говорил так, какой стала его размеренная и мутная жизнь, не спеша и бесцельно, – мне было необходимо найти скрытую суть. Уже слипались глаза, а я все держал голову на ладони. Уже не мог отличить, это правда отрубленная голова или какой-то нарост на коже. Не мог отличить, где я, а где мертвый голубь...

...думал о странной скале. Она черная, как из черного стекла. Внизу, очень далеко, я не видел, билось об это стекло пустое море. Море ничего не значило, я был на этой скале, и море было бесконечно далеко от меня. Оно не значило ничего. А здесь множество обнаженных женщин высиживали отрубленные голубиные головы. Я понял, что отрубленная голова – это не голова, потерявшая тело, а отдельный организм. Люди такие слепые, они думают, что знают смерть, думают, что отрубленная голова – это смерть тела. Но вчера ночью я узнал, что голова голубя – это лишь половиной голубь, а половиной что-то иное, неизвестное нашему рассудку.

Женщины высиживали эти головы. Я видел маленькие отсеченные головки и большие. Видел, как они двигаются. Мой человеческий рассудок кричал, что это гниение, что это черви шевелят головы, но мой иной рассудок знал – нет никаких червей на стеклянной скале и быть не может. Ведь я заглянул в душу предметов, и узнал, что тысячи иных миров находятся от нас в одном сантиметре, какие, черт возьми, черви!? Нет. Крупные головы хотели выползти из гнезда. Выпустив из рассеченной шеи потроха, они отталкивались ими от других, маленьких, головок, и выпадали на стеклянный утес. Червей не было.

Множество голов с застывшими глазами, не мигая, смотрели на меня. Не мигая, без страха увидеть скрытую душу вещи или слова. Они не боялись ничего, и поэтому не моргали.

А потом я летел на одной из таких голов. Она была огромна, я вцепился в перья и она, распустив из шеи красные нити, едва пахнувшие кровью и чем-то еще, парила в воздухе. Я видел... видел огромное множество миров. Видел великое поле Эрейдуса, укрытое снегом; видел земли, в которых не было земли. У меня нет слова для того, что я видел, когда, стараясь не мигать, множество часов смотрел в отрубленную голову, спящую на моей ладони...

Вот, что сказал Джекоб. Мне было нечего ответить. Он продолжать что-то шептать. Сейчас он пытался нащупать свое прошлое и рассказать мне что-то о своем детстве, но сдался, ничего не вспомнив. Сильный кашель сотряс его плечи, и, вытерев ладонью кровь, он улыбнулся.

- Нет, из детства ничего не помню. Я слишком профессионально придумываю, чтобы помнить хоть что-то о себе. И слишком профессионально курю. А еще профессионально забываю все лишнее. Точно! Пока не забыл! Идем, хочу показать тебе вон то дерево, – он указал, и я проследил за его рукой. Дерево одиноко стояло вдали от жилой улицы и шумного подъемника, и чтобы добраться до него, придется идти сквозь сугробы. – Ты должен увидеть их.

- Их?

- Их, – кивнул он. – Зимних фей. Позавчера я видел их под этим деревом, ты ведь хочешь увидеть?

- Джекоб, сколько тебе лет?

- Около сорока, а что? Хочешь сказать, что мне поздно видеть зимних фей?

- Ну, нет. Наверное, нет.

- Если я не помню ничего из своей жизни, значит, у меня ее не было. Так что я младше тебя. Из четкого – только последний месяц. И это был достаточно хороший месяц. Хотя, может и остальные были не так плохи, я ведь не помню... или, – он загрузил на секунды, крутя на языке «нет, они были паршивы, и поэтому я не помню, я так хотел умереть каждый день, что просто забыл это время, они были паршивы, и я с ужасом встречал каждый новый рассвет», а потом сказал, – «не хочу помнить».

В животе Гумберта ворочается тревога и страх.

- Ты когда-нибудь хотел полететь на Сатурн? Или на его кольца? – спрашивает Джекоб.

- Нет, – отвечает сам себе Гумберт, – нет, отпусти меня.

Вопросы размыты и не имеют четких форм. Его душа похожа на ил туманного пляжа, где умерла много лет назад \*\*\*; его душа похожа на клубок легенд и червей, на саму Сизэллу, Деву Голода, что плывет в глубине. Человеческая душа на четыре простора вниз. Безраздельное царство Сизэллы. Ил задраил собой вопросы, смазал собой неточности, погреб под собой причины. Следствия – как обглоданные мачты. Чайки дрейфуют вдоль призрачной бухты.

Та трещотка, которую часто вспоминает Гумберт; рыба-трещотка, рыба-шар, в которую засыпали горох, кажется, была куплена его отцом у антиквара по имени \*\*\* и по фамилии Бомонд.

Разорванные мачты – это одежда маленькой Ло. Кустарник, похожий на скелет – лишь декорация для трагедии человеческого ила. Рождественская ночь – это омут, вывернутый наизнанку, небо опрокинуто вниз, летающие рыбы пикируют на людей, рассекая их жизни своими острыми крыльями. Сквозь лицо Христа плывет огромная рыба-зло, рыба-тревога осквернила его красивые ноги, рыба-серебро выпустила потомство вдоль его ребер, – в костеле святого Андрея, на кладбище, близ которого похоронена крохотная Долорес.

Каждое Рождество Джекоб думает, что пора писать письма. Или биографии. Появляется близнец крохотной Ло – крохотный Якоб, и мистер Блём желает написать о нем биографии, воспеть его самое, может быть, яростным потоком мыслей и смыслов, Джекоб ведь очень любил творчество Вирджинии Вулф. Но от нее всегда хотелось умереть, она выскабливала текст до блеска, лишала его самой себя, рождала сплошное зияние смерти, и если бы Джекоб решился выплеснуться Якобом, он бы непременно пошел вслед за ней, выскабливал бы смыслы до белизны... но в Джекобе было мало слов, казалось, он утратил способность ощущать мир, были лишь темные сгустки смыслов, какие-то нексусы, но идеи и четкость уплывали, в нем было слишком много миссис Вулф, чтобы позволить себе иной тип письма, злокачественная Вирджиния головного мозга, и поэтому он так и не решался написать о Якобе книгу. Шум и ярость (аллюзии не бывают случайными) воспоминаний нельзя сравнить с девятым валом и даже щелчком предохранителя, тихая и незамутненная жестокость памяти похожа на протоки или нелогичные пробоины сердца, память беспорядочна и спонтанна, в ее глубине прокладывают свои дороги чудовища-рыбы и скаты фантазий, радостные секунды разорваны, как бабочки, поперечно разделены видениями давно ушедшей боли, и боль снова шумит, как мотор, наполняет тело жизненной силой. Эта тревога, это чудовище

разомкнуло тихую ночь, и вот, штиле нахт уже мертв, и таинственная Дева Голода всплывает из омута подсознания; беспорядочная и спутанная, как миссис \*\*\* в лохмотьях из мужских жил, ловко выхваченная из общего невнятного потока мыслей – женщина, потерявшая Якоба в сутолоке Барселоны, женщина-бывшая-жена, женщина-чудовище, которая потеряла родного сына, мерещится Джекобу в темноте, как чудовище, носящее ожерелье из человеческих костей, монисты мошонок (кто-то засыпал внутрь кожаных мешочков горошины), бахрому крайней плоти, длинная женщина с по-мужски волосатыми запястьями медленно просачивается в комнату вместе с лунным лучом; лунный луч проходит сквозь ее горло, где зияет красная дыра, и лунный свет, проходя туннелем этой раны, красными бликами падает на лицо Джекоба; маленький мальчик Якоб плывет в тишине, куда его скинули убийцы, эта бывшая жена плывет в паутине тревог, ее образ – образ Девы Голода – это крохотная точка на горле, крохотная отметина от удара Джекоба, опухшая щека от удара Джекоба, пробоина щеки от желчных слез, дегтем идет запястье, она в юбке из желтых роз, а когда приглядишься – это оторванные и собранные в единый узор, чудовищную компиляцию, крылья желтокрылых бабочек упавших за парапет детей, маленький Якоб был найден на четвертый день; выгнившие глаза Девы Голода смотрят на Джекоба томно-влюбленно, как смотрят женщины; мужские руки Девы Голода увиты пуповинами и прямыми кишками, грязное содержимое стекает по ее запястьям, гнойнички обступили крупные вены на шее, в ее прическе – длинном начесе седых волос – семейство мышей поедает свои испражнения и потомство, плавают золотая рыбка, рыба-кошмар ползет по ее лбу детенышем стрекозы.

Кошмарный Мара в облаке пинокодина. Современный Будда курит гашиш. Кошмары Джекоба Блёма меланхоличны и прохладны, как пальцы, брезгливо глядящие нелюбимое влагалище и проникающие в его слизистую суть, и как слизь прямой кишки и мокрота. Кошмарный Мара проступает в реальность в ту ночь, которую называют Рождеством, в лепестках печальных роз, в наркотическом трансе, с телом, как древо Ботхи, с глазами холодной мудрости и глазами утонувшей женщины. Гумберт слышит крохотную Ло. Та скребется в подполе рассудка. Ее движения становятся шумом и яростью. Дева Голода – это крохотная девочка с пробоиной в черепе. Она приходит из таинственного храма, сложенного извращенной рукой из медвежьих костей и облепленного гусеницами ярко-желтого цвета, из нутра малодушия и хрупкости человеческого рассудка; из сплетения жил, из метастатических болей, из ужаса упавшего с качелей ребенка, из судорожных кошмаров родителей, потерявших первенца, из работы того, кто режет крайнюю плоть, кто после массового обрезания заталкивает ее в свое брюхо; «...она всегда здесь, Гумберт, стоит лишь едва прикоснуться к двери, стоит только прижаться ухом к замочной скважине, как она овладеет тобой, Дева, чей язык может проникать сквозь коридоры и замочные скважины, чья слюна воспекает пучинный страх, дева-рыба, плывущая повсюду, в безраздельной темноте, в черной пустоши, в египетской темноте; впуская ее, Гумберт, ты позволяешь ее частям являться в мир реально и вещественно; придет год – чудовищный рок, человечество на краю циферблата – и она споет «Нью-Йорк – Нью-Йорк», эта Дева, что одета в одежды из мужских жил, в бусы метастазов, носит серьги ампутированных раковых клеток и гениталий, бесполой Мара ночных вокзалов, тень Каина и эрекция умирающего от простатита; Дева-столетие, свернута в клубок в самых недрах твоего и моего рассудка, и в каждом, оскверненном нашими помыслами; она безгранична и питается малодушием, ужасом перед переменами, она – это сила, заставляющая рушиться четкие структуры, семейная пара, склеенная страхом расстаться... она уже здесь, Гумберт, она всегда здесь. Для некоторых – с самого детства...», Гумберт

прислушался. Часы медленно отбивали одиннадцать, жена накрывала на стол, все сползались в гостиную на праздничное мясо, шел густой снег, Гумберт прислушался, во всем этом существовала смерть, крохотная Ло шла к своему отцу, миссис \*\*\* приняла форму умершей девочки, чудовище воплоти двигалось внутри рассудка Гумберта.

Праздники всегда давили на мои нервы. Особенный их пафос наполнял меня грустью. Уже поддатая толпа стекалась в гостиную, где жена Гумберта накрывала на стол, белые скатерти исполнились тревогой и накрахмалились углами, их острая отчужденность напоминала, что Рождество – это грусть, это всегда шрамы, оставшиеся после гвоздей. Я старался оставаться в тени и не привлекать внимание, сел за крайним столом, где-то на улице завыл пес Гумберта, а затем замолк, видимо, увидев хозяина. Брахманенок рассказывал, что сумел склеить словацкую девственницу, мужчина, который приехал с бывшей женой и ребенком, униженно ковырял мясо с кровью, его глаза расширились, когда говядина испрыскивала на тарелку красные капли, он пытался совместить ритм этих извержений с кровотечениями своего нутра. Гумберта не было, часы подтекали к половине, полночь обещали снежную, улицы опустели, Словакия была против шумных праздников, Дева Голода текла в небосводе, глотая яркие и блестящие звезды, мистер Бомонд в иной широте и долготе поднял лицо к небу, чтобы небо увидело его стеклянные глаза; в 23:44 Джекоб проснулся с влажными от слез щеками, в 23:51 Гумберт дочитал последнее письмо своего психиатра и набрал полные карманы хлеба, чтобы встретить Рождество с голубями, шумные крылья всегда заставляли Ло замолчать. Видение Якоба исчезло, вновь породив слезы. Бывшая жена Джекоба, все еще сохранившая фамилию Блём, «синий чулок» встречала Рождество в Милане шампанским и снотворными, две таблетки за раз, ее любовник медленно исчезал из ее жизни и уже почти закончил забирать вещи; от него осталась только библиография Умберто Эко, только несколько фотографий, только зубная щетка, только несколько рыжих волосков в раковине и на расческе. И память, что он – яростный либертен. А еще знание, что Рождество он встречает со своей новой любовницей, кратковременной вспышкой, гаснущей где-то между тремя и четырьмя по циферблату Вселенной.

Несколько трагических мелочей, цветом и фактурой похожих на случайности, столкнулись в одно и образовали целое. Жена господина Гумберта в своей нелепой печали (фотография Ло, еще одна фотография Ло, где Ло и ее папаша, а еще эта Ло рядом с велосипедом, ох уж это мерзкое имя – Долорес, ведь теперь госпожа Гумберт, уже после смерти Ло, купившая на книжной распродаже мсье Набокова, знает о Ло все, ох уж эта Долорес) часто кормит голубей, их серая стая кружится над городом и стекается к этому дому. Небо в серых облаках. Жена господина Гумберта умолила своего мужа надеть к Рождеству красивую рубашку; ту, из дальней части его шкафа, фиолетовые и золотые полосы, а на манжетах странной формы зажимы с острыми краями; острые края трутся о запястья, и поэтому Гумберт не носит эту рубаху, но сегодня он был разжеван криками Ло в сознании, и это странное ощущение запястий было ему к лицу, к лицу была печаль фиолетово-золотых полос, и он надел к праздничному ужину эту рубашку. Именно в ней он покинул дом, чтобы кормить голубей своей жены. Острые части кололи запястья, серые тучи, а бывшая жена мистера Блёма впервые за жизнь читала Умберто Эко, почему-то именно «Картонки Минервы», так получилось, за много миль отсюда праздничными огнями горела синагога на Китай-городе, а еще крохотный мальчик покончил с собой, потому что ему не понравилась новая стрижка. Все происходило в рождественской периферии, в шарме и тумане, кому-то стрелки циферблата перерубили шею, а бывший муж той, которая к Рождеству была на сто тридцать второй странице «Минервы», вышел в

снег, потому что его голову вновь наполнили голоса. Злокачественная Вирджиния, неизлечимо, его руки дрожали и пытались ухватить снегопад, снегопад был похож на жизнь, и в его голове кто-то шептал тридцать первых страниц Пруста, за которые Марселя подвергали критике издатели – и именно об этом курьезе (Прусту отказывают в публикации) читает бывшая жена Блёма в «Картонках Минервы» за километры от этой рождественской трагедии; а еще разница времени, часовые пояса перетянули запястья, и Гумберт чувствует, как они медленно начинают болеть, эти приснопамятные запястья, а еще он ощущает холод и смотрит в небо, похожий на раздувшуюся плоть небосвод давит на его больную голову.

Наверное, госпожа Вулф высоко ценила творческое наследие Пруста. Этот факт (?) становится решающим и провоцирует два мистических откровения (два в этой конкретной точке, в этом поясе, в эту секунду) в то мгновение, когда наступает полночь, когда я начинаю поедать рождественское мясо, когда брахманенок глотает шампанское, и сверкающие капли блестят на его шоколад-с-молоком подбородке. Джекоб находится у реки, стянувшей горло ближайшим холмам, под одним из этих холмов, чья поверхность вся в могильных овцах, живет Дева Голода, и Джекоб видит, как под суровым льдом мелькают тени. Кто-то живет подо льдом, или кто-то провалился под лед, кто-то мелькает в темноте черной воды; госпожа Вулф высоко ценила Пруста; госпожа Вулф с головой ушла в черную воду, и поэтому Джекоб начинает крошить лед, искать его слабые точки, смотрит на сеть трещин, что-то тянется к нему изнутри мутного омута. Гумберт видит ангела. Голуби тащат его в своих клювах, растягивают его подвенечное или похоронное платье, ангел в голубином дерьме с ногами, до костей расклеванными голубями, его лицо обезображено подъемником, череп пробили, и теперь снег засыпал дыру. Ангел дергает бледными пальцами, а люди считают, что это лунный свет, блестящие и слизистые пальцы дергаются, как у эпилептика, ангел смотрит на Гумберта синепрозрачными глазами, ангела призвала госпожа Гумберт, из года в год кормящая голубей; маленькая Ло умерла по воле этой твари с лоснящейся кожей, по воле этого похоронного покрывала, по воле длинного расклеванного пальца, по воле его кутикулы, по воле его нарывов, а значит, госпожа Гумберт позвала сюда смерть; она откормила жнеца крохотной Ло; ангел бледно-голубых гниений держит в руке ножницы, конвульсии в пальцах вынуждают ножницы раскрываться с противным скрежетом, а затем смыкать концы, нити крохотных Ло рвутся, во всем виноваты голуби. Любимой книгой Джекоба являются «Волны», когда лед немного трескается, Джекоб видит волны на черной воде. Я откладываю вилку и нож, они скрипнули по тарелке, как скрипят ржавые ножницы. Любовник бывшей жены Джекоба сегодня дочитал «Между актами» и готов вступить в Рождество освобожденным от этой книги, но его жизнь так же протекает между актами, никогда не понять, что произойдет завтра. Джекоб опускает руку в воду, лед царапает вены, вены Гумберта напряжены и болят от этой омерзительной рубахи с фиолетово-золотыми полосами, замерзшая рука становится фиолетовой, но тонущий уже утонул, шум и ярость наполняют голову Джекоба и он видит, как крохотный Якоб только что утонул по его вине, видит ангела с ножницами, что обрезал жизнь Якоба, изрыгает проклятья в адрес бывшей жены, и она, отложив «Картонки Минервы» выпивает снотворное, запивает вином, ее глаза, глаза ангела, глаза Джекоба, глаза Гумберта слизисто-серые и немного плачут.

Если спрятать Спасителя в темную воду, чернота сделает пять его ран невидимыми.

Все происходит спонтанно, но спланировано: я выскальзываю из душевных объятий немного пьяных бесед, из ауры брахмана, из тихого облака печали госпожи Гумберт, чтобы встретиться с Джекобом, как мы и договаривались. Дом пустынен и

похож на мертвое тело, чья остывающая жизнь продолжает взрываться в гостинной, везде, кроме сердца, погашен свет; я не могу вспомнить лик и имя своей возлюбленной, теряю ее во мгле коридора, каждую свою рану о ней, все становится шатко и взросло, где ничего не разобрать, узость детского коридора завершена, когда я надеваю шапку и открываю дверь, вижу снег. Джекоб бредет сквозь снег, в нем шумит ужас и Дева Голода, желание найти Якоба, оседлать голубиную голову и лететь far-far away, он потерялся в облаке собственного парфюма и втородневного пота; запустив руки в собственные бакенбарды, Джекоб потерял свои пальцы. Гумберт отрывает себе кутикулы, раздирает раны острыми краями зажимов, смотрит на сочную кровь и брызгает ей на голубей, ведь он помнит, как старшая сестра Ло сказала «голуби из породы куриных, если почувствуют кровь, набросятся друг на друга», наверное, легче убить одного, чем привлечь к стае хищника. Боль на кончиках пальцев. Он хочет, чтобы все голуби умерли, чтобы некому было нести ангела-с-ножницами сквозь темноту, он брызгает кровью на мерзких птиц, он орет «отпусти меня! Отпусти же меня!», обращаясь к отцу, и смотрит на меня, когда я выхожу на улицу, и видит своего отца, и падает на колени, а вокруг него голуби рвутся и терзают друг друга, и чем больше становится крови, тем больше и больше они рвут друг друга, Гумберт ползет вперед, под его коленями какие-то ошметки, к штанам пристаёт длинная, похожая на червя, кишка одного из голубей, его штаны в отметилах крови, «отпусти меня», сжимая мои оцепеневшие колени он просит «отпусти меня!» и бьется лбом туда, где мой пах, и раскрывает рот, и его нос, его рот, его нутро наполняется моим запахом, но он этого не понимает, а вокруг всюду и везде голуби, Ватерлоо утонуло в крови... в голове Гумберта картина, где всех христианских мужчин враз обрезали, и на площадях выросли горы на километры вверх крайней плоти, и он этому улыбается, вдыхая запах мужского паха, а я не могу пошевелиться от страха и какого-то неведомого чувства, и даже чувствую возбуждение, и от этого еще и еще сильнее голуби бьют крыльями, а Гумберт вытирает пальцы об меня, Гумберт думает, что ангел-с-ножницами был бы доволен этими горными хребтами крайней плоти, а уже через секунду он видит, что всюду и везде – крайняя плоть; голуби – это ожившая крайняя плоть, когда в синагоге чиркают ножницами, крайняя плоть оживает и разлетается по всему миру, вот почему ангел – с ножницами, Божество Обрезания, а потом Гумберт смотрит вверх, образ его отца рассыпается, с него осыпается кожа, а может, и не просто кожа, а тоже крайняя плоть, и он видит Ло, а следом за Ло того мальчика, которого он когда-то видел, того мальчика с желтыми розами; того мальчика, который принес желтые розы на снежную могилу Долорес, и всем этим людям Гумберт целует пах, никогда ему не удавалось поцеловать три паха за одну ночь, Божество Обрезания будет довольно, если Гумберт... попытается поднести три порции крайней плоти в жертву, он шире открывает рот, чтобы добраться зубами туда, где растет крайняя плоть, но натывается большим зубом на твердую стальную молнию штанов, воет, смотрит вверх и видит, как вокруг уже не известного лица – три в одном, святая Обрезанная Троица – сияет в крови и нимбе из крайней плоти, крайняя плоть, как вьюн, вьется и вьется, вращается диск нимба, сверкает острыми краями, как ножницы, колени святого дрожат, и Гумберт отпускает их в ужасе перед карой.

О, божественное обрезание! Когда святой покидает Гумберта, живых голубей уже нет, или они улетели, но есть несколько отклеванных от шей голов. Господин Гумберт расстегивает ширинку. Всегда должен быть первый камень, чтобы выросла гора. Пальцы не слушаются, они дрожат, они кровоточат, они очищены от кутикул, они пытаются сладить с ширинкой, и вот они чувствуют нежную и хрупкую крайнюю плоть, сдавливая ее – сосудики, пропускающие сквозь мембрану кровь. У Гумберта нет ножниц, но он думает, что клюв на оторванной голове – очень похож

на ножницы. В одной руке сжимая член, а в другой голубиную голову, он смотрит вверх: темнота, тьма, глубина, ангел ждет жертвы; и Гумберт просит «отпусти меня...» и понимает, что нужно делать.

## 6. Бесформенная Юдоль

Последняя служба святого отца Уильяма (я-есть-Воля) пришлась на пору Дня Мертвых, была зима, рот отца Уильяма заиндевел, перед его глазами собрались дети, чьих родителей забрал ветер. Детей было мало, не было нужды отпирать старые замки церкви, все собрались на улице, площадь вымостили стульями. В Городе были любовники, беспризорники, были зимы, все было, как в других городах, но более открыто, и поэтому проповеди отца Уильяма подходили к концу. Он запер церковь, ему больше не хотелось вытирать древний воск, полировать серебро, не хотелось мастурбаций, не хотелось целибата и что-то рассказывать людям. Мудрая старость отца Уильяма глазами уперлась в глаза смерти; с тех пор, как красавица Ингеборг покончила собой, не было в Городе никакого движения. Больше никаких блесток, бисера и проповедей. «Во всем виноваты ведьмы... Во всем всегда были виноваты ведьмы», во всех городах всегда находится кто-то виновный, Уильям не хотел его искать, он сказал детским макушкам, смерзшимся волосам об этом, но они услышали только «...во всем виноваты ведьмы», почему бы, собственно, и нет, кто-то должен быть, а кто-то не быть. Уильям ощущал День Гнева, но не мог резюмировать свою жизнь. Все свои осколки он рассказал, ему было холодно, но он не знал, какой в этом смысл. Проповедь не повисла в воздухе, она обвалилась, Уильяма это расстроило, ему показалось, что он долго что-то строил, а потом внезапно отмахнулся от этого и построенное осталось бездушным и обломанным, через годы это что-то разграбят, Уильяма забудут, он забыл написать свое имя на хрупком фундаменте Этого, Город смотрел на него и не видел, Уильям тоже не видел, паства разошлась, появилась мысль, что и правильно, хорошо, что не открывал церковь. Замки смерзлись, можно было обжечь пальцы. Не хотелось обжигать пальцы просто так. Кто-то здесь и среди был любовниками, отступниками, кто-то сопротивлялся, а кто-то мерз, все прошли «мимо», никто не достиг, так не только в этом Городе, так везде, все Города остаются недостроенным, потом тонут, от количества кирпичей зависит только время, всегда полураспад. Уильям не знал откуда взялось слово «полураспад», он устал рассуждать о мужчинах, войнах и женщинах, эти рассуждения сразу тонули, всегда и все оказывалось мертворожденным в человеческой глотке, а глотка Уильяма была такой же человеческой, как глотки не знавших о Деве Марии, все тонуло, и Дева Мария тоже. Были ненужные слова «брат, отец, мать», они шли единым потоком, были «овца», «снег», «целибат», видимо они шли отдельно, были «любовь, Бог, секс», но в них все было очень трудно. Но все было примитивным, отец Уильям не имел ничего из названного, а если когда-то и имел, все утонуло. Незачем было говорить эти слова, – Ингеборг умерла.

Девочки-мальчики назначали даты и явки, в юности Уильям смотрелся в воду, и в воде казалось, что он – внутренний Уильям и тело трудно сочетать, что внутренность никак не соответствует внешности, были побеги, явки, даты и юность, когда Уильям верил, что люди бывают слабы, как лед, что они чего-то не делают (как того хочет Уильям) из страха, малодушия, ужаса, неправильных дат и явок, видел в воде нетривиального себя, что дамы не приходят, потому что назначены неправильные сроки, что все придет, все сойдется. Уильям не понимает, зачем он это делал, а если бы не делал, что было бы, и было бы что-то, без этих моментов, когда они не приходили, когда он засыпал и оправдывал их, когда они не приходили, когда он отсчитывал новые дни, когда часы перескакивали с «вчера» на «сегодня», а Уильям все ждал – было ли в его жизни что-то, кроме этого. Был ли целибат, была ли церковь, он не знал, ему казалось, что ничего не смерзлось, просто так получилось, он не знал, было ли хоть что-то, и ПОЯВИЛОСЬ бы, разорви он. Всегда засыпал по воле (Уил-ай-эм!) и даты-явки от сердца, существовало ли что-то с Больших букв,

всегда были не те дамы, не те целибаты, церкви с неправильными свечами, были ли хоть что-то, Уильям не знал, не узнал, не узнает, только называл что-то с Большой буквы, и жил этим, вся его жизнь высветилась неправильным алфавитом под неправильной судьбой, каждая буква выпячивалась по очереди, и нить вела от одной к следующей, Любовь, Юность, Болезни, Целибат, так и вырос целый алфавит, было ли хоть что-то, кроме попытки домучить азбуку, часы перескакивали на «завтра», на новые буквы, буквы были нестерпимыми, и это было неправдой, потому что Уильям не умер от Любви, Юности, Болезни и Целибата, все обмануло Уильяма так же, как всех в этой жизни, Смерть в этом алфавите тоже была обманом, Уильям засыпал, и винил себя, потом не винил себя, потом не вмешивался, потом яростно сражался, разные буквы и силы сошлись в этой монолитной судьбе разными цветами и настроениями, все люди оказались дальтониками и не различили ни единого настоящего цвета, все эмоции отхлынули, остался только алфавит, такие же буквы Уильяма, как и у всех других, в своей субъективной последовательности со своими уильямскими цветами, священники, дети, женщины, полностью такой же набор со своей субъективной возможностью дать ему четкие или размытые слова, все было таким же и неправильным, была смиренность, ярость, ничто не сломало мерзлость, мразность и скованность, все вытошилось, и Уильям стал настоящим бесстрастным священником, Бога вымыло долгим ожиданием, секс вымыло старым недержанием мочи, древней импотенцией, духовные желания обесцветило дальтонизмом, Смерть умерла от старости последней буквой алфавита.

Уильям знал только одно: Город идет, все закончится для каждого длинным подчеркиванием, кто-то назовет его точкой или златочием, все закончится для каждого разной буквой, в середине растянутой на языке красной Любовью, целибатом и сумерками, все закончится едино и четко, вовремя, сквозь сердце, фаллос, фелляцию и другие термины жизни, все закончится естественно и угасанием ли, фрикциями ли, долгим и яростным вздохом... – было открытым вопросом, Уильям не стремился отвечать на него или не отвечать, все завершалось от обмана, пробуждением; от любви, заблуждения, любвипробуждениемлюбвисновалюбвилюбвиещеоднойлюбвиещеещещещещещещещещезавершайсяНЕзавершайсяПОЖАЛУЙСТАтыСАМАЯособеннаяЛЮБОВЬнезавершайся в одной из тех букв, до которой мы успеем досчитать или не успеем, или не будем знать букв, жизни и слов, все закончится одинаково – знаем ли названием буквы этого Сейчас или не знаем или не хотим знать, все закончится в постели любовников, постели одиночества, целибата и импотенции, с мужчиной или женщиной, в одиночестве без мужчины или женщины, закончится у мужчины и женщины, закончится у живущих без какого-то Мужчины или Женщины, с детьми или в бесплодии, в ранней утренний час и душно-интимный сумрак, оборвется овуляцией, эякуляцией, бурной поллюцией рыцаря или шумно-восторженной (может быть) первой – утренней эрекцией, в гулком ночном часу, когда будет нужно, когда циферблат перевернет «сейчас» и начнется «нет», когда-нибудь, безутешно, со слезами или сухими розовато-увядшими щеками, для стареющих трансвеститов, танцоров и гулких глаз прохожих, очень одиноких мужчин и их собак, в той исконно страшной точке по ту сторон Унтер ден Линден, Смерти и «я люблю тебя», где все исконно обрывалось вопреки Я ЕСТЬ ВОЛЯ и крикам «мир, прокрутись для меня, сумятице, невыразимому и легко выражаемому, всему малодушию и даже смелости, закончится последним шагом, каким-то естественным выдохом, каким-то выдохом, каким-то выдохом, почему-то, во Вселенной, где никто не умел дышать... под мужчиной, на женщине, на столе, прозекторском столе, зубоврачебном столе, под мышьяком, для мужчины на женщине, для мужчины под женщиной, для всех них, кто умел верить, кто умел мечтать, кто умел писать стихи, кто умел плакать, кто

умел раздвигать под кем-то бедра, – Уильям знал, – под каждым, кто жил или существовал под бренди, для каждого, в каждом, выдохе, вдохе и стоне, даже для этих детей, запорошенными снегом под седину, для красивых уродцев ночных дворов, Дворов Вечности, для воздуха, там... там, ТАМ, Здесь, когда каждый сам для себя поймет – то или иное слово, то или другое движение, в тихом будуаре, в последних каплях бренди, спермы, воды и воздуха, все закончится, в сизых стенах яркого дыма, рассвета и юношеской влюбленности, в комнате Смерти, в комнате Выдоха, королевского-страшного крика, для рыцаря, который не дождался своей любви, для другого рыцаря, с Башней прекрасной дамы, для третьего рыцаря – с Башней промеж потных бедер, для того избранного болью рыцаря, с Башней промеж потных бедер, что пыхтит черепицей и ярко плачет дождем – на бедра другого рыцаря; для всех них, для Уильяма, для самого воздуха, кончившегося в бордовом будуаре под давлением сигаретного дыма. В прекрасной тюрьме под названием «Ингеборг».

Вот отец Уильям с сединой и в черной куртке, поворачивает шею, и видит, как дети его прихода тащат за волосы женщину, бьют ее ногами, «во всем виноваты ведьмы...», и женщину зовут Марта, как ее мать звали Мартой, и для Уильяма в этом все безразлично, все христиански и холодно, все Бесформенная Юдоль, и он пронзительно знает свою букву, свой момент, что Марту утопят, как ведьму, и что для этих детей, вселенная выкрутится буквой В, этой ведьмой, для других – буквой У распухшего утопленника Марты, Х холода, М мужчин и мужеложцев, Л любви двух мужеложцев, все и для всех выкрутится и лопнет, в этом был Бог, было мало христианства, в этом было тесно Уильяму и воздуху, это было – бордовым будуаром – Уильям не находил себе места в этом страшном просторе пониманий.

## 7. Самадха

Я выбежал в снег. Он был повсюду, будто специально. Или я ослеп. Или его стало слишком много, будто специально. Позади меня натянулась цепь, огромный пес натянул ее всеми силами своей шеи, я знал, как больно впились в нее звенья, и попытался ухватить меня, но ухватил воздух. Воздуха тоже было слишком много.

Там! Там, внизу!

И еще ниже, чем там, внизу.

В какой-то момент мне показалось, что пес нагнал меня. Что сила шеи одолела силу железа. Цепь порвалась, и пес побежал вперед. Он нагнал меня там, где гора ломается в хребте, и ты почти падаешь, когда не видишь дороги, на покатуую крышу кафе. Где скрежещет подъемник и таскает к другой горе пустые сиденья. Холодно. Железо посинело от холода, я слышу, как лениво оно тащится на вершину горы; идет снег, я слышу, как он идет... «...а еще, Гумберт, а еще Гумберт, а еще, там, внизу, действительно живет Дева Голода...»... идет куда-то неизвестно куда и зачем. Слишком одиноко. И именно здесь, где снег так одинок, мне показалось, что большой пес нагнал меня, опередил и врезался своей тушей прямо в грудь. Показалось, но только показалось, что заболело солнечное сплетение в этой темноте, но на самом деле не болело ничего. Все – только казалось, вокруг даже ничего не было, и внутри ничего не было тоже. Мне показалось, что заболело в костях, но только показалось, и тогда я подумал, что умер, раз боли больше нет, а мне так хочется, чтобы она была; на пару мгновений показалось, что я уже умер, а затем стало ясно, что нет. Или да. Я не понял. Всюду валил снег, ничего нельзя было увидеть, и поэтому я не видел жив я или уже нет, собирался ли большой пес вернуть меня своему хозяину или просто лениво натянул цепь, я не мог этого видеть, и что самое жуткое я не мог видеть, действительно ли болит солнечное сплетение или только кажется.

Все же, наверное, мне казалось, что болит.

Ничего не болело.

Все было хорошо.

Вокруг и всюду, даже там, ВНИЗУ, шел крупный снег. А глинтвейн похож на кровь, или кровь похожа на глинтвейн. Я не знаю, что на что похоже. Но мне казалось, что у меня внутри что-то болит. И я не мог уловить это, потому что стало ясно... никогда в жизни я не знал, что такое боль. Только что-то, что очень хотелось назвать болью. Этот детский перелом ноги; мне так хотелось сказать, что он – это боль, и сразу же стать большим, испытал боль, но никогда, никогда

никогда

никто не знал

боли такой настоящей о которой не находится даже четверти слова

шел большой снег

большой снегопад к рождеству и никто не знал что такое боль и существует ли она за пределами воображения и зачем выдумали это слово зачем употребляют его так часто я кажется закричал что такое боль и... ничего не ответило мне потому что ничто даже АБСОЛЮТНОЕ ничто не знало что же такое

боль.

Мой большой и нелепый Джекоб сгреб меня в охапку на краю обрыва. От него несло сигаретами и словом «гомосексуальность»; оно, как и другие слова, ничего не значило. Его ворсистую шубу я принял за пса. Кто-то из нас в кого-то врезался. Он подумал, что я хочу спрыгнуть вниз и крепко зачем-то прижал к себе. Я ничего не говорил, а он повторял, как заведенный «снова и снова, снова будет за одним кровавым рассветом следовать другой не менее кровавый рассвет, все эти рассветы

своей кровью будут пачкать крыши, не плачь, не плачь, однажды, триста кровавых рассветов спустя ты ничего не вспомнишь, я клянусь тебе, ты даже не вспомнишь, все обратится темнотой, снова и снова после этого, снова и снова, за одним кровавыми рассветом будет следовать другой, не плачь, тысячу рассветов спустя зарубцуется, останется только темнота, я обещаю тебе, не плачь, не плачь, две тысячи, две с половиной тысячи... три тысячи и кто-то будет любить тебя так, что ты ничего не сумеешь вспомнить», а потом он начал кашлять. Он же сказал, что простыл. Кашлял и кашлял куда-то мне в шею. И я ощутил на шее кровь. А значит, он не простыл, а значит, он соврал. Я вспомнил отрубленную голову голубя на его большой ладони. Большой мужчина в шубе кашлял кровью, а значит, у него туберкулез. Но нет, я знал, что у него нет туберкулеза. Он не из тех, кто, болея туберкулезом, прижимал бы меня столь плотно и гладил по голове. Это что-то другое.

Рак легких.

Снова и снова, один рассвет за другим у него рак легких.

Один кровавый рассвет гонится за другим и не может поймать.

Чтобы любить так сильно, чтобы все забылось.

Только темнота и только не плачь, только не плачь, только не плачь, всего лишь две с половиной тысячи рассветов пройдет над этой горой, где один кашляет болью на шею другого, который не знает, что такое боль, и все забудется для этой старой земли.

Чей-то снежный голос, рак снега, метастазы сугробов – все зарубцуется множество тысяч кровавых рассветов спустя...

...уже через несколько часов все крыши были перемазаны красным и начали ярко гореть на восставшем солнце.

- Якоб-Якоб, все будет хорошо. Все уже позади, Якоб...

## 8. Утоливший голод

Я замираю, и он проходит мимо, рукой лоя руку будущего, копошась внутри его комнат и выхватывая оттуда, и я выхватываю образ Джекоба, будто в последнюю минуту, будто в мою сетчатку он должен быть врезан именно таким: с сияющим полумесяцем, входящим сквозь его правое ухо, выходящим чуть ниже левой скулы, состригая его выдохи и рыжеватую бороду; когда он так яростно улыбается несвежими зубами тому, что видит впереди, глаза быстро наполняются блеском, когда в них отражен свет луны, и в зубах отражен свет луны, когда свет луны становится синонимом Джекоба, и кровь луны светом по свитеру, по его горлу, когда все секундно и неуловимо – мой глаз делает его вечным. Он попадает в мою кровь, «Всё!» и «Бог больше не говорит со мной», – комом внутри моего горла, которое не рассечено светом луны, пульсирует, что самая красивая история, ничего не сбудется, умрет от серпа – вошедшего в ухо и вышедшего, пробив адамово яблоко, под скулой – потому что так яростно полнятся смыслом лишь глаза умирающего; я не продвигу роман или хотя бы строчку, в которой Джекоб видит свое спасение, я продвигу лишь одно и знаю, что это сбудется, будто его огромное тело упало на землю, огромные руки обращены к луне, а лицо спрятано где-то в коленях, что на этих руках такие следы, какие никто и никогда не мог увидеть, единственные раны из всех, что ХОТЯТ быть, самовластные и святые порезы, когда тело и дух слиты в одном желании умереть, Святые харкают густо, Святые выплевывают жизнь, Душа скапливается в шестиградусном сгибе локтя, и по обе стороны руки – вниз; впитываясь в суконные штаны, Святые лежат в паху, а затем текут дальше, впитываясь в шнурки и капая ниже... с огромной усталостью Джекоб ворчит «это все...» на пороге какого-то дома, с яростными порезами от второй фаланги безымянного пальца до интимной ямочки в локтевом суставе, ямочке поцелуя и смерти, откуда бурно выхаркивается жизнь; он сидит в позе Узнавшего, рыдая в изможденье своих колен... и нет ничего другого, кроме этого дома, кроме «Отец не говорит со мной...», вновь кроме этого дома, контур которого уже отражен в сетчатке Джекоба, и который я могу наблюдать внутри его глаз, как в зеркале, дома, который он может назвать своим Домом, у порога которого он умрет – несколькими человеческими циклами позже, не найдя этот Дом... только стропила, только крыльцо, только перекрытие, – все лишено внутренней жизни и имени.

## 9. Горькоцветы

Вокруг огромное количество смелых; слишком много, чтобы им удивляться. Мальчишки на котурнах (?), девчонки с глазами морских ежей. Мужчины, марширующие в бордели. Бережно хранящие в себе воспоминания о домах терпимости, отмывающие плоть до красноты в бело-серых кулуарах супружеской ванны, примыкающей к спальне, возвращающиеся в спальни с гаснущими взглядами, поруганное детство, стягивают через головы бесформенность одежд с отгиском моды, столетий и женского вкуса, вползают под одеяло. Их греет мысль о доме иллюзий, их греет мысль о казнях, о взятии Бастилии. Они присвоили себе подвиги далеких предков. «Сюзанна», прижимающая его к большой груди. Жена. Детство. Он держит своего маленького друга (и сам он маленький в этом воспоминании) за руку, и вместе они осторожно двигаются в сторону парка. Как много раз они гуляли в сторону этой сумрачной зоны, но никогда еще эта прогулка не вызывала страха. Сегодня же путешествие – уже не будничная променада, сегодня случается что-то особенное; так ощущаешь, когда обычные дни, такой же ход часов, как обычно, по воле праздничной даты изменяет свою структуру. Этот парк: ковванная лавка, самая обычная лавка, ты не знаешь, сколько бактерий оставляют на ее поверхности бродяги, совокуплялись ли на ней и какие признания она слышала; не знаешь, как выглядит она под полной луной, случилось ли что-то с этой лавкой ТАКОГО, что навсегда ей запомнилось, что вообще она помнит, что помнят ее лапки, с кем она ассоциирует себя, к кому протягивается, к кому тянется своим сидением, что вспоминает; большие деревья, иногда сквозь кору может быть заметно человеческое лицо, женское лицо, многие деревья знают несметное количество тайн, деревья имеют тайные имена, такие как Асмодей, Люцифуг и другие, которые так любят повторять мальчишки, призывать к себе на помощь (и ощущать какое-то взросление сквозь это) нечестивые легионы, без рода, без племени, нескончаемо бредущие по улицам мальчишки; аккуратная сетка дорожек с белым камнем, все это похоже на вены, по которым путешествуют, толкаемые усилием невидимого сердца, влюбленные, скучно сжимающие ладони друг друга, испытывающие непонимание, как относиться к вспотевшей ладошке в своей ладони, к этому острому запаху ЧУЖОГО человека в непосредственной близости, еще ничего не знающие; парк – это совокупность всех лавок, дорожек и старых деревьев. Парками становятся серийные убийцы. Парками в иных жизнях становятся серийные убийцы. Прикасаясь к этой мысли, ты медленно узнаешь суть вещей. Не хватает слов, слова будто угловаты, когда ты думаешь об этом. У тебя есть множество лиц. Лицо твоей терпимости меняется на лицо суверенности и злобы, лицо твоей жалости становится обезображено отвращением, когда ты моешь руки. Внутренняя сторона человека скрыта от него, как скрыта от кожи – кровь, текущая под кожей. Может быть, в театре происходит соприкосновение. Полное отражение. Тот, кто в будущем будет изменять своей жене с «Сюзанной», приносить запахи и осколки «Сюзанны» в кулуары семейной берлоги, идет в этом воспоминании за руку с мальчиком по парку. Множество раз до этого они бывали в такой же час, когда солнце в такой же позиции, в этом парке, прямо на этой дороге, и сворачивали на ЭТУ тропинку, но сегодня, когда они свернули на нее, они ощутили, как Приближаются. Наконец, замкнутая система парка обрела конечную цель, с каждым шагом они Приближались. В них было ощущение, что после такого, они навсегда останутся друзьями, найдут таинство дружбы, но, как обычно бывает, с каждым шагом Приближения, их все больше переполняло взаимное отвращение. Так всегда случается, когда озвучиваешь особенно звонкую правду. Что-нибудь из семейных тайн, преданий, которое ты озвучиваешь перед приятелем, и как бы он ни отреагировал, и как бы ты

ни ненавидел свою семью, в крови появляется отвращение. Но они Приближаются и пока не знают всего этого. Ощущение ново и немного горчит, воздух кажется зеленоватым, слух о том, что в парке кого-то убили, быстро превратился в сказку. Они Приближались к труп, они хотели его увидеть. С каждым шагом, они хотели все меньше. Они Продолжали, потому что стыдились слабости друг перед другом; он будет испытывать какую-то гордость, изменяя жене, и все потому, что он Приблизился к последней тайне, он увидел труп, в раннем рассветном, розовом свете, под розовой лампой борделя, когда далекие трамваи похожи на бульдогов, светские модники как бульдоги на карачках перед какой-нибудь шлюшкой, в розовом воздухе, кажется, розоватый запах, наверное, первый запах настоящей крови; детские порезы, ушибы и ссадины, оказалось, не источали настоящей крови. Они Увидели, приблизившись вплотную. Кричать было стыдно. Что-то изменилось.

Протягиваясь от одного воспоминания к другому. Иногда врывается что-то, не принадлежащее тебе. Каждая секунда соотнесена с прочими секундами, рассветы стоило бы описывать в соотношении с другими рассветами; книгам стоило бы стремиться к полному описанию рассвета этого дня (коль уж каждая эпоха – это не та эпоха, чтобы быть счастливым), коль уж все так, стоило бы тратить себя на фотографическое описание рассвета, в конверте его сквозь столетия, во имя облегчения соотнесенности. Механическая сила смерти устремлена к центру. Маховое движение. Путешествие вдоль сочинских кромлехов (водопады, обязательное фото на их фоне, этого водопада и того, самого крупного, мне запомнилось путешествие сквозь навесной мост и свой стыд, что в таком мужском путешествии меня почему-то сопровождает мать), от одного кромлеха к другому, обязательное фото на их фоне, этого кромлеха и того, самого крупного.

Понравилось, ты смотрела?

Как ты?

Где ты? ЗАЧЕМ?! Ты там, здесь, смотрела и видела, ЗАЧЕМ ты была там, здесь, ЗАЧЕМ ты есть? Зачем ты... еще не зная о тебе, я смотрю в водопад, уже тогда во мне какие-то центробежные стремления к красоте и цветков в петлице, мимо церкви мы сворачиваем на машине, и я вижу, как взлетает гравий, а еще каждый раз в машине мне страшно, что зачесется глаз, я протянусь его почесать, будет кочка, и пальцы мои войдут мне в глаз. Все – центробежно. Движение неумолимо. Даже воспоминания подвергаются шлифовке. Уже нет запаха. Кромлехи уже самоцельны. Уже нет направлений. На север ли или в субботу? Картины спящего дома или краб, ползущий по моим волосам, и я чувствую кожей своего черепа его лапы, женские ли или мужские, было ли немного больно от щелкающих прикосновений (?), краб перебирал мои волосы, только это осталось, на ночном пляже, в моих снах я на лодке с каким-то мужчиной, останавливаемся посреди озера, он спрашивает, не хочу ли я искупаться, я отвечаю, что стесняюсь раздетости и смущаюсь своего тела, но это немного ломано, я играю, он должен убедить меня, что я красив, я сам это изнутри чувствую, и когда он говорит, что искупается сам, я говорю, что боюсь за него... не боюсь, но говорю это, будто поддерживаю на плаву наши возможности. Понимаешь? Жизнь направлена в прошлое. Устремлена к пониманию той минуты, когда краб... мой отец, мой отчим (время стерло и эти различия, хотя однажды, в день их свадьбы, конечно, они были мне очевидны, но сейчас я устало не различаю этих понятий, во мне гремит от пустоты) пытался увлечь меня подводной охотой. Острога была красива. Солнце блестит на ее острье. И почему-то больше ничего. Но все же кромлехи, от них можно протянуть каждую мысль к Ирландии, спросить чаек, поют ли они старые песни, спросить их о Джойсе, чей портрет стоит над моей постелью, как старый родственник, стоит там, чтобы кто-то вошел в спальню и обнажил там его. Чайки. Вернемся к чайкам. Чайки очерчивают, как циркуль, своими серо-

стальными телами. Окружность, за которую нет выхода. Их размашистые движения похожи на огромные мужские полости, крупные клетки ребер, распоротые и поднятые, они похожи на стонущих морских котиков, влажные изнутри ребра.

Кромлехи Ирландии, или Шотландии, шерстяные юбки, под которые можно проползти. Женщины Ирландии, у каждой в глазах мысли, что именно ее Бог поцеловал в прогалинку, устремленные до какой-то черты в будущее, а затем падающие с обрывов. Иногда легко не опознать собственных воспоминаний. Их фрагменты принять за воображение. Чувствительность ко временным промежуткам образует морщины. Женщины Ирландии. Они отвергают трахатории. Промежутки от одного мужчины к другому растут, расширяются, кажутся им вечностью, кажутся им испытанием, Бог говорит во время пауз, Бог замолкает во время нового шторма, можно выстраивать графики сердечной интенсивности, затем все гаснет, зеленые завихрения кардиограмм – это четки на утонувших запястьях. Каждая пауза – повод для воспоминания. Повод расчертить глубину. Отметить на карте отмели. Изредка на дне встречается что-то заслуживающее внимания. Такой член, что отсимметрирует вокруг себя бытие. Какой она была до того, как вышла замуж? До того, как упала в постель, чтобы два обратить в три? Рисую такую женщину, которая любила настолько, что отдала мужчине вовсе не разветвляющуюся красную широту, а собственное имя, осталась безымянной, осклизлой, как риф, обогранный пятнами нефти айсберг. Добровольно запертая в это и боящаяся отпустить, стать чем-то иным.

Женщина курит своим запястьем, обсуждая «Мухи», желая стать мухой в клоповнике собеседника.

В воспоминании о кромлехе значимо одно. Истовые женщины, лютые женщины. Не знаю, как они называются, рожденные из цикуты. Я знаю, что корни цикуты повторяют под землей структуры человеческой кровеносной сетки; эти женщины выползают из земли, очищают свою наготу от земли, в их крови нет ничего, кроме яда, и они не знают об этом. Чистые дочери осматривают луга. Цикута всегда растет там, где хочет. Луга, далекие от городов. Смазанные бугры тел, Локусты<sup>19</sup> зреют в сердце ядовитой почвы. Волосы зачесаны назад, смазанные болезненностью суставы украшают пробор и фаланги заложены за ухо. Укусы подобных женщин отравляют род человеческий. Страшнее, чем все другие яды. Встреча с мужчиной не завершается смертью. Яд проходит сквозь мужские губы, оседает в его крови, вызывая потливость и странные скопления около коленной чашечки, когда нога сгибается, можно наблюдать, как скопление цикуты перекачивается в слизистых полостях. Все ссезивается в яичках и передается по наследству. Яд выкачивает возможности. Сын современности просыпается с усталостью, устремленный в прошлое, и не знает, как его прадед встретил ядовитую деву. Замедленное убийство растянуто в тысяче биографий. Усталость. Дождь. Сырость кожных покровов. Иные Локусты дарят такие возможности, что после нее каждый день – страдание. Поцелуи, похожие на героин. Возможно, каждое мое горе – это следствие переливов цикуты в коленной чашечке моего деда. Никогда нельзя быть уверенным. Никогда нельзя спастись. Все несчастья, молчание, все, как игра дудки, – нарастает, а затем разворачивается, печаль, похожая на лунный лотос, источающий миазм беды. Потомки цикутных дев в столицах. Гарпии, чьи мозги формируют ложные пророчества, – эти гарпии ощущают происходящее с ними, как несчастье, а пророчества, как правду.

Огромный, огромный, огромный, огромный. Мужчина, как Джекоб Блём. Однажды он отыскал Деву Голода. В пещере, спуск в которую – это коридор, линия между смертным и нет, он спустился, он отыскал ее, одну из тех Дев Голода старого

---

<sup>19</sup> Римская отравительница, услугами которой пользовались Калигула и Нерон

столетия. Она сидела в кресле посреди темноты. Он, огромный, огромный, огромный, огромный, был шутком собственной темноты. Она вязала штаны из мужского мяса. Раскуроченные тела лежали у ее ног, ее дети – это гомункулы, ожившие ладони или коленные чашечки,двигающиеся сокращающимся движением, как гусеница. Все они молчаливо ползали по заляпанному кровью дну. Девы столетий двигаются, как движение света. Они пронзают все земное пространство, тени Лилит, они шевелятся в каждом скоплении сумрака. Они неясны и будто вымышлены, как клитор фригидной. Огромный, огромный, огромный, огромный спросил ее «почему?»

Я бы спросил зачем?

Как?

Когда? Главный вопрос – когда (?) – обращенный к центру Бога. Обращенный к женским пророчествам. Когда ход времени изменится, кровь двинется вспять от какого-либо события, и я смогу изменить ритм? Я был бы рад любому ответу, стал бы центрироваться на него, при этом зная о низменности женской природы.

Огромный. Плачущий изнутри. Потливость, обращенная к центру. Спросил «почему?», и она ответила, что родилась подобной. Жадной к ожиданию. Она вяжет мужчину из жил других мужчин. Собственного мужчину. В пещере, как мать Гренделя. Что сердце земли изъедено подобными пещерами, подземными городами подземных матерей. Что они – это дочери, черви, выползшие из задницы Мрака. Они – кристаллизованы. Огромный (вроде бы его зовут так) Джекоб понял и сказал ей «значит, мы, отвергающие Вас, отвергающие женщин и любящие мужчин, как спасители мужчин, как ангелы? Сотворены в вечном унижении, внутри инквизиции, кого называют темнотой, двигающимися во тьме дымоходов и ворами потомство – ангелы?», крылатые гарпии, публичные дамы с сердцами – скоплением угрей; дырочки и скважины намазанные аконитом, фаллоцентричные сознания, глубоководные женщины с хищными пастями посмотрели на него, на его огромные ребра. И начали хохотать. Пронзающее нервы и спину унижение, вновь он ощутил свою сумрачную сущность. Дева Голода продолжала сладострастно вязать. Она убивала мужчин. У одного воровала пальцы, у другого адамово яблоко. Она хотела связать совершенного мужчину. Того, кто не имеет внутри себя привязки ко времени. Того, кто не позволит ей устремляться в прошлое или будущее. Того, чьи руки смогут удерживать внутри себя настоящее.

Воспоминания, расползаются из одной точки и одновременно уносятся во все направления. Люди одурманены идеей эротики, как спицей, которую можно вогнать в сердцевину и накручивать вокруг нее линии воспоминаний. Создать кого-то своей сердцевинной. Связать того, кто никогда не покинет. Если выдернуть спицу, огромные километры наших воспоминаний развернутся вновь.

Ирландские женщины, плачущие, как чайки. Чайки, которых описал Джойс. Демонические цветы яда. Ангелы, потерявшие свои сущности. «Мухи» звучат все чаще, обсуждаются яростнее. В ночном небе все развалено и похоже на руины.

Он идет за руку, чтобы посмотреть на труп. Труп девочки? Нет, это тело умершего мальчика. Между деревьев растянута желтая полоса, чтобы никто не приближался. Это мое последнее зеркало, последняя вариация на тему нашего свидания. В парке рядом с твоим домом. Ты – со своим другом. Идешь посмотреть на тело мальчика, на мое тело, убитое каким-то недугом, и изменившее известную композицию парка. Как мало надо, чтобы привлечь тебя, этот запах, легкая синева, густые тени ползают по телу умершего. Внезапно труп становится главным действующим лицом парковой зоны. Звуки проезжающих машин – звуки его смерти; тени деревьев – декорации его гибели. Прохожие – это зрители. Вода – источает подходящий запах. Мой труп – то произведение искусства, которое подчиняет себе

бытие этого парка, приводит твои ноги в движение, доставляет тебя к желтым полосам, которые делят парк на зоны. Зона ВНЕ и МОЯ зона, зона с телом умершего мальчика, раскинувшего руки. Рана на руке будто сделана ножом для резки бумаги, кожа, как желтый картон. Капли грубой крови собраны на лацканах, клетчатый пиджак, небрежно откинутый зонт, солнечная погода, чайки очерчивают круги вокруг моего трупа. Все это – твоё воспоминание, которое я смею придумать, потому что все уже обратилось в закономерность. И я уже уверен, что в твоей памяти найдется нечто, что похоже на это. Ведь наша память обманчива. Мы готовы вдолбить в её недра любую ложь. Парк, слова. Умершего мальчика. Пещеру с чудовищной женщиной. Навязать своему рассудку необходимость и любовь к детям. Тело мальчика, который похож на Рембо, который своей смертью протянул золотые цепи от звезды к звезде, от одного фонаря к другому. Думаю, ты уже почти можешь это вспомнить, это происходящее, эти его глаза, значимые и какие-то ВЕСОМЫЕ только оттого, что это глаза трупа. Глаза первого трупа в твоей жизни. Ты запомнишь их навсегда. Не потому что они какие-то, а потому что НЕЧТО принуждает тебя думать, будто увидеть труп – это значимо. Будто что-то меняется после этого.

### Акт III. Костры тщеславия.

*Здравствуй комариная потная родина  
где река и вода теряют себя под бензолом Его произвола  
где повитуха вспарывает себе Его брюхо  
где кормилица "отсоси мои голые ребра"  
где солдаты "еби мои чресла, вспоминай свою матушку"  
где шахтера кайлом – месят бурое мясо Его капилляров  
его аорты его нефтеподобной крови  
где на поле – ветер сажай, ветер сажай и ухаживай за ростками  
и на первом уроке – \*\*\*югенд: "Здравствуй, Тихая Смерть, аве, быстрая Смерть,  
Славься, Мучительная погибель!"...  
...где пожинать ураган – дождутся только умершие.*

*Здравствуй!*

## 1. Нико 1/2

...еще ближе к вокзалу мертвых; в том городе, что на прямом луче от места убийства длинношейей девочки, стоит большой дом Кросс-энд-Холл, и он почти такой же, как дом Алистера Кроули. Столь же поврежденный магией Граумзалока. Здесь шумит вода этого источника: она в земле, и лунный свет, пролетая над Кросс-энд-Холл, тоже шумит водой. Грязной водой, признаться; кажется, что в этом ручье утонула крыса, целая стая крыс, может быть – это грязный и серый дом.

Здесь – приличная семья. Она ничем не выделялась бы, но жемчужина под костистыми сводами чердака. Он сложен, как старинный тренсепт, хорошо уничтожающий крики. Если спальня находится на первом этаже, или если ты принес доброжелательным хозяевам Кросс-энд-Холла пиццу, тебе никогда не услышать, как кто-то беснуется под чердачными досками. Но вот если ты начнешь подниматься по крутой лестнице (открытой и беззащитной лестнице, сложенной так умело, что ни одна Кровавая Кость не смогла бы проникнуть под эти ступени), гул странного стона начнет нарастать. Похоже на колокол или крик грача.

Говорят, ее крики бьют стекло. Поэтому на чердаке нет стекол, и оконные провалы зарешечены, дождь проникает внутрь. Старина \*\*\*, семейный вожак, говорит, что дождь – наказание. И он начинается лишь тогда, когда заколоченная тайна Кросс-энд-Холла плохо себя ведет. Дождь заливает кровать «тайны», ее саму, ее одежду. Волосы прилипают к черепу.

Но \*\*\* так же говорит, что Бог – существует.

...

Госпожа Нико – я хочу представить вам ее прямо сейчас, когда закатный огонь можно принять за открывающейся перед темнотой занавес. Каждую ночь или каждый день в затмение, в любой миг темноты, Нико начинает танцевать. Она истинная актриса, слегка сухокожа, и, как все нимфетки, обожает тень, торжествует ее лучшим гримом гнилых морщин.

Вначале посмотрите на рот. Морщинки собрались вокруг него отвратительными скоплениями; будто морские камни вздыбливаются и проваливаются в странные щеки. Травмированная ранним детством, Нико не имеет правой щеки, а значит, все морщины собрались лишь на левой ее половине. А та, правая, остается бесполой и вечной; разодранная до серого сухого мяса, вечно скалится и не может перестать, и неровные зубы – вечно открытые публике. Тронный зал, и Королева торжествует.

Нико стыдливо заламывает руки. Шепчет луне, мол: Я – танцовщица луны! И я-то знаю, что Король Безумец убил бедную миссис \*\*\* – а еще это: Головастики – маленькие человечки с большими хвостиками между ног!

Слова ее задыхаются в душной и тесной гортани. Когда они все же вырываются на волю, то звучат гнилым ветром. Нико не умеет держать слюну внутри себя. Вечно мокрый подбородок.

О, госпожа Нико, она в своей ночнушке уже много лет, босоногая госпожа, с пальцами средней длины и ногтями на них длинные до «омерзительной закрученности». Нико часто снятся влажные сны. Но, кажется, ногти нужны ей, чтобы спасти свое тело от саморазвращения. Ей хочется поиграть с собой... ей иногда очень хочется этого. Очень хочется. Но Богиня-Луны, Не-дающая-Королева велят держать себя целомудренно.

У нее плешивая голова.

Мутные глазки и диатезная кожа. Бледная, до синевы.

И там, промеж ее ног, большой бугорок говорит нам, что Нико-то, красавица Нико – мужчина. Покрытые шерсткой ласкового тигренка яйца, простата, уретра – все, как полагается. И черные усы. Их некому сбривать.

Милашка Нико больна. Она – это постыдная тайна жителей Кросс-энд-Холла, и она будет спрятана здесь до самых своих последних дней.

Разум почти не работоспособен.

У тела подчас начинаются спазмы – чаще всего по утрам – и тогда она начинает кричать.

Но к Нико никто не придет.

Блюдечки с крошками, чашки с застывшим прошлым, с тараканьими яйцами, она бережет и хранит в уголке. Весь ее клад шелестит по ночам, красавица Нико боится тишины.

Когда она кричит, все делают вид, что на чердаке играет ветер. Когда она впивается ногтями себе в грудь и шепчет со слюной на губах – я буду, как жена Джекоба Блёма, я буду как жена Безумного Короля – пытается оттянуть себе соски и стань еще более женственной, никому нет до нее дела.

Она лижет блюда язычком, как собачка.

Ее губы наловчились выхватывать с дешевого стекла макаронинки в пресном соусе и со свистом заталкивать их в гортань.

Старая постыдная тайна думает, будто он избранник луны, шепчет сегодня, в день убийства длинношестой девчонки, припав к решеткам: Ах'камагар, Король Безумства, ахе'камора, Нико приглашает вас на последнее сальсо...

## 2. Гешефт.

Небо призрачно, осень в нем выражена несколькими облаками: одно, как случайный возлюбленный; другое, как корона Георга со свитой виконтов и придворных дам вокруг зубчиков; и третье, как черно-осенняя лиса, но не обычная, – с нездоровым носиком, будто эта лиса вначале была человеком, затем обратилась в лису, и лишь затем растворилась в небе (может, взлетела, и ее расплющило об осень, чтобы она плоско парила). Я свернул Налево, и мне встретилась случайно заплутавшая в переулках шлюха, ее кожа была, будто растянутое бытие; многоточием она бегала от одного дома к другому, пытаясь спастись, кинулась на меня своей человеческой натурой, стала просить вывести ее, в окружении золотистых спутанных волос ее личико выплакалось, вытерлось, ее тело было дисгармоничным и беспомощным, она уже начала превращаться в лису, но так как никогда в жизни не смотрела в небо, еще не могла предсказать, что будет далее: подкинет, растормошит и сделает тучей, «куда мне!? Я...», прошел мимо, она кинулась следом, а затем поотстала, снова расплакалась, будто перепонку проткнули, жабры выпустили воздух, какому-то мужчине опустошили кошелек, он, наверняка, думал, что это белобрысая проститутка, а еще он подрабатывал гаданиями для тех, кто давно мертв; не потроша будущее, он просто объяснял умершим и разворачивал перед ними жизнь, как притчу. Не было для меня лучшего места, чтобы упасть внутрь тебя, внутрь твоей исповеди, которая была, конечно, далека от истины, но все же более ясна, чем любое из слов, которые ты мог бы мне сказать... мне бесконечно трудно объяснить, как это происходит, как все мы находим Левый город, может быть, по воле случаев или закономерностей, но я уверен, что ты не из тех, кто жаден до мелочи так, как жаден я; твой дневник, который был важнейшим гешефтом моей жизни, взмокший от прикосновений моих пальцев, лежал в кармане, и казалось, что в кармане у меня лежит сердце, мне хотелось тотчас съесть его, ради святотатства и падения, ради противоречия, потому что я всегда поступал против собственных естественных желаний, превентивно остерегался Воли и бежал от нее Налево.

В этом кабаке я испытываю давно знакомое чувство: противоестественное презрение к постоянному клиенту, обслуживающий персонал презирает тех, кто приходит каждый день, будто уже полностью составил об этих выпивающих свое последнее мнение, в этом месте за столами сидят и ходят между столиков безмянные старые знакомые, с которыми мы никогда не познакомились; мы знаем их тембры, их нервы и осколки бесед. Иногда мы не любим кого-то по одному отпечатку тела в воздухе, или по произвольному звуку, а иногда желаем познакомиться с кем-то за задним столиком, с его татуировкой и выдохами, но не делаем этого, потому что боимся и потому что оправдываем свой страх мнениями персонала и других, которые так же, как я, делают обо мне и моей тени выводы сквозь каждое мое движение.

Его зовут Кетер<sup>20</sup>, венчик; небо, в которое я смотрю; у него есть человеческое имя, все об этом знают, итак... подождите, я войду в нужное русло, смотрите, я вхожу в нужное русло, видите (?), я уже сел на закабаленное мною место, рука сомкнулась на теплом бедре кофейника, коричневая струя его мочеиспускания заполнила полость, я открываю дневник, сейчас все станет понятно... ради разоблачения, подспудно желаемого приговора, мне хочется, чтобы каждому сидящему в этом зале стала предельно ясна моя история, мне надоело, что другие постоянные посетители с их кофейниками, драмками и кружками додумывают меня, хочу, чтобы они узнали все. Я пребываю для них в славе Пишущего, постоянно что-то стучащего на

---

<sup>20</sup> Одна из сфирот каббалического Древа Жизни.

клавиатуре, а иногда вытирающего с нее пролитый кофе; кто-то заглядывал мне через плечо, но они ведь не могли знать, насколько я правдив в той или иной строке, добрая часть смысла растворяется в шуме играющей музыке, какая-то часть не парализует чужой рассудок, а какая-то оседает внутри и коверкается; я знаю, что они пытаются понять мои истории так же, как я придумываю их, сидящих от меня по соседству. Я думаю, что мужчина за столиком Б-6 (конечно, мы вынуждены придумывать координаты, раз уж мы анонимны друг по отношению к другу), который читает Карра, пытается бросить курить, потому что курить вредно, но курит, потому как у него нескончаемо случается что-то плохое, я бы сказал, что он влюблен, но это не так. Его печаль не протекает из одного источника, каждый день он грустен от разных причин, курит по-разному, иногда разные марки, иногда он зеленоват от каких-то заплесневевших шрамов, а иногда розов, как шанкр. Гермафродитичная дама однажды читала Ведангу<sup>21</sup> за столиком Е-8, но она ничего не внемлет из Веданги, вероятно, у нее был роман с каким-нибудь индологом, но это было очень кратко, и после этого она совсем перестала ухаживать за собой и скрывать двойственность своего нутра. Двоедушие слишком естественно, чтобы мы думали о нем. Г-14, большой и круглый стол, напоминает дряхлой девчужке с жиром внутри живота о маминых похоронах. Игра в угадайку была бы забавнее, не живи мы в век сотовой связи: иногда из конца в другой конец зала долетают целые исповеди, которые, обращенные одному лишь адресату, находят понимание в нас; когда исповедующийся злится (мы видим это, в отличие от адресата на другой стороне волны), мы понимаем, что поняли из исповеди больше, чем тот, для кого она предназначалась. У мужчины Д-45 в душе живут крыски; он носит ожерелье из крысиных голов, чтобы тело сопоставилось с духом.

Я для них странен тем, что не пытаюсь оттенить свое Я, спрятать его, при этом не относясь к простецам, которые откровенно беседуют в свои телефоны; самые умные понимают, что мои фокстроты по клавишам – это ложь, замануха для кабака и тех его жителей, которые хотят лучше узнать своих соседей. Подчас мы пишем друг другу письма на салфетках, когда желаем эксгибиционизма, иногда мы умираем, и кто-то прикалывает к нашим лицам эти же салфетки, чтобы не видеть наши мертвые лица до той поры, пока официанты не уберут труп. Осоловевшая от смерти девочка расклячила ножки, мочевого пузыря опорожнился перед путешествием в Рай, это напомнило мне случай, по которому я потерял тебя, когда я опоздал на важнейшую встречу, потому что в метро, Чеховская, выход к левой стороне Пушкинского кинотеатра, мужчинка отливал на умерший эскалатор с таким самозабвенным видом, что я уделил ему пять минут в восторге от его смелости и в волнении, чтобы милиция не удостоила его глазами; я смотрел на него, пока опасность не миновала, и он не застегнул ширинку. Тогда я побежал вперед, но было уже поздно, и мы с тобой разминулись, а я тебя люблю; и никто в кабаке, никто и никогда и нигде не различит во мне любящего, потому что у меня нет своего голоса, потому что я пишу Нечто неопределенное, налевой стороне (откуда нет возврата), я разделен на великое множество Я, но при этом не шизофреник, потому что написанное мной обращено к патологии, потому что последнее мое творение кричало в воздух о снежном дне, сквозь который шла девушка, шла сквозь погост на могилу матери, и случилось так, что под этим бледным зимним солнцем, которое похоже на воспаленную печень или рану круглой формы, которую обильно облили перекисью, она встретила тех неуспокоенных эротоманов, которые и после гибели не могли успокоить себя; один из них, кишки вокруг шеи которого были орнаментом красных и бурых тонов, заломил ей руки, а другой, похороненный в шинели, и

---

<sup>21</sup> Условно – руководства по шести отраслям знания, предназначенные для правильного проведения ведийских ритуалов.

оттого выползший наружу в шинели, задрал ей юбочку, а потом подскочил третий, и покрыл ее сзади, как пес собаку, и закусывал свои губы от боли во время этого; понимание, что сломанная шея не позволит ему никогда покрывать кого-нибудь иначе, кроме этой собачей позы, никогда-никогда-никогда над кладбищем не взойдет нормальное солнце, похожее на солнце, никогда ты уже не будешь мне улыбаться, и поэтому солнце, как круглая рана, но в этом кабачке, где обо мне черпают лишь из истории об изнасилованной, все думают, что я рожден ради курения, вульгарного псевдо-интеллектуального презрения к жизни и живым, мочеиспусканию, кровосмешению, деторождению; лампа в кабаке очень похожа на щенка, приколотого к потолку длинными иглами; щенка, во внутренности которого инкрустировали лампочки, и свет истово пробивается сквозь медленно утончающуюся кожу и выпавшую шерсть. Это был щенок ретривера, а в некурящем зале – щенок далматинца, ярко-белый свет с черными пятнами на грязном плафоне; на самом дне стеклянного резервуара мертвецы усохших бабочек, ночных пауков, а еще – асфиксичная девушка, от несчастной любви сморщенная до размеров залупы, она лежит в лампе, животом к стеклу и пиздой к посетителям, а спиной к источнику жара и света, и «солнце мертвых» режет огнем ее голую до позвоночника спину. Когда я говорю все это, не стоит думать о «метафорах» и «метастазии моей души», не стоит думать, что я отношусь к сюрреалистам, ведь я сообщаю о Левом городе, том легочном клапане Москвы, где интенция к Злу неисчерпаема, где хрупкая человеческая жизнь становится стеклом, где чудовища фактурны и не являются плодом воображения, а девушка, похороненная в гроб стеклянного далматинца – наша повседневная реальность... если же кто-то спросит, почему столь рациональный, даже циничный голос, как мой, может исходить из этой трущобы, то и на это у меня будет достаточно простой и ясный ответ. Как я сказал, у него есть человеческое имя. Больше, чем любовь к мужчине, меня огорчало другое; то, что в этой любви объекта во мне было больше, чем объекта в самом объекте, иногда мне казалось, что я мухоловка, которая съела свою возлюбленную муху; долгая кокаиновая зависимость, которая расширила мои ноздри до размера Вселенной, привела мои ноги к одному из тех притонов, где торгуют настоящим страданием, и это тот самый кабак, где официанты испытывают презрение к постоянным клиентам, где я так часто бываю, где пребываю сейчас. Но это незначительно, раз уж мне надо развернуть кольца перед каждым, я обрисую Альфу этого приключения, медленно предсказывая ее Омегу, давая каждому домыслить мой итог, который знаменуется самоубийством.

Мы познакомились, когда я сказал, что «не хочет ли он выйти за меня замуж(?), а если его волнуют какие-то приличия, недавно у меня появился женский труп, за которым я ухаживаю с аккуратностью Фиша<sup>22</sup> и прочих», и если он не желает даже для самого себя признавать, и «что судьба твоя выйти замуж, а не быть женатым, ты можешь будто истинно жениться на ней, а я просто буду ее вторым мужем». Это был мальчик, внутри которого жил котенок – на момент нашего знакомства это был ласковый зверь болезни, глубокой психиатрической травмы, и я гладил его по шерсти, рассказывая ему о трупах, солнце мертвых и мертвой женщине. Он истинно верил, что в нашей спальне и в нашей постели живет женский труп, и что когда-нибудь силой двойного семени, мы оплодотворим ее умершую матку. Когда он ходил в кино, то мыслил, будто она с ним, будто она его жена, а я – ее муж. Гораздо менее страшным для него было быть некрофилом, чем любить мужчину, хотя бы потому, что некрофилия была игрой, а его любовь текла истинно; как любой другой, он боялся истинных интенций, и поэтому претворялся некрофилом. Мы оплодотворяли подушки, играя, что их складки – ее ляжки; мы

---

<sup>22</sup> Известный серийный убийца.

целовались, но оставались вне Содома, его признания в любви были далеки от признания гомосексуальности. Как я говорил, мы расстались из-за моего опоздания: в тот день врач признал его бесплодным, а наша мертвая нимфеточка забеременела, он сказал мне «я лишний, потому что есть ты и она, это не наш ребенок на троих, а только твой и ее», и как бы я не уговаривал его, что факты живут лишь в грудных клетках, что моя любовь не может быть выражена семенем, он лишь плакал в ответ и ничего мне не отвечал. Напоследок он будто потерял свой интимный дневник, в котором высказывал себя максимально честно, а я делал вид, что случайно его нашел, хотя, конечно, мы очень подстраивали судьбу, чтобы помириться, он разыскивал повод простить меня за отцовство более яростно, чем я – искал слова извинений. «Случайно» раз за разом мы оказывались в одних и тех же местах и комбинациях, но потом понимали, что наши рты ничего не скажут «случайно», слова порождены усилиями, а мы не умеем говорить. Слишком долго мы вращались в некрофилии Сансары, дабы уметь открыть рот. Ни язык ротовой полости, ни язык любви не МОГ «случайно» сказать самое главное, они лишь болтали о всякой ерунде, вроде холокоста и умерших детях. И чем более полно я был парализован любовью, тем меньше и меньше о ней говорил и был способен говорить. Наш последний диалог, спустя уже год с того дня, когда я нашел его дневник и все не решался прочесть, был о пуделях, ведь пудели такие, такие, такие, он сказал мне «...», я ответил ему «...», он отреагировал Так, а я не понял его знака, потому что любил, а он не понял моего непонимания, как знака любви, и подумал, будто я оскорбляю его, а я не поймал этого и оскорбился, и он сквозь свою любовь увидел мою оскорбленность, как оскорбление. Нам почему-то не удавалось поцеловаться «случайно», рядом всегда оказывались прохожие, проститутки, полицейские, моя жена... на ее день рождения он лежал в моей постели, конечно, «случайно», мы не разговаривали несколько лет до этого и у нас никак не получалось сократить дистанцию, ведь стоило начать с самого начала, а так как все заключено в кольцо, нельзя поймать начал, но мы лежали в постели, потому что наша бывшая общая жена позвала его, и нам стоило с чего-то начать, но мы не начинали, потому что признаться в чем-то сложнее, чем трахать труп или обратить живого человека в труп, я был полностью в сфере его запаха, а он моего, мы корчились и оскорбляли друг друга, но оставались в одной постели, объясняя этой летней духотой, что жара, как сфинктерная мышца обхватила наши шеи, и мы слишком безразличны друг к другу, чтобы разомкнуться и разойтись в разные постели. Я жил в четырехкомнатном гробу, а сейчас он лежал на моей подушке, но прошло уже столько лет, что нам молчать было более прилично, чем говорить; быть с кем-то на одной подушке совсем не стыдно, если ты претворяешься безразличным; я слишком любил, чтобы пытаться прижать его к Нирване или в логический узел, какой-нибудь фразой из строя «зачем лежать с незнакомцем?», он же тоже ничего не говорил, боясь одним своим словом зачать во мне Таковую реакцию, которая будет трактоваться, как безразличие, а этого бы он не вынес. Его распирало от боли, когда я говорил хоть слово, потому что слова были не такие, как он себе выдумывал, меня распирало от боли его молчание, потому что я трактовал молчание, как «плохо», а он, как «плохо» трактовал слова. Наши противоречия были спаяны, как спаривающиеся медведи, мы безразлично лежали как, конечно, и лежит один безразличный подле друг другого, как подле трупа труп, и наши гениталии разбухали от безразличия друг к другу. Наконец, я сказал «давай найдем еще одно женское тело?» и он ответил «с меня хватит», решив показать этим, что больше не хочет два обращать в три и хотел бы довольствоваться лишь мной, но я обиженно выдохнул, потому как трактовал это словно даже какая-нибудь мокрая щель не способна принудить его к нахождению рядом со мной. Я встал, чтобы покурить, а он как раз в эту минуту решил, что стоит бросить курить; как вы

понимаете, противоборство курящего против того, кто нет, делает любые отношения невозможны; я мог стерпеть его шизофрению, но только не это...

...наконец, я могу попытаться начать его дневник, я пытался это много раз, много лет. Теперь я почти готов, отыскав себе самое мерзкое из имен, тел, обрастая самой пугающей из репутаций, в самом хлевном из кабаков, я мог начать и вот: *...я начал вести дневник, потому что однажды прочел отцовский дневник, ради того, чтобы когда-нибудь кто-то прочел мой, и, может, это изменило бы его жизнь так же, как тогда изменилась моя, ведь никто не читает дневник Постороннего, а значит, укравший мой дневник, будет заинтересован во мне... край моей психики так хрупко, что я не могу даже представить выражения любви ко мне в какой-нибудь нормативной мелочи, даже в поцелуи или чем-то еще, слишком объективно говорящем обо мне; скорее уже я поверю, что меня любит тот, кто украл мой дневник, кто ударил меня этим, кто засунул руку в мою душу и вытащил оттуда дневник, чем слова «я люблю тебя», скорее я поверю тому, кто боится выпустить всякую мелочь, желает видеть меня, когда я отливаю, кому больно не вобрать какую-либо часть меня, самую незначительную, чем тому, кто купил мне часы на цепочке, не знаю, как этот крой сопоставит, если один и тот же подарит часы, а затем украдет дневник... я ищу диссонанса, я ищу катастрофы, я люблю тонущие корабли, я боюсь утонуть, я боюсь того, кто любим, я ищу любви, я хочу утонуть, я хочу бояться, я хочу на корабль, я хочу кораблекрушения, я хочу катастрофу... только любовь, которая как катастрофа – для меня любовь – а всякая другая любовь для меня лишь лексическое выражение похабного желания в мою сторону, желания раздвинуть мои бедра, найти прилипший к правой ноге член, желанию вздернуть его и придать ему жизнь, но не ради того, чтобы во мне жила каждая из частей, но ради усад, который получит ожививший после того, как он оживет; я бы хотел, чтобы кто-то притронулся и оживил его, но не ради себя, кто-то, кому противен, может быть, его вид, или кто думает, будто после соприкосновения с членом, на руках откроются моровые язвы, я бы хотел, чтобы вопреки язвам его коснулись, я хотел бы упасть лицом в моровую язву и лизать ее пологий край... я выкрал дневник моего отца в тот день, когда крикнул его разговорчивым губам «я ненавижу тебя!», и погрузился, любя отца, в этот дневник, и в тот день многое тайное о человеческих душах стало меня чуть менее тайным, я будто составил мнение о том единственном случае, в котором я буду счастлив, все возможные комбинации счастья я сузил до одной (с уже упомянутой язвой) и сказал Богу, что ничего иного мне не нужно, и если я не рожден для счастья, то легко пойму это... легко понимаю это, ведь каждый день ни у кого нет язв, каждый день нет катастрофы, я так несчастлив и мертв, но я твердо знаю о том одном, что устраивает меня, я точно знаю, чья язва мне нужна, я нашел ее, когда мертвая матка сократилась, ведь теперь я мог ждать, что он выпотрошит ее легким ударом или не выпотрошит... у меня нет ощущения времени, есть три дня и триста столетий, я знаю о круге, я знаю... <упоминание моего имени>, рядом «язва» и «катастрофа»... и поэтому я больше не могу читать, лицо мое содрогается, душа моя язвится, гной из язвы выделяется, как молофья. Сейчас мне хотелось бы поцеловать его разгоряченный анус, но окажись Он здесь и именно сейчас, я бы дал в его зубы рукой, как единственно-возможная защитная реакция на желание поцеловать в анус, будто он мог прочесть мои желание сквозь зеркало моих поволочных глаз.*

Мое сердце билось в кармане,  
куда ты убрал свои руки,  
и мы – незнакомцы друг другу -  
рану прижали к ране,

будто братаясь с болью,  
помня о том, что будет,  
что вечно рождаться станем,  
прижавшись друг к другу раной,  
что вечно рождаться рядом  
на брачной постели гнева,  
зачав друг от друга гнев,  
никогда не касаясь взглядом  
взгляда того, кто рядом.

Время измерялось стажем моего отцовства, и время действительно было кругом, тогда как мои взаимоотношения и их отсутствия с Ним – коридором – может быть, сквозной дорогой сквозь сфинктер Сансары, ко всему и ко всем Кроме сердце мое было пустой норой; темнело за окном, ведь начиналась ночь, столики медленно пустели и злая часть посетителей разошлась, не услышав моей истории до конца (без конца в кругу), но я думаю, что не от скуки, а от того чувства, когда нам хочется уйти чуть раньше, чем будет конец, чтобы сохранить в себе к чему-нибудь страсть и стремление; разве мы не желаем закрыть книги до эпилога, но дочитываем их до конца, перебарывая страх; или вынудиться из кого-то до семяизвержения, но не вытаскиваем, принужденные природой к продолжению рода; я думаю все ушли, потому как слишком страстно желали остаться, они пошли целовать своих жен, ибо хотели разбить их зубы или целовать своих жен без мыслей относительно желаний, потому что жены для них не были коридорами, а лишь точками, из которых состоит многоточие Сансары, рельсами, по которым ездил их пах, иногда стрелки переводились, иногда долгие часы поезд двигался в одном наскучившем направлении... Все разошлись, потому что их кофейники опустели, чтобы вновь заказать кофе, или чтобы не показать мне, будто я интересен им, они не оборачивались и не знакомились со мной. Так и я не оказываю облакам внимания: облаку-короне Георга, облаку-лисе, и третьему облаку, в котором я всегда тебя наблюдаю, будто моими мыслями о тебе я распял тебя среди осени, и твоим слезливым дождем мою пах, признавая в этом тет-а-тете, как я ценю не только твои нормативные объективности, но и слезные каналы, мочеиспускательные импульсы, семяизвергающие утренние молитвы в кулак.

### 3. Нож, сын ножа...

Иначе и не бывает. Особенно ясно он чувствовал это, когда держал какой-нибудь нож. Острую кровь в себе. Какой-нибудь складной нож, Сансара в миниатюре. С перламутровой или красной ручкой – не важно, как высокий или низкий лоб, угрюмость, как морщины (хотя нет, именно они имели какое-то отношение к порезам, как дыры, как глазница, задница, как морщины, как сухожилия) – он знал это точно. Отец подарил нож, потому что мужчина растущему мужчине всегда дарит нож. Но в этот раз было второе дно. Возьми и услышь гул нашей острой крови. А еще была какая-то ватная женщина, и когда у него насморк, она накрывает его с головой одеялом и заставляет дышать над картошкой, она сама выбирает для него книги и читает вслух, а ведь знаешь, ты всегда отводишь нос подальше от этого пара, и почему-то в одеяле находятся прорехи, сквозь которые свет, может быть, от ножа, но не важно, ведь ты смотришь в эти прорехи, потому как она всегда выбирает очень плохие книги, тебе так мало, а ты уже осознаешь свою скуку. Отец подарил нож. Тот был с черной ручкой или она была обмотана изолентой, он помнит только лезвие. Можно разрезать Сансару или ее части, к примеру, палец, ножу на руке, отца. Они имитируют складной нож, когда происходит соитие, отец и ватная женщина нет, но другие – да. В лагере он видел, что они имитируют нож, мальчик и девочка. Какое несовершенство. Ватная женщина и отец не так, но все дело в отце, нож от ножа не далеко пополз, и он познает отца сквозь себя. Все дело в презрении к женщинам. Но это мутное отражение в лезвии, иногда не разберешь мелочи, поэтому он округляет знание об отце, воображением замещает те части, которые нельзя разобрать. Сансара вообще мутная. Нирвана за полосой острия; случайность убийства почти невозможно, все и всегда предначертано. Он никогда не убивает, это кажется ему бессмысленным, очень детским, он осуждает глупость убийц. Но не тех, кто был гениален, какого-нибудь Фишера или Гейна<sup>23</sup> он не может осудить, ведь это были гениальные убийцы. Он видит в них отражение отца. Возможно, те части, которые нельзя рассмотреть в лезвии.

Итак, его отец.

Нет, вначале ватная женщина.

Она породила из своих складок нож после того, как нож вошел в ее пездышко и она поняла, что это нож, потому что пошла кровь. Она вышла замуж. Иногда ей снилось, что она все еще не замужем, что она все еще злокачественная целка, черствая, как хлеб; ей снилось, что она режет хлеб на своей одинокой кухне и не могла понять, хороший это сон или плохой; она просыпалось, он спал рядом, тот, кто разрезал ее и будто чего-то лишил; кажется, у нее не было ничего значимее того, что он отнял. Ее муж и его отец. Она засыпает вновь, а значит, ей хочется вернуться на одинокую кухню, где все при ней. Нож разрезал ее складочки, он поцеловал ее лишь несколько раз, но ярко помнится только тот, который она называет «можете поцеловать невесту», и дальше начинается туман. Она сразу осознала, что в ней зреет новый нож. Он резал внутренности, кувыркался, это был складной нож, иногда мальчишка замолкал в утробе, а значит, вдвигал лезвие в самого себя, хорошо хоть большой нож не дырявил ее, пока она была беременна, а может и плохо, она не знала, когда ее тошнило ржавчиной, попавшей в ее желудок с ножонка, она желал смерти, а потом уже нет. Никогда нельзя понять, где начинается, а где заканчивается это желание смерти. Он женился на ней, когда оно почти полностью обступило ее горло, а после свадьбы сразу отступило. Он женился на ней, потому что она приставила нож к его горлу и предоставила такие аргументы, что других решений уже не было – он женился на ней. Кровь на простынях, как ему было хорошо от того,

---

<sup>23</sup> Скорее всего, серийные убийцы.

что ей больно. Только и всего; он не пытался стать с ней складным ножом, он уже откинул ее, и пытался метафизически соединиться с ножом, сыном ножа, своим сыном. Уже возникала какая-то связь, когда он клал руку на ее живот. Иногда он щипал, ей было больно, но эта боль не достигала ножонка, и тогда ножонок, видимо чувствуя отца, тоже тыкался в ее грузную брюшину. Однажды отошли воды, когда он заснул и стукнул ее рукой, но, кажется, в плечо, она долго винила его, несколько лет, но на самом деле это была просто неслучайная случайность, она бы так и проспала воды, не разбуди он ее этим ударом, она проснулась. Крохотная головка выходила из нее наружу под крики, «не ори, дура, задушишь!», как ей было унижительно в роддоме, она так и не смогла никому описать. Для этого не находилось слов, в этом не было слов, она будто кусок сала в какой-то палате, все видимо хорошо, но она не любит ни его ни его сына, и они ее, а она здесь, грязная одежда, так трудно подняться, но он приедет, пусть и не любит ее, он будет вести себя подобающе, но он не любит его, и она покажет ему сына в окно, но не любит его, она будет держать нож на руках, но уже не любит его, и они втроем сядут в такси (если ничего не случится), но они не любят друг друга. Она не знала кто и кого любит или нет, но ей казалось, что на соседней кровати спит какая-то другая, неведомая, которая не рождает ножи от ножей, какая-то из иного воздуха. Она слышит, как эта другая говорит по телефону, какие-то иные слова, а если слова и такие же, то иные тембры, вздохи, другие вопросы, все совсем другое. Она подходит к окну, как болят ноги, почему-то ноги, он там, внизу, и ей нужно взять ножонка и показать его, или выронить вниз, будто случайно, она подчиняется этой необходимости, у них нет конверта, это так денежно, они вынесут ребенка прямо в пеленке, зачем же она рожала от него, он стоит внизу такой с огромной тенью, без цветов, хотя другие с цветами, он один с лицом цвета асфальта, глаза цвета лезвия, он один, а она стоит наверху с кульком и думает, как хорошо быть одной. Вот и все, что она помнит. Такси опоздало, как это все было унижительно, хотя ничего не произошло, он такой толстый, разбухший нож, будто лезвие отекло жиром, но было больно, она едет в такси, будто едет к самому своему началу и ее тошнит, но все думают, что это токсикоз или постродовая тошнота, мужчинам неясно, но ему уже это не так интересно, ведь ножонок родился. Они приходят в общежитие, он усаживается, ножонок спит, и он усаживается, а она раскляченная и немного с окровавленными ногами, но разве он подотрет ей ноги... нет, сделает, если она скажет, но она не скажет, а он не подотрет, какой грязный пол, но он не увидит, а если слишком лень говорить об этом, слишком все это несвеже, как рыба на базаре. Она не говорит. Как туманна эта Сансара, а он почему-то размышляет, как туманны его мысли, она смотрит и иногда ненавидит. Вот и все, что нужно о ней знать. Безымянная самка с фурункулами вдоль ушной раковины.

Его отец. Он забрал его из роддома, потомство ножей обогатилось. Уродливость обрюзгших щек и заплывших лопаток. Нет смысла срезать до красоты, есть только она. Когда-то давно он был болен этой легочной болезнью под названием гомосексуальность. Четыре книги, мануальная терапия и свадьба будто все вылечили. Симптомов больше нет. Побочным эффектом полное отмирание чувствительности. Осень входит в сердце каждое утро. В носу спит ночь. Сансара – это гаротта. Ему вспоминается, как он хотел ударить Своего отца. И чтобы у того шла носом кровь. Теперь этих фантазий нет. Желание крови укротила дефлорация, будто бы даже приятно. Он дарит своему сыну нож. Просто так. Интенции отрезаны. Связь с миром отсутствует. Это мальчик, а у мальчика должен быть нож. Самка готовит, он поедает. Он бы не ел, не готовь она, кажется, он даже не хочет есть, но она готовит, и он ест. Ведь когда она родила, он забрал ее, а хотел оставить. Но в сопротивлении нет смысла; после того, как он излечил свою настоящую любовь, смысл отсутствует.

О, огонь моего сердца, твои глаза были, как темнота... он не пишет стихи с тех лет, но это и хорошо, плохие были стихи, зато он дарит мальчику нож, в мальчике он видит какое-то зеркало давних лет, но завешивает зеркало черной тряпкой. Как все несчастные отцы, единственным его способом выразить горе – это быть безразличным к сыну. Два удара по ее ебануто-смешным щекам не считаются. О, Сансара, как ты была туманна... в нем утонул мальчик со сверкающими глазами, жадными к счастью жабрами, пальцами карманника. Зато он стал женатым отцом, с глазами полными горя, жабрами, засоренными лезвиями, карманами полными стыда; пальцами, что удерживают нож по ночам, дабы всадить ей именно туда, куда надо, а не в задницу. Он всегда выскользывает из его пальцев и норовит именно в задницу. Какое-то подсознание; или как клин гусей, всегда возвращающихся домой. Но он перечитывает мануалы по избавлению. Болезнь отступает. Просто дрожание пальцев, все – никотинные облака, о, Сансара.

Итак, нож, сын ножа. Он как зеркало старых болезней. Распорол гомофобию. В этом нет страха, или ударил мать, пока отец был где-то. Его глаза видели умерших собак и кошек, но это было не гениально, вот если бы она лежала на кровати, и если бы в ее кишках жили собачки, если бы кошечки разорвали ее череп изнутри и вывалились на кухонный стол! Он не стыдится отражать своего отца. Напротив, в его скованности находится какая-то чувственная аскеза истинного лезвия, но Он не может выражать ее тем же методом, что ожиревший нож. Нет, тут совсем другое. Это черное зеркало, которое отражает наоборот. Лежа под незнакомым педиком, облизывая тот шов, который коричневым цветом проходит через мошонку и заканчивается членом, он не режет уздечку, не отрезает и головку, нет, его холодный удар совсем иного толка; он просто не такой, он лежит с теми, кто ищет в нем такого, но нож не такой, как этот педик или отец, он лежит холодный и холодно вылизывает шов, интеллектуально осознавая происходящее и понимая, что эти мужчины даже в грязи потаенно ищут любовь; он знает, что не такой и никогда не даст им любви, но ему хочется кого-то влюбить настолько, что затем правдой распорет горло. Такое случится... когда осенью она выйдет куда-то, может быть, ей будет несносно, когда (он слишком хорошо это знает) отец перестанет скрывать печаль, когда он спросит отца «как его звали?» и тот искренне ответит, когда все это вскрыется, нож положит свое лезвие на его шею, он предложит своему отцу смерть, потому что это единственное, что стоит подарить этому измученному существу, этому неизлечимо больному лечением от себя самого... может быть, тот согласится. А если нет, он сделает это против согласия. Ведь гомосексуальность в нем так же не умирала добровольно, он мучил ее ложью, он убил в себе любовь, а та не хотела умирать. Некоторые вещи нужно решать самостоятельно. Он срежет Сансару с его шеи. Он лезвием подденет содержимое его ширинки и произнесет Тайное Имя, и содержимое ширинки оживет. Так всегда случается. Он должен сделать это, ведь его отец не спрашивал, хочет ли ЕГО отец, чтобы ЕГО сын представлял, будто бьет своего отца... так и нож, сын ножа, не спрашивает СВОЕГО отца, хочет ли тот умереть. Просто иногда сыновья заходят дальше. Эволюция. Один удар и полная Нирвана. Или нет, еще один круг, нужно выползти, харкая кровью, на кухню. Нирваны не будет для убийц своего я. Еще одно воплощение ножом, еще одна глупость, еще одна попытка складного ножа никогда не сложиться с самим собой, а резать и только и делать, что резать, ничего иного.

Когда-нибудь нож, сын ножа, женится. На собственной рукоятке. Окровавленное рукоблудие, сидя на спине (на клетчатой пидорской рубашке) своего самоубившегося отца; а потом она вернется. И он так же назовет ей Тайное Имя, что рвет Сансару самоубийцы и оживляет Нирвану, и она все вспомнит, в ней все оживет и встрепыхнется. Это воспоминание станет ее лезвием; он слишком презирает эту

самку (потому что он – его сын, и в нем – его презрение), что позволить ей думать, будто она одолела правду. Она будет стоять над телом вдовой, над телом вдовца, который убил своего супруга мануалами по устранению гомосексуальности, но уже ничего не сможет сделать. Даже ничего не сможет сказать. А если и скажет, то никто не услышит. Он не может позволить ей закончить иначе, чем так, ведь она родила его и это достойно ненависти. Родила от того, от кого нельзя рожать, зная об этом, но родила, а он не хотел рожаться, а другой не хотел вообще резать ее, она все знала, в этом ее вина, пусть смотрит, как кровь течет по клетчатой рубашке... он должен умереть, сын ножа, должен вложиться в собственную рукоятку, должен вогнать в свою грудь по самую рукоятку, узнав правду своего отца и представить перед смертью, что он родился в нормальной семье, он – подушка сын подушки – в семье тех, кто утонул в омуте странных переживаний относительно своих симптомов, в семье тех, кто не случился, потому что нож вышел замуж за эту самку и разрезал ее первой ночью... они все должны, вложиться в собственную рукоять. Потому что это Сансара, братец, и здесь не случается случайности без последствий.

#### 4. Рождение Дома дер Грюн.

Какая-то женщина родила щенка, из плоти которого вырос дом. В иных проекциях этот дом стал Зеленым Домом, в иных проекциях женщина была мужчиной. Я не знаю имени этого мужчины, но зато знаю, что ее дядю звали Фрэнком и он был «индийским британцем» (ее история развернулась в моей голове около двух лет назад, как обычно и случается, мгновенно я узнал о ней все и всей ее родословной), поэтому пусть отца Зеленого Дома зовут Фрэнк. Условно. Фрэнк дер Грюн. Первый колонист неизвестной зеленой земли. Возможно, он проснулся, вырванный из постели неведомым ветром, на отлогом пляже с черной землей. Густое солнце полоскало красными полосами его лицо, безмятежное солнце, но лучами напоминающее краснотелого паука. Все воспринималось сном, ретроспективой в далекую Индию, тягучее море протягивалось к его ногам, а затем отползло, где-то за спиной начинался лес, влажный климат изглодал стволы, под верхними слоями древесной кожи скребутся огромные насекомые. Звук, с которым они ерзают своими телами вдоль влажной древесины смешивается со звуком волн, и напоминает содомию парадонтолога и поверхности десны, чавкающее омерзение с привкусом крови на языке. Фрэнк дер Грюн, вероятно, всегда был практичным, я не вижу полета его мысли, он умел отличить созвездие Бедря от созвездия Матки и выстроить курс. Море слизнуло обручальное кольцо, освободив палец. Он так и не увидел своего первенца. Желудок давал о себе знать зеленоватыми волнами, пару раз Фрэнка вырвало, и он почему-то инстинктивно вырывал ямку в сырой земле, как могилу для своей блевотины. Ему вспомнилось, как в Лондоне во время желудочных колик он всегда мямлял мошонку, и это помогало. Нащупал ее и теперь, ощутив ее скользкую от пота поверхность, ему стало спокойно, он вырыл для нее норку и погрузил в землю. Черная, густая женская дырка, мангровая вязкая тошнота поднималась от мошонки к его горлу, вновь тошнота. Беременная Астри легла на бок, позволяя трахать себя и щупать пульсирующий живот. Выдрав из этого живота клочок, Фрэнк мог досрочно увидеть ребенка; если бы Фрэнк выдрал из нее кусок, то сейчас бы находился здесь, имея в голове лицо своего продолжения. Мясистая, похожая на куриное филе Астри, богатое приданное, оспа оставила на спине Фрэнка рытвины, черная земля – как шелестящая промежность индийской нации.

Он собирал ракушки, большие, немного аномальные и любовался их переливающейся бесконечностью. Иногда его выворачивало в море. Солнце оставило шелушащиеся отпечатки на лице, правительство сократило ему жалование, и поэтому Фрэнк не удивлялся дурным снам, запах Астры по ночам порождал бешенство и вызывал у него приступы токсикоза. Его вновь вырвало. Он отвернулся от своих раковин, чтобы не забрызгать их, ему показалось, что он относится к горе ракушек, как к ребенку, и тогда ему стало ясно, что он никогда не увидит сына. С силой ударив море, он представил, что это упругая, беспробудная Астри, как она умирает, как Фрэнк извлекает из ее глупого нутра сокровище, откладывает его в сторону и кормит с пипетки кровью матери, как ухаживает за переливающимся новорожденным, постепенно скармливая ему жижеющую Астру: вначале эпидермис, затем мягкие органы, кровь, молозиво. Как он обучает сына любви, трахая на его глазах раскуроченный круп роженицы. Его стошнило в море, как на ее лицо. Нескончаемый зуд насекомых в деревьях, знойное черноватое солнце, море, промокшая от пота одежда. Он растер мошонку до красноты. Вновь воспалились рытвины оспы. Фрэнк заснул, перебирая ракушки, и вновь проснулся от сильного морского храпа. Разлепив глаза, он с силой ударил по земле, желая раздавить голос Астры, посмотрел на море, как море крови, вытекающее из ее разможенной полости, и увидел море, как кишение огромных охрово-бордовых

многоножек, – видимо так и выглядят кишки, меж которых замурован плод. От моря пахло портовыми бродягами, которые поедают друг друга. Вновь задремав, он увидел, как прогуливается с Астрой вдоль линии моря и продает бродягам, и те, вынудив хозяйство друг из друга, направляют его в Астру, ее крик, ее крик, как море, как море, протяжный Левиафан, крик о тщетности жизни, крик изнасилованный в Индии женщины, крик красного моря и его лязг, с которым многоножки передвигаются по телам друг друга и царапают хитиновый слой, как они выползают на берег, покрывают собой Астру, воткнув мандибулы в ее брюхо – Ха-ха! – он уже вытащил оттуда мальчика; воткнув мандибулы в ее пустую бездушность, опорожнив, вкус поцелуя Астры всегда напоминал крахмал... тело Астры валяется около моря, и многоножки целуют внутреннюю часть ее бедра, лапками ощупывают вход, три здоровенных, с локоть, многоножки медно-багрового цвета, будто воспаленные, с умными глазами догов, налитыми кровью глазами, целуют ее и растирают своими лапками створки ее пизды, затем проникают внутрь, и теперь тело Астры пучится изнутри, и похоже, будто начинаются схватки, но Фрэнку нет нужды помогать ей, ведь ракушки уже вышли наружу, он смотрит, как ее корчит изнутри, как бьются в страхе темноты эти многоножки и не могут процарапать жирную Астру, не могут выбраться наружу.

Фрэнк подошел, чтобы увидеть ее ненавистное лицо. Внутри ее глаз отпечатан образ их лондонского дома, и этот отпечаток стал прототипом Зеленого Дома. Но он видел свое прошлое только секунду, затем красная головка вырвалась сквозь женский глаз, и Фрэнк улыбнулся навстречу окровавленным мандибулам.

Сок течет по стволу дерева Клифот, источая аромат беды. Фрэнка пробуждают крики, а потом он понимает, что крики – это музыка. Орфей – облезлый призрак себя прошлого, опутанный нитями, окутанный трупными мухами, с черными безднами глазниц в саване тысячи шелестящих крыльев – сотрясает преисподнюю в поисках падшей возлюбленной. Это музыка-смерть, тугой обруч; своей мужской рукой Фрэнк трогает тугой свой живот, надутый, будто женскими соками, распухший, будто женское брюхо – истеричные видения ударов по жирным складкам живота, чтобы пальцы увязали в сале, детской полнокровности – это музыка Шумана, истинная музыка-смерть, прилетевшая к пляжу с изменившимся ветром. Откуда-то из Храма Мандибул, из центра этой земли, где кровеносная система вселенной выпучена наружу, где строители комплекса кирками прогрызли тонкую божественную кожу, и наружу вырвался красный смерч, как потоки крови, кроваво-медных многоножек. Первое поколение истинных жителей этой земли были рождены из яиц многоножек, что отложены под кожу строителей Храма Мандибул; тысячи максил изъели узорные рукотворные фрески, распыскав желчь, сблевав свои жидкие нервные узлы, истинные властители этого места окислили Храм Мандибул, осклизлили его, сделали священным... в узоре законсервированных человеческих трупов, будто стеклянных, отброшенных хитиновых пластин, въевшихся в стены зеленоватых желудочных переживаний, высохших под солнцем и напоминающих эмаль. Фрэнк видит, глядя в черный анус солнца, хозяина этого места. Это напоминает диафильм, предзнание, сверхзнание: бледные тонкие пальцы страшной руки спят, погруженные в трещины храма, изящные длинные тела ползают по фалангам в темноте этих трещин, откладывают яйца под его божественными ногтями; пятно света высвечивает запястья, испещренное шрамами цветом и формой – позвоночники, поперечно выпирающие венам, Непроизносимый, истинное имя которого подвластно лишь только шелесту сколопендр, пришел из лопнувшей земли, чтобы стать священником Храма Мандибул, он нашел свое призвание в убийстве колонизаторов... их детей, особенно, их детей. Детские трупы лежат в его камере, опутанные стеклянной слюной, как фарфоровые куклы, с выеденными

глазными яблоками, в темноте этих пещер клубки Его детей неустанно множатся; тело – в бесформенных одеждах и шелестящих массах, он – тот самый Орфей Шумана – в саване мушиных крыльев, Неизвестный, с лицом спрятанным под шарфом гнили, трещин, хрустальных масок, мух и многоножек; многорукий служитель Храма Мандибул определял все в этом месте – убить этих или породить новую стаю – как ярый сын Темного Отца, он почитал порядок, гниение и древо Клифот, бывшее сердцем этой земле, бревна которого – стали остовом Зеленого Дома, царит в котором Непроизносимый и верный любовник его – Фрэнк.

Пришло время для чего-то чудовищного, неизвестного, но важного. Фрэнк знал это. Пришла минута забыть Астру, но не просто забыть, а как опростаться – уничтожить каждый ее гул внутри себя, всякое напоминание о ней, всякую зацепку. Живот неустанно болел, тошнота подталкивала Фрэнка к средоточию музыки, вдалеке от пляжа, сквозь влажные и живые леса к Храму Мандибул. Он уже знал, что станет Матерью Стаи, будет оплодотворен Непроизносимым... Шуман – Шуманом кричит эта земля, музыкой, стонами, смертью, фугой, завывает ветер в мангровых зарослях. Фрэнк слышал Шумана в светских салонах, в лакированных туфлях, ноги в гробах которых затекают и источают нестерпимую вонь, в светских салонах, где англичане ищут свои шансы. Это воспоминание быстро испарилось, так же быстро, как пришло. Вновь в голове Фрэнка крутилось «Я будущая Мать», нелепость этих слов не проникала внутрь, будто мысль, дух и тело находились во власти сладостной анестезии, будто ядовитые мандибулы морских сколопендр укусами остудили нервы Фрэнка. Его ждало яростное и болезненное удовольствие родов, множество красноватых тел выйдут наружу сквозь его кожу, образовав в ней дыры; в эти же дыры, гноящиеся и пенящиеся краснотой, будут возвращаться детеныши две первых недели, чтобы дремать в тепле своей матушки; слизь и смрад не дадут Фрэнку умереть от болевого шока... он уже предвкушал, как поры разойдутся в стороны, как разорванный кожный покров станет Домом, как сотни детей наполнят его тело шелестом и многоголосым хором, как они будут испражняться и срыгивать в его эпидермис, как покидать убежище каждое утро, как он будет скучать по ним и ощущать себя опорожненным днем, как вновь будет наполняться по вечерам, как будет убаюкан их возвращением, как будет чувствовать себя гнездом – вначале необходимым (детеныши покусывают его в знак любви), а затем покинутым до тех пор, пока Непроизносимый вновь не оплодотворит его эпидермис; разрушенным, всеми оставленным гнездом, раскуроченным крупом, спящим в Храме Мандибул, в камере его пложений, в нерестовых жидкостях, дерьме, блевоте, с выеденными потовыми железами, с выгрызенной кожей, испещренной норами и потаенными ходами, вероятно, слепой, лишенный движения, лишенный других желаний, кроме как вновь – быть населенным гнездом. Покинутое всеми жилище исходит гноем на каменный пол. Раны смыкаются, а затем легкая пленка, склеивающая ее края, вновь лопаются, источая музыку Шумана, смерть, ее музыку и ароматы.

Непроизносимый анестезирует кожу, затем откладывает в нее яйца, вкладывая в нанесенные раны яйца те, что были отложены под его длинные ногти. Запястьями с шрамами-позвоночниками касается лица Фрэнка, и нос Фрэнка чувствует запах известки, белил и пыли, покрывающих руку Непроизносимого толстым слоем, и делающих тело Непроизносимого мертвенно-рукотворно-скульптурно белым. Вначале кожа ничего не чувствует. Уши слышат, как где-то играют на флейте, на теле огромной многоножки, это Непроизносимый выдувает свои желания в отверстия опорожненной от нервных волокон хитиновой сбруи, культивируя рост потомства. Затем, когда анестезирующий яд успокаивает свое действие, эпидермис ощущается огромной раной, нестерпимо чешущейся клоакой, коричневатое желе, спасительно-покрывшее собой норы, будет расчесано рукой

Фрэнка, впуская в гнездовины воздух и солнечный свет. Фрэнк лежит в углу серой комнаты, солнце проникает сквозь крышу, сквозь крохотную прорезь, похожую на глаз. Справа и слева от него замаринованные в соке Непроизносимого дети, те игрушки, ползать по которым будет стая, когда выползет из своей матери; пить которую будет стая. Под стеклянной слизью кто-то еще трепещет, безболезненно спящий до времени. Здесь, в углу, Фрэнк видит шлейфы, ауры и юбки Непроизносимого, изредка оголяющиеся части его громадного худого тела, его затылок, испещренный мандалами шрамов, шастрами, рунами, язвами. Вечером, когда Непроизносимый погружается в стазис, а мухи опутывают его шею, как манто, действительно можно видеть его белый затылок. Пыль, засохший гной и белила разбавлены синюшностью старых ссадин и синяков. Руки Непроизносимого поддерживают своды Храма Мандибул, уже медленно теряющие зрение глаза Фрэнка, могут насчитать пять его рук, где-то съеденных потомством, где-то покрытых экземой и псориазом, где-то увитых четками и бусами, пыльными напоминаниями о своих жертвах, здесь, на четвертой руке, в фенечку, в мантру безысходности, вплетены бусы Астры, как вечная память о Фрэнке. Храм Мандибул опутан снаружи строительными лесами, чтобы медленно превратиться в Зеленый Дом; образ Зеленого Дома извлечен из рассудка Фрэнка, Зеленый Дом на лондонский манер, выстраивается из костей, древа Клифот и тел вокруг Храма Мандибул, пряча в себе Храм Мандибул, как огромную личинку, которая должна будет родиться на свет в один прекрасный день, съев тело своего родителя, его фундамент, его брусья, его окна. Зеленый Дом призраков, сотен усопших, сотен матерей красноватой своры, сотен человеческих детишек... Фрэнк ощущает, как чешется прямая кишка, ее жар особенно приятен для быстрой инкубации, лопнувшие внутри яйца раздражают слизистую, выталкивая первых детей Фрэнка вместе с жидким дерьмом... к концу шестого дня зрение полностью покидает мужчину, оно больше не нужно, ничего больше не нужно. Наслаждение от гнездовищ, полностью покрывших его кровоточащими ранами, напоминает наслаждение от детоубийства. Он обрывочно вспоминает Астру, ее ничтожество единственных родов, а затем забывает навсегда. Спящий внутри собственного гноя, Фрэнк боится лишь того, что может стать плохой матерью, что температура его тела слишком высокая или слишком низкая, что полость его плоти непривлекательна для личинок и растущих сколопендр, что Непроизносимый никогда больше не притронется к нему, никогда больше яйца не будут расти в буреющем эпидермисе Фрэнка, никогда больше он не узнает счастья выползающей из язвы личинки... в ночь перед родами, слепой никак не может уснуть. Гнезда вздулись пузырями, поочередно лопались, и он никак не мог найти безболезненное положение. Шумящие страдания в его мозгу играли Шумана. Непроизносимый спал, Фрэнк же боялся своими криками разбудить мужа... Храм Мандибул шелестел, гноился и готовился к новому дню.

## 5. Репрезентация.

Мне снится, что я в безымянном городе, и задача – отыскать дверь для ключа в моем кармане. Разглядываю и глазные скважины прохожих, – не подходит. Прислоняюсь к каждой двери, поднимаюсь по лестницам вверх и вниз, город похож на Амстердам, или отдаленно его напоминает – таким я представляю себе ночной Амстердам; город, в котором ночная жизнь маргинальна, но пульсирует краснотой. Небо надо мной все в черном золоте и пустое. Мне интересны, но не слишком, прохожие – убегающие вперед и таящие в небе, похожие на зефир; и кофе; вывески с неясными названиями, я угадываю по рисункам – катушка ниток и игла, эфес меча, кровать, красotka с пивом – и, конечно, это вовсе не мои прохожие и вовсе не мои двери; ключ не подходит к ним; как я – не подхожу им, и всю мою жизнь, похожую на бледную тень Эдгара По, мы с такими людьми и такими вывесками находились в разных плоскостях; я продолжаю искать... город, неизвестный мне и, кажется, меняющий очертания от одной ночи к другой, может быть, меняющиеся лишь только горизонт убаюкивает какую-то улицу прочь от моих глаз, и стоит обернуться, из этого мягкого горизонта вырвется мне навстречу другая улица. Прага ли, Брест? Я точно знаю, когда двигаюсь вперед, что впереди меня Амстердам, но что позади меня я не знаю, как это причудливо бывает в наших снах – что-то неявное нам очевидно, но иное остается темнотой – и почему-то мне кажется, что ключ мой не подходит ни к одной двери для Бреста и Будапешта, он, почему-то, создан для Амстердама, и поэтому я иду вперед. Какой же он, город, не претендующий на факт, спящий передо мной, о котором я лишь подозреваю и вливаюсь в его неизвестность(?), – не тот ли, каким я желаю его видеть, и тогда мне кажется, что я и не хочу отыскать никакую дверь, потому как найдя, сны мои прекратятся. Я не знаю, хочу ли этого. Город, как живое существо, мне не отличить даже его эпоху, но огромное дитя на двухголовой собаке продает на перекрестке брошюры святой Гекаты, и когда я спрашиваю «не знаешь ли ты одной двери, которую, возможно, кто-то уже искал до меня?», пес отвечает, что «перекресток – суть множество дверей», и я сворачиваю хаотично, почему-то, не могу даже понять куда я свернул от этого пса; ведь реальность моя расплывается и что-то я вижу медлительно, а что-то проскальзывает и комкает ночные минуты в одно мгновения, я стою перед собором, таким, каким мы представляем себе эти готические соборы, кафедральные соборы горбунов и, конечно, большую площадь перед таким собором, – я стою посреди такой площади. Мне не кажется, что где-то здесь существует нужная дверь, вероятно, я ошибся поворотом, какой большой собор, нет времени возвращаться, время мое упущено... помнишь, ты наклонялась к умершему псу и говорила ему, что рана, его большая рана на животе – зарастет(?), а я отвечал тебе что-то и как только слова рождались, мне становилось стыдно за них<sup>24</sup>, за всю их мощную рациональность, а ты сидела на земле и на твоём платье висели головки репейника.

---

<sup>24</sup> Облаченные в разговоры о дорогой одежде, а не дорогую одежду. Литераторы, дискуссии подвергающие метод, а не результат. Особи мужского и женского пола, часто стремящиеся размыть эту невидимую границу; расширить ее, поговорить о вопросе восприятия и гендерной самоидентификации. Каждый из них – если бы уже умер – возмущался относительно той последней вариации, в которой его запечатлевает память; та последняя сыгранная роль, оттеснившая все прочие. Они окружают меня. Как стены. Идя вдоль которых, я различаю мельчайшие трещины их глинобитного тела. Бывало ли, что кто-то из вас останавливался, чтобы разглядеть, как мужчина пытается завязать шнурки; не то, чтобы у него ничего не получалось, я совсем не об этом, но эти его движения пальцев, эти его дыхательные движения, эти его контуры и силуэты во время этого крошечного движения... иногда мне кажется, мы останавливаемся и пытаемся завязать шнурки, чтобы вспомнить что-то неуловимое. Может, воспоминание давно забытой боли, чтобы воскресить ее на языке; той, которая осталась лишь застывшим фактом; чтобы, быстро двигая пальцами, ощутить на них источник чувства вины или маниакальной привычки; разглядывая и продолжая продвигаться – как к маленькой смерти – к тому образу, где любовница безнадежно лежит на простынях. В

- Послушай, мне снится, что я в безымянном городе. Я брожу между его витрин, между людей, на некоторых маски, другие чем-то странны, но я не могу понять чем; там статуя женщины с песьими головами, и там, когда я в этом городе, для меня нет в ней ничего странного. Я двигаюсь по городу с особым ритмом, и, клянусь тебе, моя речь Здесь стала подобная ритмам Того города. Иногда даже – я житель Того, где странное переплетено с привычным, и мне снится, что я здесь, в этом мире, из которого как бы вырезано или скрыто от глаз все Другое. Когда я там, на улице, я постоянно что-то ищу. У меня есть ключ, и я ищу для него дверь. Вначале я пробовал каждый встречный замок или вставить в глазное яблоко, потом стал больше ощущать, и теперь, когда я иду по улицам и просто вижу дверь, я уже знаю, подойдет ли к ней мой ключ. Он не подойдет, я знаю, та дверь должна чем-то отличаться от...

- Еще кофе...

- Извини.

- Продолжай, – разрешаешь ты, мы вновь остаемся одни, но скоро тебе принесут кофе, и это похоже на моменты, когда сон разрывается и мое движение путается в одеяле.

Иногда город теряется в шуме, в клаксонах, столицах, обрастает ненужными и лживыми подробностями, которые я интеллектом пытаюсь вплести в него. Он становится озером с мусором моих объяснений, он лишается своей искренней интуитивности. Тогда – в его водах я тоже вижу людей и потаенные двери; люди плавают в своих повседневных одеждах и обсуждают сырость, а двери вмонтированы в пузыри воздуха, поднимающиеся с темного дна к поверхности, и это похоже на витрины магазинов и однодневные предприятия, быстро стремящиеся к своему угасанию. Вот видишь, наши категории вторгаются туда, и город – шумит поправками к каким-то законам, весь мой мусор заполняет его воды, отравленные реки течением все дальше и дальше уносят от меня волшебную дверь.

- Я хотела сказать...

---

Амстердаме был тот год, осень, я шел по проспекту, вокруг были люди... не ради этого ли я сажусь почти на колени посреди другого города, чтобы вернуться в Амстердам? Но если так – ради чего? Над этим бьются все настоящие писатели; не те, что окружают меня, но другие, которые постоянно задаются вопросом Возвращения в свое прошлое и обыгрывание вариантов давно ушедшего... это бесконечная эксгумация. Раз за разом из темноты будет вырисовываться что-то давно известное, уже отточное, и обрастать цветастыми мелочами. Поэтому это неинтересно читателю. Я говорю о том, что художник раз за разом поднимает из тины обломки одному ему известной статуи. У нее всегда одно лицо; одинаковое количество трещин и рук; меняются освещение и ракурсы. Я говорю о скуке, с которой читатель подходит к очередной книге хорошего автора. Отбрасывая и уничтожая эту статую, он ищет лишь оттенки утреннего солнца или вечерней гари на каменной шее, что-то новое, способное привлечь его взгляд; феноменальное, то есть – сенсационное, выходящее за рамки, обычно отведенные нам зрением; то есть – не способное к жизни, раз не представленное в ней, но желающее жить, как, скажем, граф Дракула, Сенека или истории вновь воскресающих и воскресающих антигероев, завернутых в хитон харизмы. Я завязываю свои шнурки или наблюдаю, как какой-то мужчина завязывает свои. Так как я сквозь два эти метода я возвращаюсь в Амстердам, становится ясно, что это не волшебная сила, заточенная в предмет и освобожденная моим к нему прикосновением, а что-то совсем другое, лежащее в феномене чувственного восприятия... что это за Амстердам(?), который я вижу, как только прикасаюсь к шнуркам... конечно, он ничем не похож на настоящий – тот настоящий, каким я видел его в прошлом – и лишь отголоском его напоминает; больше он похож на возлюбленную женщину или контуры черепной коробки возлюбленного – изведенный и лишь нам подчиненный город.

Я говорю, что художник не создает; он лишь разворачивает в разном освещении и выбирает новые ракурсы. То, что он всегда описывает чудовище. Спящее на дне, в омуте. Античную статую с пустыми глазами. Какую-то завораживающую смерть, зияние. Художник – это тот, кто вместо отражения, видит в зеркале Жан-Поля Сартра; завязывая шнурки, – Амстердам», – и ты отвечаешь мне, что я старомоден, обожаю свою начитанность, и на платье твоём узор из кругов и ромбов, а мне кажется, что круги – это головки репейника, кусающие твоё платье.

- Тебе скучно.
- Я хотела сказать, что выхожу замуж.
- Хорошо. Помнишь, как ты сидела у пса и думала, что это твой жених?

Плакала над его раной.

- Мне было семь.
- Ну и что... разве ты больше не ищешь дверь или у тебя нет ключа?

...только купленный в «Тиффани»; она предательски далека, я вижу ее в репье, коронованная его зубами, розовые сердцевинки репейника блистают в ее волосах; красота эта обвенчана с клоками выдранных волос, обмотана ими, уничтожена в памяти многими сотнями парикмахерских салонов; эта красота ее волос с рубиновыми и немного светяще-гнилого цвета сердцами репья... по тому, как приходит ко мне сон, можно предвидеть и содержимое города; он будто разделен и вобрал в себя множество моих домыслов о нем и распахивает свои ответы на мои вопросы. Мучительные ночи, когда погружение сопряжено с меланхолией – чаще показывает мне осень; улицы заметены листвой, а еще я вижу, как ветер подхватывает черепицу и кидает мне под ноги, и тотчас я понимаю, что это не черепица, а листья. Бархатистые шлейфы белоснежных ленточных червей в волосах дамы на осенней площади. Она обнажена, но репьи, впившиеся в ее кожу тут и там, скрывают от меня всю деликатность ее положения; я не разглядываю ее наготу, глаза мои прикованы к подвижности ее волос, оживленному белоснежному движению ее лент – будто первый отклик зимы – а потом я смотрю в ее лицо, оно так контрастно, но по пробуждению его черты рассыпаны и равно рассеяны вдоль всей поверхности моих воспоминаний. Она спросила «который час?», и прядь над правым ухом шевельнулась, узкомордый червь прополз оттуда вдоль резной поверхности ее раковины и, положив свое лицо на трагус, сказал, что «три часа, как полночь миновала», затем ушел. Она воскликнула «я опоздала!», побежала к дому, у порога встала на колени, и стала умолять ее впустить, шептать, что замечталась. Дом впустил, его дверям, поцеловав латунную ручку, она клялась – «...в последний раз»

Я видел солнце, с искривленно-плотными лучами. Оно лежало, не понятно, то ли в саже, то ли в бархате над префектурой. Небо шевелилось, как вода и было осязаемо.

Есть сны о наводнении. Будто бы в город, каждые семьдесят лет, приходит вода, и все готовят корабли; корабли стоят на площадях, люди на палубах, и ждут, когда потом поднимет их над макушками их ратуш и соборов, когда они взлетят поближе к черно-бархатному небу<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> ... Город сужается до размеров точки на горизонте; очертания его башен и богаделен стираются, его тени уже напоминают мигрень, хищно спящую в раскаленных складках наших мыслей; не долетают медные языки его колоколов, улиц и свист ветра в коллекторе. Отсюда уже не разобрать город, Париж ли, Лондон ли, его характерных морщин, его голоса, его старческих движений, бормотание жителей. Все прекращается в окружающем шуме нескончаемых волн. Моряки провожают исчезающий город взглядом; в этих взглядах воображаемая тоска; моряки не привыкли заглядывать глубже, они лишь приносят океану жертвы, они не догадываются, что спит в туманности их души, они тоскливо прощаются с городом, как поколения моряков до прощались с его дымкой и силуэтами на горизонте. Так исчезают женщины, чтобы вновь в других лицах встретить их другими лицами в иных городах; клятвы и сентиментальные вопросы «как мы назовем ребенка?»; жизнь моряка подобна жизни поэта, между двумя путешествиями будто рваная рана, жизнь как трепещущий на ветру край глубокого пореза, бездна, даже небытие, лишь сплошная мысль – что, если море больше не призовет к себе и больше не потребует жертвы? Каждое погружение в трюм проходит под этой мыслью; кругосветное путешествие и открытие Индии, что – если на этом Всё? И если моряку остов доков, вбивающиеся вдаль волнорезы способны напомнить о настоящей жизни, поэты лишены этих видимых очертаний, этих символических знаков и буйков, каждое их мгновение перекачивается в другое, и каждое из них подчинено надежде вновь оказаться в кровотокающем центре. Обочина раны. Женщины не могут скрасить этот штиль, их потные тела с различимыми в полумраке мелями и коралловыми островами становятся игольным ушком, сквозь которое продевают печальную тоску и сквозь которое рассказывают свои истории. Женщина засыпает, согреть в себе семя, а моряк отправляется дальше,

- Зачем ты выходишь замуж?

- Ваш кофе.

- Спасибо. Счет. Продолжай; пятнадцать минут.

- У меня есть лишь одно объяснение. Пошлое, какое-то литературное, но мне кажется, что литературы во мне уже давно больше, чем каких-либо настоящих суждений. Все во мне в словах, я думаю словами, связываю их в цепи, выстраиваю и нагромождаю. Иногда мне кажется, что этих снов нет, но я придумываю их каждое утро. С этой возможностью все выразить, – но каждый раз об одном, лишь в разной форме, – я уже не могу понять, сказал ли я это или словом выразил что-то настоящее. Получается, что все мои слова, все-все, сказанные за жизнь, стянулись в единый монолог, какую-то одну книгу, которую можно разбить на главы, периоды, отдельные объекты и ухищрения, но вся она будет об одном... когда я говорю, то есть пишу в Нее, что-то, что сама эта книга считает ложным, слово мое комкается и становится невнятным; иногда же Она сама мне подсказывает, и эти подсказки я трактую, как сны. Как шизофрению, депрессию, бедствие. Но и отсутствие – как шизофрению, депрессию, бедствие. Я несчастен в обоих этих положениях – когда делаю Делание моей жизни, и когда свободен от него. В первом я чувствую, как постоянно рефреном твержу одно и то же, о каком-то Амстердаме, о какой-то болезненной точке... если по Фрейдю, о чем-то подавленном. Я должен бы радоваться освобождению, но, когда этого нет, мне пусто. Я будто ничего не делаю, чем бы не занимался. Мне противна эта книга; мне страшно ее отсутствие. Понимаешь?

- Нет.

- Вот и сейчас. Я выстраиваю перед тобой и пытаюсь объяснить. Но это ложно, это лживая глава, она создана моим интеллектом в угоду пониманию. Я ощущаю тщетность. Я сижу с тобой и не ухожу лишь потому, что полностью лишен сил, и остаться мне легче, чем уйти, хотя уже и ясно, что мне не удастся сказать ничего дельного. Сегодня день ложной Главы. Сегодня я выпущен из собственного бытия и сегодня меня нет. Для Делания сегодняшней день и наш разговор отсутствует. Я люблю тебя, но как это бессмысленно. В дни отсутствия даже это ведь бессмысленно. Я люблю тебя ту, у собаки, когда ты в репейнике, а мой интеллект говорит, что, наверное, дева в репьях с белым ленточным червем – это ты; какая-то Ты, которая из множества символов соткалась в моем образе прошлого. И это верно, но я не верю в это. В силу психозов, клаксонов и шума, я откидываю этот вариант. На самом деле мне кажется, что мы знакомы с тобой лишь потому, что мне СУЖДЕНО было ПОЗНАТЬ деву-с-червем, а ты была дана мне в этом физическом положении, как знак опоры, как Способ познать ее, способ объяснить ее происхождение. Ты сидела там, в репьях, потому что я должен был влюбиться в розоватый свет открытых сердец. Но уже там я ощущаю этот свет каким-то гниловатым, связанным с чем-то жутким. И та собака. Она была там, и ты сидела возле нее, потому что я должен был познать деву-с-червем, и черви в той собаке были воплощением этого Ее качества в нашей реальности...

---

чтобы в извилах и на перекрестках мечтать о возвращении к морю... в путешествии нет ничего особого; приключение – это не морская болезнь, не реи и не альбатрос, путешествие не в образе расплывающегося на горизонте города, путешествие в чем-то другом, и если бы моряки могли это выразить, возможно, было бы гораздо проще возвращаться к нему, этому нескончаемо-ожидаемому путешествию. Может, это тоска по девочки с зеленой фетровой шляпкой, замаринованная в соленом приливе, в приливе памяти, более красочная, чем реальность ее кожу, ее форматоров, ее раскинутых поперек постели нефов и влажнее ее краеугольного камня. Лиззи? Лиззи, – поет о ней ветер, и Лиззи перекачивается по волнам, остается белой пеной, проплывает медузой, выпрыгивает дельфином, плачет чугунным телом чайки. Мигрени о ней – закат над океаном, мигрень о ней более сладкая, чем сама Лиззи... только в памяти она предстает одушевленной и полноценной; только спрятанная внутри, только Лиззи-в-путешествии, только воспоминания о ней...

- Ты любишь меня?
- Ее. Дева-с-червем. Сквозь тебя.
- Я выхожу замуж.

- Она опаздывала. Это что-то значит! Все для меня неумолимо что-то значит; все сопряжено с этой реальностью, но лишь по одной причине. Я не мог бы писать книгу, не используя Физический, созданный язык. Я должен опираться на какую-то известную систему, пользоваться ей, чтобы выразить настоящее. Я должен был найти ТЕМ, ИСТИННЫМ, сущностям аналогию и объяснения в этом мире. Я люблю тебя, дева-с-репейником. Но ключ... и дверь...

- Мне пора.

В ночном сумраке. Суматра? Нет, Амстердам. У меня болят кости, ощущение, будто по ним ползет что-то и пытается выбраться. Нахожу шишки там и здесь на своем теле. То исчезают, то появляются вновь. Видимо, ключ ищет точку выхода. Вырваться сквозь красную боль наружу. Ищу его таинственную дверь. Помнишь, на прошлой неделе сообщили о найденных телах двух мальчишек? Я знаю... я знаю о них... (я никогда не напишу книгу в общечеловеческом смысле, в моей от человеческого – лишь язык, да и тот используется вне человеческого; ее методы, ее конструкция пусть и работают с аналогиями, которые ошибочно могут быть восприняты метафорой, суть иное – мое неумение отражать ничем, кроме юридической аналогичности; ее манифесты, ее указания пусть и говорят «да» или «нет», никогда не отвечают на вопросы; ее нарратив – это кровь и правда; посыл отсутствует; ее композиция – игра моего разума над истиной)... на площади Грюн я встретил двоих, джентльмены, джентри, существа с прозрачной болью в пустых глазницах, их задача – собирать тайные желания человеческих детей; цель неясна, но я знаю их методы. Они врываются сквозь форточки, выходят из канализационных люков, других дверей, где ткань реальности прозрачна или не слишком контролируема Человеческим, они приходят к детям: во снах, в страхах, в объективности, и требуют от детей исповедь. Иногда они вырывают исповеди с мясом. Иногда оплачивают откровенность. Если второе, то ребенок на следующий день найдет на улице монетку или ему повезет как-то иначе. Все эти случайные везения – неземная плата двух джентльменов с площади Грюн, а никаких иных случайностей с детьми не происходит. Наверное, взрослые случайности, удачные браки и прочее – иные формы сделки. Я знаю, что все происходит в космической сопричастности с вечным городом, в бесконечном повторении его Истинности в нашей профанированной действительности; мы никогда не понимаем законов и происшествий, они в наших «здоровых» глазах имеют лишь нелепые оправдания; на самом же деле все происходящее – тень тех, других событий и процессов; мы – это земная манифестация их движения. Если ты хорошо приглядишься к отражению в зеркале, то поймешь, в нем отражена не ты, но Жан-Поль Сартр; а точнее, и ты, и он, вы оба не существуете, ваши лица – лишь отражения какой-то истинной сущности, которая решила посмотреть в зеркало там, в вечном городе, и ее прихоть принудила твое тело подойти к зеркалу и тоже заглянуть в него... все, что ты видишь, не имеет значение; каждое твое действие сделано для них...

- Почему ты опоздал?
- Что?
- Почему ты не сделал мне предложение?
- Зачем?
- Мне пора.

Она плачет. Удаляется. Туманная даль. Отголосок какой-то драмы в вечном городе. Возможно, дева-с-червем, вновь опоздала, и на этот раз дом не впустил ее в

себя. Кто знает. Дева-с-червем плачет, и поэтому дева-с-репьем удаляется от меня и плачет.

Я удаляюсь, потому что что-то удаляется. Мое тело болит, ключ внутри него, как вечный жид. Моя боль – вечный жид. Я засыпаю, погружаюсь в город, потому что кто-то в городе заснул и видит мое спящее тело. Амстердам ли? Я помню, как завязывал шнурки, а ты сидела возле трупа собаки и упрашивала ее не умирать и говорила, что зарастет. Верила, что собака – это рыцарь с другой стороны, прибежавший к тебе на четырех лапах любви, но убитый. Ты плакала и верила, что зарастет. Как красиво репей целовал твое платье...

## 6. Портрет Греты и ее гроба.

То был год Греты Гарбо, иначе и быть не могло. Они всегда именовали отрезки вечности знаменитостями, увлечениями; фрагментами тех, кто отражал час или день своей жизнью. Они не стеснялись примеривать чужое естество, в год Греты ее звали Грета, а его Бенедикт, по вечерам они изучали все, что касается Гарбо, если не испытывать мимолетных вспышек и увлеченностей, время будет похоже на липкий ком, прошлое и будущее никогда не имело значение, и то и другое происходило в одну секунду, воспоминания и надежды переплетались, измерить эту нескончаемую неразбериху цифрами или чем-то другим невозможно, и поэтому то был год Греты Гарбо.

Они проживали в доме причудливых фантазий, архитектурная шизофрения представила атлантов сифилитиками: огромные статуи с обезображенными лицами поддерживали своды крыши; дом на Альфо-плац или вырастающий чуть левее Парижа, в Праге, или, может, в подземном Нью-Йорке имел красивую крышу, общее настроение Парфенона и угрюмость разоренного донжона. Стены дома бесцветны, иногда кажется, что они прозрачны, и внутри постоянная суэта: Грета в боа из детских косточек пожимает руку миссис Д., господин Бенедикт отплясывает будто<sup>26</sup> в бежевой ванне на втором этаже, напевая под нос латинские выражения, подмывает гениталии, расклячившись над биде, какие-то дети снуют из комнаты в комнату, проститутка дежурит в гостиной, но стоит приглядеться, и оказывается, что размалеванная девка, исковерканные части танцора будто, и миссис Д. и все остальные – просто нарисованы на стенах; дом огромная головоломка, построенный по архитектурному безумию сына Лазаря, высится неясно, где; будто произрастает из теплого грунта, а мертвый сад вокруг этого остова – калька семирамидовых кущ, черные стволы давно упавших дубов с высоты птичьего полета напоминают сгоревший Эдем, а сам сгоревший Эдем – напоминает сгоревшее человеческое тело (участок вытянут в длину и больше напоминает звезду, возможно, звезду Бафомета) с ярко-зеленым сердцем крыши странного особняка. Грета часто здоровается с нарисованной миссис Д., выходя в сад. Здравствуйте, миссис Д., как ваша пустота? Ничего-ничего, дорогая, ничего-ничего не меняется.

Первый этаж напоминает гостиницу начала 20-х, или одну из богато украшенных палуб Титаника; когда срывает кран, сходство просто потрясающее. Бенедикт забирается на стул и смотрит, как вода медленно наполняет пол, обои меняют цвет, животные на обоях задирают ноги, особенно оленята ярко-желтого, солнечного или желточного, цвета; Бенедикт смотрит на лампы дневного света, Бенедикт гладит правой рукой запястье левой руки, гладкая кожа, бежевые воспоминания детства, которое выражено одним холодным вечером, одним коротким воспоминанием: у Иуды красиво-печальные глаза, чувственные губы немного подрагивают, когда поднимается ветер, хитончик задирает колени, как же хотелось коснуться этих колен красивого юноши, коснись их Бенедикт, сегодня эти руки, которые касались Иуды, стоили бы целое состояние (их бы наверняка оторвали по локоть, замуровали бы в какую-то коллекцию), но увы, время упущено, ведь никогда, когда видишь чьи-то загорелые колени не знает, кому они принадлежат, этот мальчишка с чувственным ртом, совершит ли он что-то дальше, или так и останется красивыми коленями в памяти и больше ничем, очень чувственные губы Иуды Искарриота, два с половиной месяца до предательства, Бенедикт хотел поцеловать эти губы и долго держать руку на коленях Искарриота (не

<sup>26</sup> Как бы – ритуальный танец очищения.

зная о том, как прославятся эти губы-колени-имя через два с половиной месяца), медленно шевелить пальцами, отстукивая невидимый ритм, вторя сердцу и поднимать руку вверх, шарить в районе его лобка, оттопырить ему и что-то еще; то был год Иуды. Когда воды становится много, Бенедикт звонит водопроводчику. Иногда ему интересно: если тот опоздает, дойдет ли вода до самого потолка, может ли она заполнить дом и полностью его утопить, будет ли дом тонуть, асфиксировать, страдать, начнет ли отхаркивать воду сквозь окна, выглядит, как облезлый и мокрый пес. Бенедикт звонит, имитируя странные французские прононсы и говорит «воды, знаете ли, много, вымывает, вымывает грязь из-под ногтей и эти, эти, скелеты, да, из моего гардероба и гардероба моей жены», но дверь открыть нельзя, нельзя выйти на террасу и ждать, пока прибудет водопроводчик, любоваться длинным, похожим на миндалину осиным гнездом под стропилами, ведь тогда вода вырвется наружу. Первый и второй стук в дверь можно пропустить, Грета всегда поднимает крик от этих манер, но Бенедикту все равно, он ждет, пока водопроводчик изобьет костяшки пальцев до красноты; он никуда не уйдет, его машина припаркована где-то у левой пятки (если представить, что обгоревший, красновато-черный в закатном солнце, Эдем – это человек, единственные ворота находятся у левой пятки), толстый человечек шел фарлонг до самого дома, и теперь пути назад нет. Он стучит в окно.

В доме три ванных комнаты. Одна: соединенная с туалетной комнатой, два унитаза, биде, в бачке одного из унитазов живет два сомика мужского пола и бесполоая улитка, смерть похожа на улитку, медленная и неотвратимая; сидя на этом унитазе хорошо думается о смерти, когда твои глаза водят из стороны в сторону по кремовым обоям, шафрановым шторкам вокруг чугунной ванной, как же все бессмысленно, когда ты сидишь на этом унитазе и шаришь по пустоте зрачками своих странных глаз, как все бессмысленно, когда рак возникает без причины. Вторая: примыкает к спальне, спальне в багровых тонах с черными гардинками вокруг опочечального места (Бенедикт на правой стороне, госпожа Грета на левой, два или три коитуса в месяц + коитусы в праздничные дни, хотя дней нет, и столь точная классификация времени абсурдна), этой ванной с душевой кабиной пользуются редко, чаще всего для того, чтобы вспомнить курьезный момент из прошлого: Искарриот моет ноги в источнике близ Назарета, кажется, Бенедикт не старше и не младше Иуды, они одногодки или даже однодневки, спелые в своем желании смерти. Душевая кабина напоминает династию белых раджей, воспетую Г. Витткоп, о тех секундах-годах и минутах (абсурдных), когда Грета, звавшаяся как-то иначе, возможно, была одной из последних белых женщин в Индии, дорогущая подстилка для династии английских раджей, в этом доме возможен любой вздор, любая фантазия. Третья: появляется и исчезает, дом-ребус хранит в себе тайную ванную, как раковую опухоль, красную ванну, опутанную сеткой вен, это логово для собаки четы Бенедикта, странного пса, который уходит и приходит по собственной воле, никто не может отыскать его, когда хочется покидать фрисби или просто палочку, когда так нужен пес, его никогда нет, пса зовут Варфоломей, и если в доме у него есть тайное логово, наверное, оно находится как раз в этой потаенной комнате, в которой ванна выглядит, как живой организм, женщина, разорванная надвое родами, красная эмаль, там живет Варфоломей, спит в этой ванне, страшный пес, однажды укусивший почтальона. Тот позвонил около полудня, колокольчик на двери закричал, когда одутловатая рука почтальона ухватила его язычок, почтальон был малодушным типом с двумя разводами и тремя любовницами на все свои сорок три земных года, малодушный и дурнопахнущий, его рука потянула за колокольчик, это было в тот год, когда дом жил под знаменем Дитрих, комнаты второго этажа

окрашены цветом сепии, огромная гостиная превращена в кинотеатр 30-х с креслами в красной обивке, всю ночь смотрели на Дитрих и спорили о Ремарке, мистер Бенедикт (которого тогда звали не Бенедикт, какое-то очередное глупое имя) сказал, что Ремарк был трусом, малодушной плотью или даже конвертом с маркой глупости на белесом лбу, и поэтому к двенадцати следующего дня все спали, кроме Варфоломея. Итак, почтальон. Да, именно он, ему страшно от этого дома, кажется, он никогда раньше не видел этого дома, хотя так часто ему приходилось пересекать Сен-Жермен насквозь, и только когда ему велели отнести письмо Сюда, он увидел старинный особняк с барочными колоннами и статуей Ваала во дворе, и что Ваал исторгает изо рта воду в полость бассейна, и в голове почтальона были смутные ощущения, что этого дома никогда не существовало здесь раньше, и что-то в этом совсем не то, он даже понюхал письмо, и письмо тоже показалось ему странным, хоть оно и было совсем обычным, ему показалось, что какая-то неладница произошла в это утро, ощущение соскальзывания (иначе и не скажешь) закружило его голову, это было самым сильным чувством за всю его жизнь, ему даже хотелось, чтобы это ощущение потусторонности продолжалось, какой-то чертоворот, это была длительная и спелая боль в Париже, и вот дверь открылась.

Портреты Варфоломея вызывали трепет неподготовленной публики. Есть какое-то психологическое состояние в этом взгляде, когда кто-то разглядывает такие работы. Джефф Невенмейер<sup>27</sup> постарался на славу. Картина, в которой живет патология или портрет патологии. Эти картины висят в подвале, своеобразный триптих: большой фаллос Варфоломея изображен во всех анатомических деталях, ровно четыре вены, которые кружат друг вокруг друга, сливаются и отталкиваются на белой поверхности этого члена, эрегированная патология оголена, ярко-бурая голова упирается в левый край рамы, неестественно-широкое отверстие с набухшей каплей урины; Варфоломей в черном пиджаке гробовщика, его лапа ротвейлера держит лопату гробовщика, розовый язык свешивается с набухшей каплей слюны; Варфоломей обнажен, тонкое анорексичное тело, каждый позвонок, каждая ребрина, лицо испорчено зазубренным ножом, набухшая капля крови, глаза вырезаны, член скрыт синюшным бедром, эта плоть стоит на четвереньках, расширенная сфинктерная мышца напоминает второе лицо, изогнутая в талии плоть повернута к зрителю двумя своими лицами, патология изогнутости.

На чердаке этого чудесного дома оставлены прошлые жизни. Иногда они играли в Ремарка и Дитрих, иногда в кого-то еще, когда-то Бенедикт был доктором Лектером, а Грета по очереди была Кровавой Мэри, Гиппиус З. и Садако, кем-то еще; чердак, наверное, безграничен. Если идти мимо стеллажей, манекены, одежда, шляпы (особенно шляпы), то можно заблудиться, вероятно, кто-то умирал на этом чердаке от голода или жажды, около восьми акров старых вещей, потерянных картин, в аквариуме плавает утонувшая женщина, секторы размечены, как размечают архивы, два раза в человеческий месяц Варфоломей работает архивариусом, и если кто-то без судороги готов озвучить заказ в его окровавленное лицо, глаза скользят по бритому черепу, через несколько лет, он принесет необходимое. Отрезанная голова, коробка с мизинчиками, обручальные кольца – упакованы в картонные коробки, «не бьющееся»; или скелет балерины, вмонтированный в огромную музыкальную шкатулку, все в настоящую величину, гроб с танцующим скелетом внутри (одно время Грета (тогда ее звали иначе) не могла заснуть без этой музыкальной табакерки, засыпая, она желала видеть, как мертвая балерина вращается, закинув за череп свою костлявую ручку); ящички-

---

<sup>27</sup> Художник, нарисовавший известный портрет Джекоба Блёма – «Брат, на что ты меня покинул...»

гробы с уснувшими внутри Барби, на железных цепях развешены фотографии: Грета на ривьере, Грета обнимает шею Джеффи Невенмейера, Грета-Грета-Грета и Она же в своем старом состоянии, в один из последних дней своей человеческой жизни – Грета в бархатной шапочке магистра, улыбающаяся Грета-человек на подиуме, в окружении других магистрантов, Грета с тоской в глазах, Грета с мечтами о любви, Грета любимая дочь, Грета-Грета-Грета!

То было в год Греты Гарбо, когда ее муж зло сказал «как же ты нам осточертела, Грета, как же ты утомила, но ничего, однажды ты оступишься, однажды и ты упадешь, ты не безгранична!»

Правило № 1245, сегодня не смотреть на работы Пикассо

Правило № 365, сегодня не обсуждать погоду

Правило № 2458, сегодня нельзя целоваться

Правило № 2411, сегодня нельзя чистить зубы

Правило № 1783, сегодня нельзя читать Достоевского

Правило № 104, сегодня необходимо...

Долгое время на третьем этаже работал спиритический салон. Медиумы сползались внутрь комнаты, завывали, дискутировали о духах, Бенедикт и Грета наблюдали за ними с сочувствием, большая часть этих людей не могла ощущать, что сам дом – огромный призрак. Кто-то из них затерялся внутри особняка, иногда они находились годами спустя, будто выпавшие за борт, мокрые, с пустыми глазами, ходили по коридорам и гремели зубами, иногда они мешали спать, а иногда попадали в подвал и встречали Варфоломея. Одна дама, прославленный знаток чувственного мистицизма, ощущала зов внутри дома и шла на эту музыку, она была в лакированных сапожках, на ее плече висела сумочка Живанши, там, в подвале, она увидела пса. Обнаженное существо, до пояса все исполосованное зазубренным лезвием, стояло к ней спиной, раскачиваясь в поясице. В тонкой кисти левой руки это что-то сжимало крюк. Крюк воткнулся в женскую голову, и Варфоломей дергал рукой из стороны в сторону, пытаясь отделить голову от прочего мусора. Оставив в черепе крюк, пес опустил на четвереньки, расстегнул суконные штаны, окровавленной рукой вытащил член, подергал его, придавая форму, мясистый сгусток в его руке клокотал и бился всеми своими жилами, мертвая женщина раскинула ноги в сапожках, и пес взгромоздился на нее, их лица были одинаково обезображены, они соприкоснулись носами, разорванные губы Варфоломея начали ласкать ее мертвые губы, а потом, изъяв крюк из черепа, этим крюком начал вращать внутри ее промежности, и следом за этим засунул в ее зад, ладонью играя со змеями внутри ее утробы, влажные и липкие змейки ползали сквозь его пальцы; когда тело замирало, Варфоломей с сил бил крюком куда-нибудь в грудь или живот, иногда в лицо, и тогда все вновь сотрясалось, когда лопался череп, одна пробоина за другой; распахнутые раны притягивали его, отошедшие полосы розовой кожи, он оттягивал их зубами, выдирав, прилизывал бахрому языком, ерзал языком внутри ее пизды, пока не просунул в раскученную промежность свою собачью голову, продолжая дергать плечами, он погружался в нее все больше и больше; руки раздвинули ее оголенные ребра, и теперь его затылок виднелся меж их раздвинутых половин, запустив руку в ее руку, он вскоре полностью овладел ее пальцами, и, повторив то же самое со второй рукой, начал овладевать ногами; наконец, нос Варфоломея уткнулся во внутреннюю часть ее затылка; несколько мощных ударов освободили женскую голову от женщины, мозгов и крошева черепа, и лицо Варфоломея аккуратно вылупилось из ее лобной доли; спустя несколько часов кожа

плотно облепила его кожу, все лишнее отошло, вывалилось или вылилось на пол; сдвинув раздвинутые ребра в первоначальную позицию, Варфоломей будто застегнул корсет, оставаясь внутри ее тела. Теперь необходимо было заштопать платье, и нацепить парик, чтобы было не видно, что на Его новом затылке – Ее прежнее лицо; спустив тонкие белесые волосы до плеч, он скрыл ее присутствие, ее смерть, ее тревогу; Варфоломей поднялся из подвала, просунув своего дружка сквозь ее надломанное лоно, пес радостно начал подлизываться к Бенедикту и облизывать его руки, встав на колени и зияя женским окровавленным анусом.

Если у Дома случались проблемы с законом, строительными компаниями, прочей глупостью (когда какой-нибудь почтальон делился своими сумрачными ощущениями, любовник погибшего медиума обращался в газету с сенсационным разоблачением на Сен-Жермен, когда случалось что-нибудь еще), Дом переезжал; иногда он полностью обновлял свое тело, а иногда лишь оттачивал особенности. Медиумы на втором этаже менялись на художников, путанный сад отдавался детям цветов и обращался в их кладбище, спальни становились городскими моргами, а коридоры – зимними проспектами; иногда комнаты отдавались странствующим пилигримам, а любителям тайн, Дом позволял сущую вечность плутать в таинственных переходах, искать выходы из спален и нескончаемых анфилад. Имена хозяев, их профессии менялись, банковские счета перетекали из Швейцарии в Австрию и обратно, деньги тратились на меценатство поэтам, политическим и военным деятелям, получались из таинственных источников, которые всегда были окровавлены и туманны; казалось, мистер Бенедикт действует своим излюбленным способом, лишенный изящества, он принуждал тех или иных отписывать свои состояния в пользу Дома, а затем умирать, иногда мучительно, а иногда нет. Часто он топил своих знакомых в лабиринте, в тревоге и воспоминаниях об умерших детям. Иногда он посещал приюты, и приглашал сирот в свой загородный Дом (тогда он селился где-то на отшибе, имел какую-то легенду и сказку; часто высился посреди кладбища, обычно индейского, и, вообще, тяготел к клише и штампам мыльных фильмов ужасов, населяющие его персонажи были картонны, трагедия развивалась фарсом и шуткой, настоящая же драма светилась в оголенном сердце Греты, вся эта кровь, античная агония разворачивалась для нее одной, своей мишурой обогащая нескончаемый кошмар ее снов, питая чувство вины и ответственности), где Варфоломей надевал накрахмаленный пеньюар, и называл какую-нибудь сиротку «ах, моя маленькая Гретель, пойдика помоги мне на кухне». Кошмар был невидим, его воняющая мертвецами репрезентация не имела значения, лишь усугубляя жизнь Греты, парфюмы, платья, платьишки и любовники, ничто не могло ее утолить, вереница хитросплетенных тел напоминала механизм часов, извращения без ограничений и ответственности растащили ее Я на куски, эти куски жарились на ярком солнце Ривьеры и корчились на крючьях пса по имени Варфоломей; иногда Грета писала письма матери, и Бенедикт говорил, что отправляет их, конечно, отправляет, но на самом деле мама умерла давным-давно, Грета не имели никакой привязки к реальности, никакой возможности выпутаться из всего этого, она даже не знала, как жить без этой безграничности, что случится, если Бенедикт бросит ее, если Дома не будет, что случится, если однажды случится Перемена... весь этот ад нагромождался и выстраивался ради одного единственного выстрела в сердце Греты, все работало синхронно и вычурно, все приучало ее к богатству-распутству-фантазиям, ради минуты, когда нескончаемость завершится.

Бенедикт дал ей все, что она могла вообразить, все, о чем может мечтать женщина. Подарил ей внешность Греты Гарбо, дал ей имя Греты, волшебный Дом, пса, как символ семейного счастья, мужа и супружеские ночи. Он выбрал одну из

всех, и подарил ей тьму. Себя и свою тьму, свой дом-тьму и пса тьмы. В своей комнате Бенедикт пишет письмо Джеффи, в своей комнате Бенедикт стаскивает через голову человеческую кожу и становится самим собой. Грета знает, что ее муж – танцор театра Шута, что он называет себя ангелом с тысячью дьявольских лиц, это ничего не значит.

Вначале Дом был просто Домом, девочка из провинции радовалась белым шторкам и коричневым гардинам, большому псу и мужу в строгой рубашке. Распутство зрело в ее психике, как раковая опухоль; распутство всегда раскручивает свои кольца в атмосфере полнейшей возможности и безнаказанности. Когда ее звали вовсе не Грета, она была Алисией, в шапочке и мантии магистра, она имела скудные мечты, будто сворованные у тысячи других женщин, и не знала, реализуются ли они, ворвутся ли в реальность, или так и останутся внутри; раньше она жила исключительно внутренней жизнью, пока Дом не позволил все внутреннее воплотить, самое страшное внутреннее, самое влажное внутреннее, самое запрещенное и не имеющее имен. Она любила кинематограф, вмуровывала себя в каждый кадр, жила потусторонней жизнью, пока не пришел Бенедикт. Кажется, тогда его звали мистер Бомонд, и Алисия не была его первой женой, может быть, какой-то тридцатой или какой-то еще, Алисию это не волновало, она больше не думала о прошлом, казалось, внутренняя жизнь не имеет предела, даже в разврате нельзя достичь конца, но теперь ощущается, что периферия близко, она скомбинировала тела во всех возможных вариантах, испробовала и выпила сок, количество цветов и комбинаций оказалось истощаемым, Бенедикт позволил ей убедиться в этом на собственном примере. «Ты будешь иметь все», сказал он и сказал правду, он был многодушен и никогда не имел повода лгать, «но когда-нибудь ты упадешь, Грета, и я отниму у тебя все; все перестанет принадлежать тебе, Я, мой Дом, мой Пес, все это исчезнет и растворится когда-нибудь, когда ты нарушишь нашу черту, наши правила, я не запрещаю тебе мыслить, поглощать, комбинировать, выплескивать наружу, но есть определенный свод правил, по которому мы живем. Мой Дом не умеет прощать, я отниму у тебя все, когда ты упадешь, твою внешность – потому что это МОЯ внешность, которую ты одолжила – мою жизнь, которую ты взяла, меня и моего пса, этот Дом, вся ты канешь втуне, как только нарушишь одно из правил. Мы будем играть с тобой, Грета, мы будем играть с тобой столько, сколько у тебя получится. Ты не можешь победить. Мы играем тысячелетия, разными жизнями, разными женщинами и мужчинами, не спрашивай кто мы, это не важно, я дам тебе все, если ты выйдешь за меня замуж», – сказал Бенедикт, именно это он сказал, когда Алисия спустилась с пьедестала, путаясь в своей мантии магистра, когда обняла маму, когда отец поцеловал ее в висок и прижал к груди ЕЕ диплом, будто собственное достояние, когда Алисия уже не могла думать, до того бархатная шапочка сдавила виски, когда она вышла в большой мир... кажется, иногда ей снились странные сны, что-то вроде Башни, которая растет на морском дне и вокруг которой водят хоровод страшные люди-змеи, наги или дети индусткой Кали, и, вероятно, это было предчувствием Бомонда и его своры. Вечер под липами, Унтер ден Линден, когда ее бросил Боб, был теплым, медленно начиналась ночь, в соседних кофейнях мололи кофе, Алисия не могла ничего понять, никакие кинопремьеры не могли проникнуть в нее глубоко, она увязла, перестала различать цвета, отец развелся с матерью, почему-то он ушел к секретарше, и почему-то Алисия не злилась на него, она была спокойна и даже была на его свадьбе, он венчался, Алисия поздравила его и его новую жену, а потом вернулась к матери и сочувствовала ей, ощущение двоедушия не мучило Алисию, Алисию ничего не мучило, в тот вечер, когда она шла по Унтер ден Линден, ее не мучило даже

расставание с Бобом, почему-то не было ничего, кроме прострации, безраздельной пустоты, был вечер, потом была ночь, потом было утро, прошлое и будущее почему-то скомкалось, а когда Алисия заснула, ей вновь мерещилась Башня и люди-змеи, то были теплые сны, после которых все тело не хочет просыпаться, разморено, расширены поры, влажная промежность, и кажется, что внутри живет болезнь, потому что буквально не можешь выпутаться из морока; а потом был еще этот сон, и еще, воспоминание о сестренке, которая раскачивается на качелях, о матери, которая гаснет посреди супружеской кровати, о самой этой кровати, душно пахнувшей отцом, о ярких эротических вспышках, которые пронзают тело, когда думаешь об отце, о каких-то особых его проявлениях, вновь о Башне, о людях-змеях; ватное тело преследовало Алисию с мужчинами и не хотело отпускать, ей казалось, что она бредит или бредет по морскому дну, она кричала и притворялась, что чувствует, разыгрывала сценки, играла эмоции, она ощущала, что она – уже не она, а какая-то другая женщина, или куст или кошка, что-то инородное Алисии, уже не та Алисия в мантии магистра, и даже не та Алисия, которая была на отцовской свадьбе, будто было тысяча этих женщин и все они ютились в одном теле, но этому не было психологического термина, но это не шизофрения, нет, просто будто она быстро шагает по лестнице, или в примерочной кабинке меряет множество платьев, будто ничего и не меняется, но каждый последующий день – пусть и похож на предыдущий – уже совсем другая Алисия вылупляется из вчерашней Алисии, и это сны с Башней, сны с людьми-рыбами, она посещала отца или оставалась у матери, они не замечали никаких изменений, один был почему-то счастлив новой жизни, а другая почему-то несчастна, хотя и то и то было сухокожим и не имеющим никакого отношения к действительности. Кажется, они встретились вечером, или ночью, может даже, ближе к утру, может и так, мистер Бомонд (тогда его звали так) представился коллекционером ценностей, он вел большого ротвейлера и остановился в парке для чтения газеты, прямо под фонарем. Алисия подумала, что его выгнала жена или любовница, может быть, что-то другое, и подумала, что ищет насилия, не против остаться с этим Бомондом на сегодня-завтра-потом, пока не надоест, ни одному человеку не удавалось впутать Алисию в свои игры и свое поле, но она была не против этого человека и его собаки, она не желала этого, но и не противилась. «Мой Дом переезжает» сказал он, свет фонаря просвечивал тонкую кожу на его лице, Алисии показалось, что этот господин только претворяется человеком, а на самом деле больше похож на нага из ее снов, какая-то скользкость, какая-то чешуя была внутри него, змеиные движения и нескончаемая скука.

Грета испробовала все виды человеческой внешности, длинный нос, короткий нос, сутулость, красота, отрезанная после рака грудь, светлые волосы, лысый череп, гермафродитизм; сотни имен, человеческие годы скомкались, не оставив на ней складок, мама успела умереть, папа, его ребенок от новой жены, с которым Грета так и не познакомилась, прошлое и будущее существовало внутри Дома, ни прошлое ни будущее ничего не значило, Дом скорее выпивал эмоции, чем дарил их, хотя казалось совсем иначе, казалось будто что-то приобретается, Грете в убыток под множеством имен, в множестве тел, с тысячью выдуманных биографий. Годы они отсчитывали мимолетными увлечениями, цепочкой самообманов, Бенедикт начинал свою вечность с Иуды Искариота, Варфоломей с 1435 года, но он никогда не рассказывал деталей, Грета, по идее, отсчитала девяностый год с того дня, когда она встретила мужчину и его пса на лавочке в Берлине, а может и несколько больше или меньше, дьявольская сила умела скручивать годы в пружину, каждая спираль, каждый сгиб которой назывался болью и никак иначе. Были какие-то другие, кто приходил в Дом, какие-то друзья Бенедикта, они никогда не рассказывали своих

историй, останавливались в комнатах для гостей, обставляя их по собственной фантазии, обычно они не показывали свои чудовищные лица, а претворялись людьми, все были вежливы по последней моде, изучившие тысячи моделей и этикетов, но никогда не обращались с Гретой, будто с ровней; мало кто продолжал охоту за смертными, всем бесконечно наскучили эти мягкие игрушки с ломкими душами, вся кровавая буффонада продолжала раскручиваться исключительно ради Греты, исключительно ради инерции, или самого Дома, который, может стать и так, работал на человеческой крови или человеческих криках.

Дамы обсуждают Сенеку, а еще шестую эклогу, бракосочетание со смертью на чердаке, девичник среди пыльных полок, Варфоломей ползает на четвереньках вокруг, очерчивая кровью сансару вокруг их сложенных в лотос ног, кто-то подзывает его к себе, он ластится, но дамы не гладят мертвую челюсть, мертвую кожу, оголенный собачьи ляжки. Иногда Грете требуются излишества, переборы в излишествах, протяженности, лесбийские оргии, расширенная оптика, глубокий и низменный ужас: закрыть глаза, когда какое-то инородное и лучше незнакомое тело изучает твои закоулки, может, светская дама, а может, Варфоломей, в поцелуях сквозь темноту не понять; кто-то всасывает в себя темноту, а затем выдувает ее, нити слюны, в Грету, кто-то небрежно целует промежность, кто-то сегодня Сапфо, кто-то Алкей, Грета переодевается в мужское платье, чтобы вступить в брак с невинной девушкой на чердаке; Варфоломей клеит ей усики а-ля Сальвадор, барочные туфли и шелковые шаровары... иногда излишества притупляют восприятие, иногда начинаются крики, иногда сама Грета начинает кричать, будто разум наполнен светом, и вот она, в свете софитов, распутничает в будничном аду, ад имеет формы, запахи, персоналии, тогда она особенно ярко видит Варфоломея, демона в шутовской наготе изувеченного человеческого тела, но не человека; когда Грета кричит, пес дергает носом и пьет ее страх, но отсюда нельзя сбежать; когда Варфоломей выпивает весь страх Греты, он вновь становится просто псом, а она просто аристократкой в чудном Доме, она снова мечтает о перепланировке, и Дом неукоснительно меняется вслед за ее мыслями, иногда его коридоры и катакомбы ломаются, лопаются с пронзительным звуком, какая-то жертва навсегда остается в комнате, а комната уже не существует, и человек бьется о пустоту, Грета уже перестроила Дом, Дом уже находится в Санкт-Петербурге, уже на Маврикии, уже белокожие и сухопарые немки (геморрой, у некоторых губы обезображены какой-то болезнью, с которой стыдно идти к врачу, иногда они не бреют ноги, а их мужьям все равно, они плодовиты, они не кричат под мужьями, но они плодовиты, они не кричат при родах и у них не бывает разрывов) меняются на балийских распутниц, Дом становится борделем где-нибудь на Сараваке или в Баджистане, тогда Грета на пару минут выдыхает, приобретая новые качества и свойства. Она уже Кали, уже Дурга, уже демоническое божество, которое коронуют ожерельем из человеческих ногтей, бусами из детских черепков, вручают нож, а ее Дом выстроен из досок затонувших кораблей или остатков древней дыбы, а может виселицы, она какая-нибудь Иччипакалотоль посреди Мексики, рыжекожие, будто ржавые, мужчины совокупляют ее на полу и осыпают перьями священных попугаев или дуют в ее честь сквозь засушенную рыбу-шар, обливают ей тело рисовой водкой, но очень быстро все это превращается в ничто. Когда она выглядывает в окно, видит очередной пейзаж, очередные схематично выстроенные линии, чужие горизонты и пустулезные души, какой-то мужчина застревает в какой-то женщине, Грета меняет имя, мужчин, любовниц, стили и почерки, прически, страны, гардеробы, пристрастия, орудия убийств, ласки и боль, все остальное, самое важное, сакральный центр, не поддается изменениям. Она обросла воспоминаниями, но нечего

вспомнить, видимый лоск, как кожа, сходит от пары резкий ударов ножа, избирательная память вновь выхватывает: шапочка, мантия, Боб, фонарь, мужчина и пес, море, да, дальнейшее напоминает море, его трудно рассечь на отдельные волны, протуберанцы, белую слякоть и трупы медуз на пляже, отдельные рыбы и косяки, вот что остальное, годы спутаны в узел, шестая эклога, пятая буколика, семнадцатый мужчина, магия чисел дает нескончаемый набор вариантов, комбинации плоти подошли к концу в тот год, что ознаменован Гретой Гарбо, Гарбо катилась к закату, маячила очередная и безликая цель, наименование, подъезд, сигарета, детское тельце, ночь упала вниз, небо скрутило запястья, Бартоломей (он уже сменил имя) сказал «ты надоела нам, Грета, ты надоела нам...»

Как бы не выглядел Дом, внутри него оставалось что-то подобное сердцу, неизменяемый угол или стержень, эта комната не была похожа ни на что, и подходила лишь для того, что общно называется мессой. Из черного мрамора, украшенная цветами, несколькими метрами мужских кишок, пуповинкой мертворожденного и чего-то еще была сделана Черная Марта, или Черная Кали, или Черная Мадонна – имя не имеет значение – неведомое божество Дома, оно единственное знало ответ «да» или «нет», Бартоломей называл ее Эрешкигаль-Дасшагаль, небесная мышца. Она знала все ответы, жить или нет, но никогда не отвечала; вокруг нее собирались чудовища, Грета наблюдала, как они бьются и корчатся, зная, что даже им нужен какой-то нексус, чтобы обвинить его в пропасти, боготворить ради смысла, нужна была эта безжизненная Дасшагаль, статуя уродливой женщины, чтобы нарицать ее, коверкать, к чему-то стягивать всеобщую бессмысленность; они придумывали обряды и обращения, бились вокруг нее, оригинальный воздух окутывал Эрешкигаль, но она никогда не отвечала своим паломникам, она была всегда, она будет, она будто хранила заповеди Иного Народа, но Грета не могла понять, почему именно она, почему именно так и не иначе, почему она есть, почему нет ничего другого, черная королева тех, кто в фарсе inferнальной поволоки дурил смертных развратом и роскошью. Грета принимала участие в оргиях у ног статуи, теплый член Джеффи Невенмейера, рукой она задевала ногу Богини, колючий мраморный остов, и представляла Башню на морском дне, скользкое нечто внутри живота, как беременность или ВИЧ, нельзя сказать точно, а Дом менялся на глазах прямо во время этой вечности, семяиспускание, следующий, следующая, холодные пальцы оставались мрамором, менялись эпохи, выраженные кишками, и эти кишки обвивали шею Дасшагаль, будто знача бесконечность Грет, которых насильовали у массивного изваяния, бесконечность кругов – в этих бусах, браслетах, и тленность в черепках, пуповинках, в оргии, которая, как море, Грета распадалась на составляющие, Греты уже не было, но Грета была... холодная, как Дасшагаль, позабывшая свое истинное имя, прямо, как черное божество Иного Народа.

Поэту кажется, что он на дне, смотрит со дна, на каком-то кругу разврата – то ли система, то поэтичность именно Греты – и саможестокости, любая тварь становится поэтом, и хорошо, если она не пишет стихи; эта единственная интенция – быть поэтом, единственная закономерность – желать смотреть из самой глубины, и никогда не всплыть. Будто это следствие – лежать под ноги Дасшагаль – той причины, что Артю Рембо встречает зеленоватого ангела французской базилики на Сен-Жермене.

Правило, правило и еще одно, и еще; все их помнит лишь только Богиня, мизинец Дасшагаль, обвисшие груди Дасшагаль... Грета в панике своих беспокойных

снов, она кричит «Боб», она кричит другие имена, но не хочет быть ни с Бобом, ни с кем-то еще, ни с Барто..., ни с Бенедиктом, она прошла с первой ступени магистерской мантии сквозь горностаевые мантии к первым стадиям разврата, затем вторым стадиям разврата, от банального разврата – к боли, в неприкаянности и невинности – к убийству, вначале одному, хорошо спланированному убийству – это был коммивояжер – затем череде, а потом к массовым казням, кровавому пиршеству руками Бенедикта и Варфоломея; Грета была наблюдателем, участником, жертвой. Она встретила своего будущего мужа в парке, и он сказал ей «я дам тебе все, и ты мне тоже, это полностью равноправный брак, богоподобное слияние, но я потеряю жену, а ты потеряешь все, если нарушишь правило, по которым живет Дом... мы подчиняемся только ему, великому и вечному Дому, я дам тебе вечную жизнь, вечную перемену, нескончаемость, а потом отниму нескончаемость, перемену, и оставлю лишь вечную жизнь, ты будешь вечно жить с ощущением утраты, как герой «Голема<sup>28</sup>», чья жизнь ощутила свою тщетность после потери, вечная жизнь с надрывом... стержень в сердечной мышце, ты будешь моей женой?», Грета вначале не поняла, приняла такие слова за голый романтизм, изысканность мысли мужчины и его пса, господин Бомонд изъяснялся тысячью наречиями, тысячью языками, Иуда Искариот и его колени, Бомонд объяснил ей, в чем суть нескончаемой игры Дома: год за годом и следом столетиями Дом выбирает женщину в свои хозяйки, и та будет править Домом, пока выполняет нехитрые правила. Около четырех тысяч правил. «Ты можешь их изучить, можешь запомнить, четыре тысячи абсурдных правил, не смотри на Пикассо, не чисти зубы или чисти зубы – каждый человеческий день божественная Дасшагаль выбирает одно из правил, теория случайных числе в действии, и только одно правило работает каждые сутки, никто не знает какое и ты не будешь знать какое, и если ты нарушишь его – ты выйдешь из Дома вон и никогда больше не найдешь Дом, никогда больше не услышишь о Нас, никогда не увидишь Нас... по теории вероятности, ты можешь выигрывать вечность, по теории вероятности – ты можешь проиграть уже завтра, ведь никто не знает, даже сама Дасшагаль, какое правило и когда вступает в силу, а когда перестает действовать, это просто теория вероятности, бросок кубика или, точнее, монеты, упадет ли она на ребро – никому неясно, и даже тебе, каждый день, как на лезвии, ты либо проигрываешь, либо нет, и пока ты хозяйка Дома – ты имеешь все, вечную жизнь, вечную молодость, чистоту безморальности, ты будешь хозяйкой Ада, пока не оступишься, будешь ли ты нашей женой?» и она сказала ему Да, откуда-то из памяти вырвался Боб, а потом последняя страница Джойса (то ли Улисса, то ли Финнегана), где она долго вспоминает, почему говорит Да, а потом говорит Да, и вот Грета тоже сказала Бомонду (или как его, может, Финнеган?) Да, потому что серость сковала мышцы, нервные узлы опутала слизь, Боб, отец, мачеха, мать, серые мышцы плавающее в серости мяса, сосуды, пропускающие сквозь сердце грязь, она сказала ему Да, как это сделала \*\*\* (черт ее вспомнит, и кому она, та, Джойсовская, сказала Да тоже не вспомнить, то ли Буйволу, Дьяволу, то ли Финнегану, а может, самому Джойсу?) и отдалась ему и его псу на лавке... а потом началось состояние, в котором она была то Гретой, то Мэрилин, то кем-то, то женщиной, то не совсем, Дом цвел барочностью, сапфизмами, Руссо и багряными гиацинтами, каждый день Дасшагаль выбирала одно правило из четырех тысяч, а Грета пыталась угадать какое именно, и прошло около девяти десятков человеческих лет, но и этому наступит конец. Не смотри на Пикассо... сегодня или завтра. Какое-то правило могло повторяться кругом четырнадцать суток или не выбираться никогда, выломай себе зуб, соврати девственницу, пробеги голышом по Флитт-стрит, какие-то правила были однозначны, и прогореть на них было невозможно (не было правила «смени

---

<sup>28</sup> Густав Майринк.

простыни», но было «не меняй», и логичным было не менять никогда), и те, которые стояли друг напротив друга, образуя зеркальный коридор... иногда Грета забывалась и на лезвии бритвы, становилась Ирадингой в балийских деревнях, Екатериной в мужицких деревнях, нравственность – как серая слякоть, обволакивающая кости; наверное, каждая проходила стадии разврата (а может, и каждый, ведь неясно, принимал ли Бомонд женские формы, чтобы Выходить замуж, или же оставался в мужских, но Выходил замуж, или где-то в параллели существовал другой Дом, где молились мужскому божеству, а хозяином был мужчина... наверняка, было нечто такое, чтобы путать и мужчин), распада, убийства, а потом ее вечность обрывалось, когда она чистила зубы или случайно видела Пикассо, почти наверняка Они подтасовывали, хотя, может и нет, ведь какая разница путь одну лишь Греты триста столетий или триста девчонок по сто лет на каждую, какая к чертям разница, неясно, может и истинно, что только Дасшагаль знает «да» или «нет»... Грета просыпалась и просила мужа «оставь меня чистой!» и тот обнимал ее талию (а рядом был Варфоломей), начинал утро, кончал на ее зад и говорил Да, а Грета делала шаг в еще один день, она знала лишь то, что жизнь не имеет смысла, она знала лишь то, что каждое ее движение – по дороге к Концу – и ничего другого, и как вообще знать хоть что-то, когда Дом меняется по воле твоих желаний, когда Пес – это труп; когда муж – это что-то, имеющее тысячи лиц, когда ты – бесформенное мясо, облепившее кости; когда жизнь лежит в ногах Дасшагаль, когда девственницы говорят тебе Да, и ты делаешь с ними свою волю, когда все пребывает в кошмаре и безраздельности, когда каждый день – все обрывается или не обрывается – страшные сны, утонувшие поэты (Георг Гейм?) и знание, что однажды лицо черной богини посмотрит в твое лицо и ответит Да на вечный вопрос, когда-нибудь она скажет Да, когда-нибудь все говорит Да, так тело уступает смерти, Да, она когда-нибудь скажет Да, но Грета этого не боится, потому что она уже не Грета, век Гарбо подошел к концу, начинается другая эпоха, которой тоже – Да – наступит конец, и будет что-то еще в безграничном Доме. За окном были слизистые облака, вновь Париж, она проснулась в Ионе Евы Грин, ворвалась в это новое сквозь «Мечтателей», Бартоломей сбрил старую кожу со своего лица и надел новую, Варфоломей остался при старом имени и старых шрамов, Ева проснулась от того, что хлопнула дверь, Варфоломей вышел на улицу искать себе женщину, Ева проснулась и не знала, какое сегодня число, она увидела, что постель пуста, ее будто пронзило, что сегодня Дасшагаль сказала Да, может быть, это минута правила № 4000 – не просыпайся – а потом поняла, что нет, она все еще внутри Дома, и эта победа на ее языке была, как полное поражение... все повторится вновь, каждую минуту она почему-то ждала и радовалась Концу, но Конца не было, вечность и вечность бесконечных Нет продолжала разворачивать кольца, хлопнула дверь, Варфоломей вернулся с прогулки, Бартоломей в новом лице зашел в спальню, Ева попросила его «оставь меня чистой!» и он ничего не ответил ей, еще один слизистый день. В сердце будто вставлен стальной стержень. Вращается. И вращает вслед за собой все остальное: сердце, декорации, Еву, особенно, Еву. Он кончил на ее зад и сказал Да, началось новое утро, с рождением Ева, и она начала вживаться в это новое имя и новое тело, изучать ногами обновленный за годы отсутствия Париж, новые туфли, стрижка, безграничный клубок темноты застрял где-то в клапане сердца, с рождением Ева, она надела свежее платье и вышла на улицу, чтобы увидеть – как сегодня выглядит Дом, его фасад, его плоть, какого цвета его не знающие времени стены.

## 7. Нико 2/2

Королева с Адамовым яблоком обречена на бесконечную боль. Когда ты слишком долго трогаешь его, чтобы оно скрылось внутри шеи, твои мышцы начинают безудержно ныть, напоминать об этом выпирающем меж вен проклятье. Ты начинаешь задыхаться и теряешь понимание: боль рождается от того, что ты – мужчина, и это внутренняя боль, или оттого, что постоянно мнешь шею в надежде избавиться от напоминаний?

Пока Нико была человеком – пусть и странным человеком – она не знала о такой вещи, как эвтаназия. В ее комнате нашлось бы достаточно вещей, чтобы лишить себя жизни. Но она не знала о том, что такое существует, и продолжала расти, запертая, гниющая заживо и замурованная в кожаный гроб мужского тела.

Теперь она знает...

...как знает, что такой ее создал Лунный свет и таинственный Отец. Те, кому молятся проклятые и педерасты, породил Нико с этим уродливым кадыком и этим черноватым от грязи отростком между ног. Противный господин Ночи создала Нико танцовщицей боли, – то есть по образу и подобию. И там, где индусские монахи говорят, что нужно разворотить себе кости и суставы, чтобы продолжить танцевать, игнорируя плоть и игнорируя боль, Нико не могла ничего игнорировать, она лелеяла в себе ненависть и злобу. Красные, раскаленные до предела внутренности обжигали ее нутро и выжигали его до черного. Дым горелого мяса и беспробудной ночи, беспробудной похоти.

Когда приходил Джекоб, она была растением. Растением, что танцует над своим горшком, с тонкими листьями-рук и бессловесным голосом. Как змея поднимается из темноты горшка по зову факира, Нико по зову лунного света танцевала, поднявшись над горькой правдой о собственной мужественности. О, влажные сны!

...любила!

Как дождь, окрашенный луной. Как дыхание спящего котенка на твоих коленях. И как мужчину. Совсем не такой любовью, что изображена потаскушной Девой Голода на «Свадьбе Бархатного Короля», где мужчина раздираем мыслью о дозволенности самого факта мысли и чувства. Не так, как на этой картине, где мужчина с горем в сердце – Джекоб Блём – любит мужчину. В Нико и ее мужском теле родилось к нему то истинно женское, похожее на холодную змею, похожую на медленно раскручивающего кольца удава – истинное женское чувство – полностью поглотить Блёма собой и погрузить его в свой бездонный желудок. Быть женой сумасшедшего, обожать его безумие. В темноте...

Когда Нико поняла все это – уже после Его гибели – она начала очень долгий путь. Ей казалось, что жизнь ее отныне, после яркого пожара, подобна жизни колокола. Тот просыпается несколько раз в день под верной рукой звонаря, и движется в своей жизни, оставаясь недвижимым и подвешенным на колокольном. Так и Нико, будто бронзовый колокол, вроде и искала Джекоба Блёма, но в своих поисках топталась на месте.

Везде, по всему миру, можно было найти сплетни и слухи о его имени и имени множества других. Тех, у кого множество, может быть и сотни имен. Бесконечное море имен поглотило ее.

Нико топталась на месте, да. Она сжевала себя печалью, и питалась ей, на десерт предпочитая маленьких девочек из провинциальных городков Штатов. Она кралась через мир и была похожа на циркового уродца, который сорвался с цепи. В ее походке и жестах давно смешалось мужское и женское, или же давно не стало ни

того, ни другого, и танцовщица с яблоком Адама на шее превратилась в жадное до мяса и рефлексии чудовище.

Ее пищей были многочисленные поклонники ЗОЖ, праведные ёбари малолетних, покупатели книг о правильной беременности: будь то смерзшиеся без чувств камни мужских сердец, которые впотьмах не разбирают в Нико мужчины и берут ее силой; женщины, нашедшие в ее согнутом позвоночнике плач давно умершего от туберкулеза ребенка; старые сморщенные бабки, в движении на четвереньках различат в танцовщице шелудивого пса и нальют молока...

Таких девушек давно не отыскать среди больших городов. Нико, замершая на холме, смотрит на пасторальную деревушку и черный лес, среди деревьев, перевитых друг другом – и ненависть к этой твари в капоре, к ее веселым кудряшкам, девичеству сразу родились в танцовщице.

И когда девчушка спустилась к лесу, шурша юбкой и довольно большим пластиковым пакетом (он был скользким, сквозь дно просачивалась густая кровь, набухла, падала на землю; кровь и девушка совсем не смотрелись рядом, но меж тем были чем-то единым), Нико шершавым движением коснулась ее шеи-без-всяких-там-яблок.

Ее звали Бекки (не та ли это Бекки, друзья, что отправилась под кладбищенские стоки искать младенца? Постаревшая и возросшая Бекки? Хуесоска Тома мать его Соьера?), а вторую – Нико. Вместе они смотрелись единым целым, как если по большому портрету полоснули ножом, а потом соединили две отрезанные друг от друга половины вместе: хищная танцовщица с лысиной и слюнявыми губами, в этой хламиде на голое тело и сорванных с какой-то убитой чешках; и Бекки, вся вылизанные чьим-то старательным языком, хладносердечная, прекрасная, никогда не любившая... с этим пакетом, из которого на землю течет кровь. Дева Голода и Богоматерь-Убийц-Нуво.

Когда вместе они шли по лесной тропе, Нико, наконец, стала еще и Богоматерью Цветов, с хищной улыбкой прожженного сутенера, походкой избитой под ребра ножом шлюхи – и глазами зарезанного агнца, когда все вены лопнули и краснотой заплыл белок.

Вместе они двигались в сторону самой глухой из чащ. Щebetала Бекки, радостно рассказала темной тени, что появилась у ее тапочек на плоской подошве – тени по имени Нико – о мальчиках и маноло блиниках; и, что вчера отпраздновали вусмерть Бал Первоапрельского Дурака, и сегодня пришло время замечать следы. Вряд ли она сказала бы это кому-то, кроме Нико, этой странной темноте, имеющей плоть, что вчера пили до утра и играли в Кровавые Кости: вначале на желания, а потом и на жизни.

- Он вернулся из армии совсем другим. Думал, что мы поженимся, все такое. Очень вовремя наступил этот Бал, когда все пьют и праздную весну... я давно поняла, какой он пустой... но нравился маме. Мы играли с ним до утра. Чтобы завлечь его, я проигрывала и проигрывала специально, и раздевалась, и раздевалась. Я совсем оголилась, его глаза так горели, он был на крючке... влажная-влажная ночь, – лес окутывал туман. Может, только сейчас Нико перестала быть колоколом и двинулась куда-то дальше. Может и так, да – а если и нет, в минуту разговора она подала странное чувство внутри себя, чувство трепета и восторга... а Бекки продолжала. – Я выиграла!

Ее улыбка освещала лес на мили вокруг. Она развернула пакет, чтобы показать Нико его содержимое. Фулхауз!

- Пришло время закапывать темные секреты, как все наши женщины закапывают их на Красной Яме.

...такого, конечно, не может существовать. Но оно существовало, и красиво одетая Бекки делала это место еще более невозможным. Содержимое пакета полетело вниз Красной Ямы, но уже и нельзя было даже сказать, что это – Яма, ведь она до краев была наполнена тем самым, о чем не принято говорить, и о чем все женские тайны – гора мертвецов, волшебная гора наоборот, тотенберг! Там – мужчины, что неверны; мужчины, что громко храпят; мужчины, что опостытели; мужчины, которые любят вжик-вжик с мужчинами – все они свалены здесь, и их гниение подарило женщинам счастье.

- Он бы никогда не обеспечил меня.

Убийство или Маноло Бланики?

Глаза были еще свежими. Он – после усекновения головы – упал ими к небу, а волосы запутались в волосах других сваленных кучей. Теперь – посмертно – все мужчины делают вжик-вжик с мужчинами, это называется Красная Яма. Старая молва говорит, что на Балу Первоапрельского Дурака играют в Кровавые Кости. С начала времен эта игра проедает дыры в сознании смертных. И здесь, в этой деревне, этому дни приурочен другой день – Первоапрельский Развод по-Американски, когда феминистично настроенное население режет и пилит этих ненасытных скотов, их обожаемые хуи и слюнявые глотки.

...а потом вся эта мужская мерзость летит в Красную Яму.

- Бекки-Бекки, а ты бы хотела уплыть с Томом на озеро? – спросила Нико. Она была везде, ее длинные пальцы шуршали под юбкой красивой девушки, обшаривали ее ноги в поисках хотя бы одного волоска, который испортил бы всю картину.

- Что?

Если бы она сказала «да», если бы она сказала «нет», все бы изменилось. Все бы закончилось для этих женщин совсем иначе. Но теперь, когда она задала свой глупый вопрос, Нико возмущенно выгнула спину, а затем распрямилась. Выяснилось, что она почти на голову выше подруги, и в плечах шире ее, как типичный мужчина шире типичной женщины.

Нико увидела полное отсутствие интеллекта в глазах Бекки. Может, она была хороша внешне и в ударе ножом, но ее глаза оказались пусты.

- Когда я болел, мама читала мне книги. А тебе, наверное, нет. А еще, Бекки, эти уколы, болезненные уколы... они всегда вкалывали мне их перед сном, как любому аутику. Они подавляют мужское начало, мешают больному изнасиловать собственную мать, прекращают спермовыделение... они всегда кололи их мне, их вообще колют каждому больному. Как ты думаешь, может это они разрушают наш гормональный фон, и это долгое воздержание даже от нежной мастурбации заставляет застыть между двумя континентами...?

- Какими еще континентами?

Да, никакого интеллекта.

- Континентом мужчин и континентом женщин.

- Кто ты вообще такая?

- Старый моряк. Приплывший с земли, где мужчины и женщины спаяны вместе. И да, мне так давно не делали этих уколов...

Нико с силой схватил Бекки, и припал к ее рту в желании заползти в ее тело. Они были такими похожими – убийцами, шлюхами и сутенерами – только вот Нико не хватало именно такого тела. Сильного, способного вынести гнойные мысли и переполненное червями нутро.

Такое тело, наконец, нашлось. Длинные ногти Нико заползли под трусики Бекки, забрались внутрь. А та уже промокла от вожделения. Да, именно такого тела не хватало Богоматери Цветов – тела, что начинает течь, стоя на краю Красной Ямы, от запаха мертвых мужчин.

Язык Бекки цеплялся за язык Нико, пусть руки первой и упирались в плечи второй, чтобы ее оттолкнуть, язык продолжал получать удовольствие.

Вместе они покатались, не размыкая тел, в Красную Яму, и что-то хлюпнуло под ними, что-то сломалось, и продолжало хлюпать, ломаться, пока Нико шарил в своем рубище в поисках немытого годами отростка. Наверняка, у него был убивающий вкус, но Бекки не удалось испробовать этого, потому как Нико сразу же заползла внутрь. Как паук он двигался внутри широкого пространства распутной Бекки, и плел там свои сети...

Когда поцелуй закончился, начались привычные движения, Бекки уперлась затылком в лицо своего жениха. Нико была яростна, непреклонна и быстра. Когда она скрючилась в оргазме, Бекки увидела худосочную тень на дереве. То был Франциск, правитель Первоапрельского Дурака; он ощипывал шишки, и голыми кидал их на землю. Улыбаясь, он наблюдал, как медленно Красная Яма надвигается на Бекки и Нико.

Он спрыгивает вниз – а всем известно, что его приближение дарит вечную ночь, Нико задирает голову, чтобы рассмотреть его легендарную славу. Тут же она замечает, что ее кожа и кожа Бекки сплелись воедино. Теперь их приросшие друг к другу ладони напоминают чаши.

Срослись они так же в коленных чашечках, грудями, и Адамово яблоко Нико вросло в плоскую шею Бекки.

Нельзя было пошевелиться.

**Франциск.** Какое зрелище!

**Нико.** Темнота!

**Бекки.** Что тебе нужно?! Мы принесли тебе жертву! Красная Яма сегодня полна!

**Франциск.** Этого мало для этого. Вы так урожайны...

**Бекки.** Что тебе надо?

**Франциск.** Ничего.

**Нико.** Чего ты хочешь?! Чего ты хочешь, мать твою?!

**Франциск.** Давай поиграем, Б-И-К-К-О? У тебя есть пять минут, чтобы научиться ходить и покинуть Красную Яму. Если же ты не сумеешь, эти растерзанные мужчины заберут вас себе. Им же так скучно без женщин. А потом вас накроет земля, чтобы смертные не могли найти это кладбище и эти ужасы... давай поиграем? Время пошло.

**Бекки.** Что?!

**Франциск.** Удачи, девочки. У Гарри Гудини ушло бы на это не более двух минут.

**Акт IV.**  
**Нежность к мертвым.**

Ты мне говорил темнота  
Вот прилив все остынет  
Мертвый Брюгге и старый Комбре  
В темноте я тебе отвечал голоса  
Мертвых похожи на звон колокольчика  
Мертвых сплетаются в яростный шум  
Голоса и твой голос стал голосом мертвого  
Прошлого и теперь я тебе говорю голоса  
Мертвых тише чем ты можешь представить  
На холме Бухенвальда заросшего  
Тишиной колокольчиков два мертвых  
Венчаются змеями пальцев  
Хитином ручных пауков латают прорехи  
Своего голоса твоего голоса моего голоса  
Синего перезревшего прошлого  
Как опухоль Брюгге приливом шумит  
В теле моего Комбре

Вот о чем я тебе за границей болевого порога  
говорю где кончается детство  
где потом кончается юность  
о том что оно отцветает осенью  
а потом и осень кончается это дерево  
что центр окружности вписанной в колодец того двора  
четыре раза или пять я замахиваюсь говорить  
раз о том что... пока ты чередуешь  
свои увлечения в периметре моих теорем и я  
говорю тебе как не люблю своего ребенка  
ты переспрашиваешь  
говорю что когда закончилось детство  
юность  
увлечения  
ожидания  
и каждое опасение осталось в том что закончено  
совершенно точно я не чувствую этого  
я чувствую только о боже мой и торжественную  
арелигиозную аллилуйю и предвкушаю то  
что закончится завтра  
созерцательным нервам и размягшим натяжениям  
душевных волокон холодно

## 1. Медея в изгнании

Медея в мехах. Спит, и солнце блестит на ее волосах. Красива, как молодость Гелиополиса, спит, воспитанная в почитании к отцу и любви к матери, спит Медея, золотые у нее волосы, спит Медея, спит в мехах. Обворожительно и не привыкло к труду ее молодое тело, груди налиты соком, плоть зовет к себе жизнь, но только бесстрастное солнце ластится к Медее. Жизнь ее размерена, и это угнетает полное жизни сердце Медеи. Четыре камеры ее сердца наполнены тревогой о завтрашнем дне. Вернется отец, и подарит ей гребень, и мать будет расчесывать ее волосы. Золотом отливают волосы, красивые волосы, и гребень будет красивым, но ничего другого нет в ее жизни, и, кажется, ничего может никогда и не быть, кроме старости. Будет лежать дряхлая Медея, как куртизанка, и прятать свою старость в пожеванный мех. Но она хочет другого. Юная творческая страсть живет в ней, доставшись от матери, но ей страшно, ведь юная творческая страсть ее матери ушла в туну, рассыпалась от ритмики вклинивания в ее творчества отцовского паха; Медея боится, что скоро уже выходить замуж, что скоро все оборвется, и нет никаких перспектив. А за окном город, солнечный и прозрачный, там люди, которые не впускают в свою жизнь и свое сердце Медею; люди, которых она не впускает в себя. Кажется, никто еще не жил в ее сердце, кроме матери. Да и та в ее сердце лишь из дочерней повинности, и не было в жизни Медеи ради этой любви никаких действий и подвигов, она лишь росла в этом доме, да подставляла свои золотистые волосы под красивый гребень.

Утро, день ночь, утро, день, ночь утро день ночь ночь ночь утро утро день ночь ночь ждет Медея утром и ждет Медея днем и ждет Медея вечером ненавистен красивый гребень пусть бы она словно гребень впиалась в сочную жизнь как гребень в сочные волосы пусть бы жизнь проструилась сквозь зубья Медеи пусть бы трагично колело Медею пусть бы и так, но утро, день, ночь, новое утро. Просыпаясь, она смотрит в окно, и за окном ее город, как из тысячи других окон, и никто не врывается в его улицы, чтобы похитить Медею. Никто не ищет золотое руно ее локонов. В ее червонной красоте будто находят изъян чрезмерных ожиданий, и берут в свои жены других. Так погасло золото ее матери, так может погаснуть – ее. Она вырывается из комнаты, горящая и сладострастная, глаз ее зелень обыскивает дом, и не находит ничего нового. Страсть к переменам погашена вновь. Мать расчесывает волосы, и все приговаривает, какая Медея красивая. И Медея знает, что мать не лжет, но знает она и другое, что под этой красивой кровавой мякотью, есть и другое золото, жидкое и не имеющее формы, и Медея не знает, в какую формы или в чьи ладони излить золото своей творческой души, ищет помощи скульптора, жаждет натруженных мужских рук и даже, возможно, грубости, которой боятся все прочие женщины. Она растет в теплой мякоти материнского грунта, в доме бессловесного отца, придавленного властной женой; он ходит бесшумно и молча вдыхает с какой-то запредельной радостью воздух, уходит на работу, и возвращается сюда, где не ждут его слов. Мать расчесывает волосы. Она вся живет уходом за дочерью, свой гнев неудавшейся жизни выливает на мужа, слезами рвется к прошлому, но молодость уже погасла, и она догнивает здесь, морщинами прикасаясь к золотым волосам Медеи. А Медея в красивых платьях, играет фа-диез минорную симфонию для своей старой матери, дом наполнен шумом этой игры, но никого не влечет в этот дом фа-диез минорная симфония. Дом забыт для смертных, и Медея, укутанная в роскошь родительской любви, жаждет похищения, а иногда – чтобы ее изнасиловали. Она обильно влажнеет, думая о том, что и с ней может случиться хоть что-то. Но за окном тихий город, где ничего не случается. Жизнь тиха и напоминает послеобеденный сон, отягощенный лишь переполненным желудком. Медея не

верит, что зло существует; она даже боится, что его породили умы, чтобы беречь раны таких, как Медея... город вечно спит в своих миролюбивых забавах, под звон фабричных цехов и клаксонов, а люди передвигаются по нему в поисках приключений, и стареют, не находя. Жизнь скучна, как фа-диез, но за ее видимым слоем обязана пульсировать какая-то другая жизнь, прорыв к которой напоминает резкий удар ножом по руке, за видимым слоем кожи и обильной реакцией кровью можно обнаружить потаенный мир сокращающихся мышц... так и за видимой скудностью улиц должно обнаруживаться нечто другое. Каким бы не было это нечто, оно уготовано Медеи, ведь каждый из нас знает пункт назначения, к которому стремится душа. Медея обдумывает резкое движение, которое следует совершить, чтобы история произошла. Чтобы какая-то история начала происходить не вокруг Медеи, а с ней.

Она идет с матерью по магазинам, чтобы купаться в мужском внимании. Вращается позолоченный флюгер на крыше ярмарки тщеславия, Медея сияет от радости. Как же их много, этих мужчин, с жаром смотрящих на упругие формы; моряки и военные, коммерсанты и предприниматели, большие и маленькие, толстые и худые, рябые мальчишки и сидящие ловеласы, с каким же огнем они смотрят вслед Медее, какими сладкими поцелуями осыпают следы ее ног на асфальте. На самом же деле, конечно, никому она не нужна, нет дураков, чтобы взять ее в жены, а вместе с ней – ее мать; никому не нужна инфантильность Медеи, никому не нужна ее властолюбивая мать. Даже нетронутые прелести не компенсируют этого, только и остается – провожать ее жадными взглядами. Но что до Медеи, то она и не хочет замуж. Нет нужды выходить замуж девственницей, раз уж такое время, когда это можно. Нужно потеряться в истории и уже там потерять, а потом – можно и замуж. Остудить этот пыл, а потом послушаться мать. Коль уж в мужья сегодня берут расчехленной, нет нужды предлагать мужу больше, чем требуют нравы.

Большое Приключение для Медеи начинается в саду. Яркое и доброжелательное солнце намекает на счастливую дорогу. Под большим деревом Медея находит чудовище, вроде бы, личинку майского жука или кого-то другого. Грациозное, пять сантиметров в обхвате, напоминающее член, оно лежало на ладони, и можно было почувствовать, как под белой и тонкой мембранкой кожицы бьется сердце, или что-то другое, исполняющее функцию сердца. У чудовища был рот, и от страха перед Медей чудовище ртом закусывало себе хвост, образуя защитное кольцо. Пальцы гладят кожицу, губы гладят кожицу, увлеченная гаданием на внутренностях, Медея решает узнать свое будущее, и садовыми ножницами аккуратно разрезает упругое тело надвое. Обе половинки корчатся на ее ладони, испускают зеленоватый сок, и говорят, что будущее Медеи скользко и неясно. И Медея понимает, что оно – в ее руках; ничто не начнется без ее ведома. И поэтому решается поговорить с матерью. Эта личинка на ладони отсылает к воспоминанию, где отец принес домой букет амариллисов и вручил их Медее, сказав, что она королева, и что отец поцеловал тогда ее руку, цвет амариллисов цветом напоминает тонкую кожицу страшной личинки.

**Медея.** О, мама...

**Мать.** Ночь сегодня была ко мне зла. Я говорю ночь, имея ввиду то время, когда я сплю. Мне так и не удалось совместить мою ночь и ночь объективную, и потому злые силы мучают меня странными снами. Если бы я ложилась в полночь и вставала утром, все было бы иначе, и на моем лице не было бы морщин. Я чувствую, как во мне огнем горит желание другой жизни, и во всем своем горе обвиняю неправильный график сна. Всею виной в моей жизни полночи – полночи, когда я только начинаю приходить в себя.

**Медея.** Я хочу поговорить.

**Мать.** Конечно, ты ведь чувствуешь, что мне снятся дурные сны. Конечно, ты хочешь поговорить со мной.

**Медея.** О другом.

**Мать.** Мне виделся город, по улицам которого мужчины передвигаются с завязанными глазами. Вечером они идут к главной площади, где получают из рук женщин пищу, а затем получают женщин. Мужчина ко всему способен привыкнуть. В нем есть эта врожденная привычка – забывать потерянные бедра. Тогда как мы не способны смириться с неудавшейся судьбой...

**Медея.** Да, я не могу.

**Мать.** Но когда-нибудь ты будешь кормить слепого мужчину, и своей сутью восстановишь его потерянное бедро... Я видела, как эти слепые овладевают женщинами, каждый своей, они знают их тела от и до, и умеют отличать свою женщину от чужой, как свинину от говядины, пусть они и не против попробовать какую-то другую, и даже делают это, если ее хозяин болен или не успел прийти на площадь вовремя, – но все же они возвращаются в свое стойло. В мягкой плоти они засыпают и чувствуют уют ее потаенных скважин, они двигаются вперед, желая пробудить ее воды.

**Медея.** Я хочу изменений.

**Мать.** Каких-либо глобальных изменений?

**Медея.** Именно.

**Мать.** Я понимаю, к чему ты клонишь. Мне не хотелось бы баловать тебя, чтобы не расшатывать твою покорность, но я готова пойти тебе навстречу. Ты можешь занять комнату на первом этаже, она совсем не такая, как твоя комната, вид из окна совсем иной, ты будто попадешь в другой мир. А еще мы могли бы купить тебе новые платья. Если ты откажешься от своей привычки к цветам и фасонам, доверишься новизне, твои горизонты будут расширены до бесконечности. О, не надо так реагировать, мы с твоим отцом всю жизнь работали для этого мгновения, пусть я, конечно, и не работала, но выполняла важную миссию – принуждать к работе Его, – и вот, мы готовы отдать всю эту кровь тебе, Медея, и все наше состояние на твой гардероб. Мы понимаем, как важно это для молодой девушки – перемена.

**Медея.** Спасибо, мама, но я не совсем про это.

**Мать.** И я тоже. Я говорила о городе моего сна. О женщинах, которые ждут своих мужчин с работы. Это такой же город, как и все остальные, где женские прелести дожидаются прикосновений и ласк работников фабрики, – так я подумала, но затем увидела, что все эти женщины сшиты в одно, огромная-огромная гора из женских тел, а точнее – огромное животное, червь, сотканный из миллиарда женщин, – долго существовал под землей, и показал свою голову в этом городе. Вместо площади вход в пещеру, ты ведь знаешь, Медея, какие глубокие символы сопряжены с пещерой, какая хтоническая мощь в одном этом слове – «пещера», – и из этой пещеры огромный червь, сделанный из женских тел, показал свою голову, опрокинул ее на асфальт, и позволил мужчинам резвиться со своими... с чем бы это сравнить, кусочками (?), деталями (?), частями? Нет, скорее эти женщины как волоски на лице, то есть растут из массива белого тела первобытной матери, и это даже не червь, а линии или щупальца, идущие из центра вселенной, под всеми городами, огромная и великая мать бьется сердцем и двигает прогресс человечества... это она порождает в тебе желание перемен и новых платьев, это она принуждает мужчин к работе на фабрики, и ее многочисленные дочери удовлетворяют мужские потребности. И вот я увидела ее во сне. Дочь багровую, с чашей из человеческой кости, а в чаше той блуд и мясо, – все то, что нужно мужчинам. Центральное-царственное ее тело росло из вершины этой горы, оно было, как ноготь, если вновь продолжить метафорический ряд, и на этот раз сравнить

червя с пальцем первобытной матери, – главная женщина сидела на червивом троне, и другие женщины образовывали массив ее вотчины; надзирательница, Дочь багряная, с венцом из зубов проституток, сидела на спине этого диковинного зверя-червя и поила мужчин города блудом из своей чаше, мясом своих дочерей, и если это была гора, то мужчины – сношали камни, и не видели этого сквозь свои повязки, и мужчины не понимали, что сношают камни, потому что мужчинам, что камни, что женщины, что другие мужчины. Что может значить этот сон, Медея?

**Медея.** Предсказание о будущем?

**Мать.** И что же я предсказала?

**Медея.** Помнишь амариллисы, которые отец раньше так часто приносил нам?

**Мать.** Помню. По букету за каждую шалаву, на которую хотел бы заскочить. А с тех пор, как тело перестало возбуждаться, иссякло и его чувство вины перед нами, потому больше нет амариллисов. Но, может, есть и другая трактовка. Ты ведь знаешь, что всякая вещь должна быть рассмотрена со всех сторон. Так говорил один мой любовник, драматург, и я думаю, в чем-то он был прав. Помимо этой правоты, он дарил мне амариллисы, и твоего отца это злило. Возможно, не собственным чувством вины он наделял цветы, но принуждал меня к этому чувству.

**Медея.** Ты не говорила мне об этом драматурге.

**Мать.** Я забыла. А сейчас я вспомнила, что любила его.

**Медея.** Прямо любила?

**Мать.** Конечно.

**Медея.** И почему ты не ушла к нему?

**Мать.** Не знаю, так получилось. Наверное, я просто не люблю уходить. Вот ушла к шоферу, а когда закончилась любовь, вернулась. Я женщина, и у меня много платьев, а значит, мне приходится возить их туда и обратно. А этот шофер... когда он любил меня, то, конечно, подогнал машину, и помог мне загрузить в нее вещи, а потом сам же разгрузил, то есть – по его меркам – достал для меня звезду с неба. А вот обратно пришлось самой. Твой отец даже не помог мне поднять их на второй этаж; его мелочность, его повышенное внимание к своим обидам и настроениям испортило мне жизнь.

**Медея.** И про шофера я не знала.

**Мать.** Тебе было четыре.

**Медея.** Я жила с вами?

**Мать.** Нет, ты не поместилась в машину. Слишком много платьев. Я думала забрать тебя позже, но все не находила времени, а потом уже и сама вернулась. Так что ты ничего не заметила. Ну так что там с твоими амариллисами?

**Медея.** Я была в саду (*показывает матери ножницы*) и гадала о своей судьбе.

**Мать.** Я знаю, о чем пророчат ножницы. Как ни крути, а всегда одно и то же. Вещие сестры разрежут очередную нить.

**Медея.** И поэтому я гадала на внутренностях. Я разрежала чудовище, которое похоже на чудовище из твоего сна, но только в миниатюре. Тонкая кожа, белесая плоть, думаю, девочка, я чувствовала дыхание, когда оно лежало на моей ладони...

**Мать.** Как хорошо, что ты продолжила мои ряды, и помогла провести параллель между первобытной матерью и моими любовниками. Сколько же их было?

**Медея.** Ты не помнишь?

**Мать.** Не всех. Но некоторых очень четко. Видела их будто вчера. А одного и впрямь – вчера.

**Медея.** И отец все знал?

**Мать.** Не все, конечно. Я хорошо прячу скелеты в платяном шкафу. О чем предсказывает мой сон?

**Медея.** О переменах. Он предвосхищал наш разговор. Ты знаешь, мама, я вовсе не хочу быть частью огромного скопления женщин и удовлетворять слепого работника фабрики. Я хочу уехать.

**Мать.** Это невозможно. Ты не уедешь.

**Медея.** В другой город... отыскать саму себя.

**Мать.** Ты не уедешь.

**Медея.** Но почему?

**Мать.** Незачем. Некуда. Ты не уедешь.

**Медея.** Я хочу искать любовь.

**Мать.** Поищи на улице, загляни в магазины, дай объявление.

**Медея.** Но любовь должна приходиться внезапно; она должна поражать мое нутро, она должна появиться из ниоткуда...

**Мать.** А затем исчезнуть в никуда, оставив тебя с голой задницей. Ты не уедешь.

**Медея.** Мама! Я убью себя! (*подносит садовые ножницы к горлу*)

**Мать.** Прекрати. Прекрати или убей себя.

**Медея.** Я убью себя.

**Мать.** Я вижу кровь. Режь глубже.

**Медея.** Но я убью себя.

**Мать.** Как все нелепо. В детстве ты просила хомяка, и говорила, что повесишься на полотенце, если не получишь его. И что вышло? Он умер через три дня.

**Медея.** Я была маленькой. Но Любовь – это не хомяк.

**Мать.** Да, от нее еще меньше пользы. Чаще всего, она живет меньше трех дней.

**Медея.** И все же я убью себя, если ты не разрешишь мне уехать.

**Мать.** Тебе некуда ехать.

**Медея.** Я поеду в соседний город.

**Мать.** Это плохой город.

**Медея.** Не хуже этого.

**Мать.** В нем нищие люди, и улицы похожи на кровоточащие десны, в нем некуда выйти, а все мужчины уже нашли себе жен.

**Медея.** Любовь не знает преград.

**Мать.** Зато мужчина знает о них. Иди в свою комнату. Можем сходить в кафетерий после того, как ты протрешь спиртом царапину на своей шее.

**Медея.** Вскоре от моей шеи будет только рана.

**Мать.** В соседнем городе ты вся станешь раной, ты вся будешь кровоточить и плакать о возвращении. Но уехав в Содом, ты не сможешь вернуться в нашу Гоморру. Ты не уедешь, потому что нужна мне. А еще отцу.

**Медея.** Но я хочу любви! И я убью себя.

**Мать.** Убей себя.

**Медея.** Мама!

**Мать.** Убей себя!

**Медея.** Мама, мне это необходимо. Моим легким нужен воздух, моему сердцу нужна новая кровь, мои молочные зубы все выпали, и десны мои пусты. Моим рукам нужна мужская рука, моему телу нужен мужчина, моя душа вся влажная от желания перемен, смотри, – она красная и влажная, вытекает из моего пораненного горла.

**Мать.** Выпусти ее.

**Медея.** Мама!

**Мать.** У нас порядочная семья. И лучше самоубийца, чем проститутка.

**Медея.** Я не проститутка.

**Мать.** Но ты станешь ей там, где улицы скользкие от нечистот, где не почитают родителей, где безрадостные закаты и рассветы похожи на менструацию. Я мучилась и рожала тебя не для того, чтобы услышать «мадам, вашу дочь нашли убитой...» и не для того, чтобы ты вернулась пузатой. Убей себя или – иди в комнату.

**Медея.** У меня болит горло.

**Мать.** Ты такая же, как твой отец. Плачет в углу, слушая мои страсти с соседями, плачет и говорит о любви, плачет и говорит, и позволяет мне плясать каблучками на его крохотном пенисе, и думает, что раз он такой мягкотелый, я сжаюсь и перестану танцевать; но мир таков, что если ты позволишь ему и скажешь «танцуй», он сделает, и вот я танцую, а он плачет. Ты такая же неспособная на поступок. Иди в свою комнату.

**Медея.** Мама...

**Мать.** Иди в свою комнату и жди любовь. Можешь смотреть в окно.

**Медея.** Я не хочу больше видеть тебя.

**Мать.** Так не смотри. Но не забудь, что мы собираемся в кафетерий.

## 2. Венера впотьмах

Это очень плохо, если тебя зовут Венера. Если у тебя нет денег, чтобы выбиться в люди. Если ты хочешь быть художницей и, если дурна собой. Ты пытаешься говорить с людьми языком искусства, но это мертворожденный язык. Для всех – ты просто слабоумная девушка из Кельна, ты учишься в колледже, ты осваиваешь изящные искусства, ты очередная бездарность. Ты рисуешь покосившиеся домики или церкви, в этом нет ничего необычного, никто не пророчит тебе великое будущее... ничего. Просто ничего, – вот будущее современной Венеры. Ее блеклые волосы. Ее тело. Ничего. Сплошной ноль. Говорят, ноль можно умножать на бесконечные величины, и все равно получится ноль. У Венеры нет выхода. Однажды даже прочитанные книги перестанут спасать. Цитата на каждый день – не то, что нужно современности.

Твою первую подругу зовут Ди. Первая подруга? Ее отец хищно присматривал за своей дочерью, и вскоре ты была вычеркнута из ее списков. Как это и бывает, время стерло из твоей памяти секреты маленькой Ди, но иногда ты ее вспоминаешь. В этом нет смысла, это лишь устройство нашей памяти – наделять максимально далекие вещи глубоким смыслом. Поэтому люди любят Иисуса, эта любовь химического уровня или даже болезнь, наследуемая новыми поколениями. Ты оканчиваешь колледж, и перед тобой никаких новых горизонтов, абсолютный штиль, твои паруса порвались во время рождения, такое случается, не стоит переживать. В этом мире много прекрасной работы для выпускниц художественного колледжа. Официанткам понадобится Джотто. Секретарям – Караваджо. Каждому знанию свое особое место. Ты пригодишься – где-нибудь, а потом наступит ночь.

Ты останешься одна. Совсем одна, когда наступит ночь. В самую долгую ночь твоей жизни ты будешь совсем одна. Получая диплом, ты не знала этого, ты многого еще не знала, но в ту ночь ты будешь совсем одна. Ночь, когда умрет твой ребенок. Плод девяти месяцев тошноты и кесарева сечения. Ты рожала в тихом роддоме, где, кажется, штукатурку не меняли с великой депрессии. Ты точно помнишь цвет штукатурки и имя своей акушерки. Это очень важно. Ты мяла край простыни во время схваток. Ты не смотрела в окно палаты, именно это окно – напоминало тебе о том, что твоя жизнь уничтожена. Но если не смотреть в окно, правда уходит вглубь, правда рассасывается при сильной боли, можно втыкать булавки или прижигать сигаретой, при схватках ты просто и наивно мяла край простыни – в роддоме, будто вытекшем на тебя из какого-то фильма ужасов. Ты помнишь, как скрипело колесо твоей постели. Стоит шевельнуться, и оно будет скрипеть. Есть еще воспоминание о лошади-качалке твоего младшего брата. Он очень любил седлать этого коня, когда у папы начался рак. Ты говорила ему, что папа просто побрился налысо, и твой брат тоже хотел – побриться налысо. Ты говорила маме, что нельзя так делать, но ей ни до чего не было дела, и вскоре он – уже лысым оседлал своего деревянного коня. В этом есть что-то неправильное? У Венеры нет времени рассуждать об этом, у нее нет времени вести дневники или что-то такое, у нее нет времени причитать или смотреться в зеркале. Когда у тебя на руках крохотный ребенок – все отступает от тебя. Тебе начинается казаться, что ночь никогда не настанет; ты падаешь на кровать и просыпаешься по ее крику, дни мелькают перед тобой, и когда тебе кажется, что все начало получиться, наступает самая длинная ночь в твоей жизни. Такое случается, маленькие дети умирают, и ты остаешься с эти один на один. Только теперь ты понимаешь, что значит выражение «один на один». Деревянный конь твоего брата, рак твоего отца, скрипящее колесо и блистательное будущее Ди – все это внезапно становится важной составляющей твоей потери. Кажется, все это – даже является странной причиной того, что твой ребенок умер. Вот и все.

...

Ты уже несколько лет работаешь в архиве, ты имеешь дело со старыми книгами, как тебе и хотелось. Странно, что ты знаешь историю чужого города лучше, чем коренные жители, лучше, чем свою индивидуальную историю. Возможно, ты рождена, чтобы сохранять вечность в сохранности. Ты знаешь, от чего умерла жена строителя обувной фабрики, кто получил местечковую поэтическую премию сорок восемь лет назад, ты разглядываешь старые снимки, а еще протираешь пыль. Странно, что твой муж живет совершенно нормальной жизнью. Наверное, мужчины воспринимают гибель потомства рациональным полушарием своего мозга. Утром он причесывается, будто жизнь продолжается. Он идет на работу, чтобы вечером вернуться с работы. Странно, но для него день и ночь продолжаются. Две недели назад он погасил свет и притянул тебя к себе. Ты ощущаешь свое тело отстраненным, чужим предметом. Ты отлучена от собственных переживаний. Он расстегнул пуговицы на своей рубашке, и ты отметила, что он не принял вечерний душ. Это не слишком волнует тебя, по крайней мере, ты не задумываешься об этом, когда он притягивает тебя к себе. Ты не думаешь так же о запахе его гортани, когда он тебя целует и камнях в его почках. Ты позволяешь ему шарить по твоей груди в поисках чего-то... чего? Ты не знаешь ответа, но вот он, кажется, находит искомое и издает протяжный звук. Вы никогда не предохранялись: вначале не было денег, а затем просто не предохранялись. Он говорит, что ты очень красивая, но это просто так. Он не считает тебя красивой, и ты знаешь, что он не считает тебя красивой. Его рука продвигается по твоим ребрам, и твои ребра очень нравятся его рукам, твое тело уже полностью уничтожило следы родов, от твоего ребенка ничего не осталось, даже воспоминаний тела. Он проникает тебя вначале двумя пальцами, затем добавляет третий, и ты без всякого на то желания становишься влажной. Это физиология. Химия, физика и прочие священные науки все решают за тебя. Он повторяет, что ты очень красивая, прокручивая в тебе пальцы. Затем проводит влажной рукой по твоей спине, потом вытаскивает спицу из твоих волос, и начинает мять их этой влажной рукой. Он дышит тебе в шею, волосы на его животе и спине уже поседели, но ты можешь сказать ему, что он очень красивый. Это просто семейное лицемерие, это помогает его дружку подняться ввысь. Он входит внутрь. Несколько минут ты существуешь в ауре его запахов и живешь в такт его движениям, потом он кончает. Самое странное, что ты тоже кончаешь. В последние минуты ты начинаешь думать о том, что ваша маленькая девочка умерла, и внезапно кончаешь. Вряд ли это связано, но ты кончила в тот момент, когда представила ее лицо... ее лицо уже уплывает от тебя, ты едва вспоминаешь родные очертания, он говорит тебе, чтобы ты перестала жить прошлым, ты говоришь ему, что хорошо, он входит в тебя каждую среду и каждую пятницу, когда его рабочий день сокращен на час, каждый раз он говорит тебе, что ты очень красивая, каждый раз вставляет вначале два пальца, а затем добавляет третий. По воскресеньям ты делаешь ему утренний минет, а он никогда не моется по субботам. Его запах наполняет тебя, но это не имеет значения. На улице осенние тучи, и ты стоишь на четвереньках на вашей большой кровати, когда редкие лучи солнца освещают твое семейное белье – без всякой рюши или другой нарядности – и сосешь его леденец в холодной прострации. Он открывает глаза и видит, как ты водишь головой вверх-вниз, как заведенная кукла, затем проглатываешь и хлопаешь его по ляжке, намекая, что пора вставать. Пока он пьет кофе с бутербродами, ты полощешь рот, хотя на самом деле тебе не противен вкус его спермы; на самом деле – тебе ничего не противно. Ты выходишь на улицу, чтобы просто пройтись по улицам. В тишине воскресного утра ты наблюдаешь туман. Он знает, где тебя найти, знает твое любимое место в городе. Он придет сюда за тобой, чтобы взять за руку, чтобы сказать, что любит тебя. Затем вы будете некоторое время молча смотреть вдаль,

где пересохшая дельта реки вьется под вашими взглядами мозолистым телом. Он повторит, что любит тебя. На его ногах мозоли с белыми трещинками. На его правом боку трогательный белый шрам от старого перитонита. Он носит очки, и, конечно, видит, что ты совсем некрасива. Некоторым мужчинам не остается других женщин, и они вынуждены жить с такими, как ты, они вынуждены любить, таких, как ты, они – эти мужчины – просто принимают жизнь такой, какой она им является: с холодными улицами, перегоревшими фонарями, болями уретрита, изжогой и мертвыми дочерьми. Ты знаешь, что до тебя он любил другую. Ты знаешь, что он любил ее больше, чем тебя. Ты догадываешься, что он любит ее и сейчас, ведь такие преданные мужчины, как твой муж, однолюбы. Ты тоже любила только однажды, но твой ребенок погиб. И его ребенок, между прочим, но его сердце остыло – задолго до смерти вашей дочери, задолго до ее рождения. Он говорит, что любит тебя и пора возвращаться домой.

...

С тех пор, как ты переехала, ты никогда не возвращалась домой. Наверное, мама уже умерла. Они никогда не верили в твои способности, и поэтому тебе некуда возвращаться. Ты уехала к мужчине, который так же не верил в твои способности. Однажды вы ехали по дороге, и он задел бампер чужой машины. Он трусливо поехал дальше, и ты поняла, что этот мужчина способен на подлость. Может быть этот момент ты вспоминала в тот момент, когда умерла твоя дочь, а может ты вовсе ни о чем не думала. Это было в год очень дурной осени, когда ты подрабатывала в кафе, и тебе приходилось брать малышку с собой. Ты протирала столики и улыбалась клиентам, – он никогда не спасал тебя от работы. Ты всегда была наедине со своим предощущением страшного будущего: ты жила тет-а-тет со своим токсикозом и женскими страхами, ты одиноко сидела в кресле гинеколога с загибом матки, ты рожала в момент его командировки. Он любил вашу дочь как-то априорно, без всяких на то проявлений, и ты знала почему. У женщин, которых зовут Венера, нет других вариантов, ты принимала своего мужа по умолчанию. Ты больна синдромом «первого мальчика» и «маниакальной депрессией», первое не лечится, а на лечение второго нет средств. Он приехал из другого города и пил кофе, которое ты ему подала. Он был крупен в плечах, его живот в коричневой майке слегка выпячивался, ты думала, что хорошо бы выйти за него замуж. Он любил другую женщину, и лечил свою любовь твоей плотью. Первый раз было унижительно, но потом ты привыкла. Женщины рождены так, чтобы привыкать ко всему. Первых четырех сеансов лечения было мало, и он сказал тебе, что хочет продолжить процедуры, то есть – он сказал «выходи за меня», и ты смогла уехать из своего города и больше не видеть мать. Когда ты уезжала, тебе казалось, что все изменится. Когда ты приехала в новый дом, осознала, что нет. Вначале он лечился твоей плотью почти каждый день, а потом, когда его любовь, видимо, ослабла, начал пользоваться тобой реже. К нему вернулся прежний аппетит и трудолюбие. Примерно тогда ты забеременела, и вы перешли исключительно на воскресный минет. Ты знаешь, что в этой позе, когда твоя голова шарнирно двигается вверх-вниз, очень напоминаешь ему другую женщину, он зажмуривается и представляет на месте твоего рта другой рот. Все глотки одинаковы, очень легко представить. А его сперма какая-то трогательная, очень детская, ты испытываешь прилив нежности, когда его головка напрягается и выпрыскивает утреннюю молофью. В этих мыслях есть что-то извращенное, но это не имеет значение. Женщина без внешних данных, обделенная талантом и верой в себя – обречена на отсутствие точки зрения. Теперь, когда ты работаешь в архиве, ты полностью обезличена. Ты хранишь в себе чужую информацию. Ты напоминаешь жесткий диск или исписанный дневник. Ты лишена самости и устремленности в будущее. Ты помнишь, что он лишил тебя девственности на кушетке в подсобном

помещении кафе, ты думаешь, что любишь его или по крайней мере любила, ты думаешь, что и он как-то особенно любит тебя. Ты терпишь его вонючие тапки рядом с кроватью, ты стираешь его грязные полотенца, ты знаешь, что он надевает носки дважды, прежде чем отправить в стирку. Ты знаешь, что иногда во сне он плачет, когда ему снится любовь юности. Однажды 17 апреля он сказал тебе, что в той любви не было ничего особенного и никаких фактов, она не давала ему поводов думать о взаимности, но он так не мог пережить этого, что всем друзьям рассказал, будто поводы есть, и все друзья так поверили в это, что старательно несколько лет пытались их свести; он сказал тебе, что она возненавидела его, когда все общие знакомые начали намекать ей, будто она влюблена в него. Он сказал тебе, что у нее были такие же голубые глаза, как у тебя. И ты ответила, что у тебя глаза зеленые. Тогда он подошел ближе, чтобы рассмотреть, и от унижения ты протянула руку и начала мять его член, который уже давно был готов. Возможно, именно тогда ты забеременела.

...

Ты работала шесть смен в неделю по десять часов. Ты забыла все, о чем рассказывали в колледже. Ты работала до восьмого месяца, и муж уговаривал тебя отработать еще две недели. Воды отошли, когда его не было дома. Ты сама вызвала врачей, ты все сделала сама. И когда ты вернулась с ребенком, ты сама постирала перепачканные простыни. Через два дня после ее смерти он попросил тебя о минуте, и ты отказалась, и тогда он заговорил о вашей дочери, и заплакал, ты тоже заплакала; тогда он прижал тебя к себе и начал гладить по голове, а потом – все же трахнул.

Он всегда говорил тебе: Венера, однажды тебе повезет! У тебя такое редкое имя, однажды точно случится что-то из ряда вон! Он не ошибся. Правда, теперь, когда ты работаешь в архиве, тебе известно, что такое «из ряда вон» случилось не только с тобой. Как минимум еще семнадцать женщин с банальными именами пережили подобное за последние шесть лет. Но все же в какой-то мере он оказался прав, и это, конечно, его очень радует. Твоего мужа очень радует, когда он одерживает верх в споре. Он боится показаться перед тобой глупым, и это его форма любви. Он не требует от тебя многого: принимает тебя только сверху, и ты, придавленная его большим телом, испытываешь редкие оргазмы. Ты любишь его, это самое глупое, что случилось в твоей жизни. Когда у тебя впервые начались месячные, ты бегала по дому и кричала маме, что у тебя рак. Никто не додумался объяснить тебе, что происходит. Ты всегда была не нужна всем, кроме него. Только ты могла исцелить его от ОГРОМНОЙ ЛЮБВИ, только ты согласилась лишиться его застоявшейся девственности. С тобой он разделял свои вечера и просмотры телешоу, с тобой он ездил на машине и ради тебя просыпался по утрам. Ты знаешь, что он хотел покончить с собой за три месяца до вашего знакомства, но оно избавило его от подобных мыслей. Когда он умрет, ты будешь получать вдовью пенсию и доживать свои дни с мыслью о своей крохотной девочке. В твоём тихом доме будет стоять ее плач. На улице всегда будет осень, всегда будет идти дождь, ты навеки заточена в эти воспоминания, у тебя нет и не будет средств поменять квартиры, ты заперта в клетку этих воспоминаний, в давящие стены вашей супружеской спальни, вдавлена в постель весом его тела, уничтожена бесконечной ночью. В твоих тревожных снах – красные птицы летают на фоне темноты. Ты видишь голого мужчину с замочной скважиной посреди грудной клетки. Кожа вокруг этого выреза покрыта фурункулами, иногда из замочной скважины показывает свою треугольную голову зеленоватая змея; лицо мужчины обезображено, в его рот удилами вставлена колючая проволока, его губы срезаны, а запястья освежаваны от кожи. Ты не знаешь, кто он такой. Но когда он видит тебя,

то глаза его расширяются от радости; красные птицы садятся на его плечи и на его освеженные запястья, чтобы клевать драное красное мясо; он хохочет от этой боли, раздирая рот еще сильнее шипами на колючей проволоке, ты просыпаешься. Ты просыпаешься, и не находишь вокруг себя ничего. Тебе некуда протянуть руку.

Время умирать и время умирать, – вот два твоих времени.

Ты работаешь в архиве, ты копаешься в воспоминаниях чужого города. Раз в две недели ты стираешь вонючие тапки своего мужа. А еще ты знаешь, что он иногда забывает смывать за собой в туалете. Когда ты это видишь, на минуту замираешь в прострации, разглядывая плавающее дерьмо. Тебе не противно, но как-то удивительно от увиденного. Затем ты смываешь, и уже через три минуты забываешь о случившемся. Потом ты принимаешь душ, и иногда он стучится в дверь, чтобы взять тебя в душевой кабине. Тогда ты прижимаешься грудью к холодному кафелю, и выпячиваешь зад, чтобы ему было легче вцепиться в него. Он крепко сжимает пальцы, и толчется в тебе некоторое время, а затем кончает. Но ты никогда не кончаешь стоя. Наверное, такая физиология.

...

В архиве нет ничего о мужчине с ободранными запястьями. Он и его красные птицы – не является городской легендой. Это очень индивидуальный демон. Как и твоя умершая дочь – он принадлежит только тебе. Твои короткие оргазмы, воспоминания и демон с колючей проволокой – вот и все, что тебе остается, Венера. Когда муж описывает стульчак, поленившись его поднять, ты без всякой брезгливости садишься на эти желтые пятна, а потом просто вытираешь задницу. Жизнь научила тебя не бояться никакой грязи. Тело не умирает от соприкосновения с испражнениями. Клиническая депрессия делает твой разум спокойным, апатичным, очень осенним. Твои настроения не меняются и перепады менструального цикла не выводят твою душу из равновесия.

Это случилось осенью. Ты привела ее в кафе, как часто делала по понедельникам, четвергам и пятницам. В кафе были шоколадного цвета стены, тебе всегда нравился этот цвет, а еще фотографии Франции: Башня и Нотр-Дам. Женщины предпочитают эспрессо и глясе, мужчины – капучино и латте. По внешнему виду покупателей ты можешь предугадать, что именно он закажет. Ты очень хорошая официантка. Возможно – это единственное, что ты делаешь хорошо. Никто не делает тебе двусмысленных намеков, женщины смотрят на тебя с легкой жалостью, но без брезгливости: ты всегда опрятна и твои волосы аккуратно зачесаны назад. Твой большой лоб лучше не выпячивать, но все же, ты всегда зачесываешь волосы назад во время работы. Твоя малютка пьет горячий шоколад и играет куклами в подсобке. Туда имеет доступ только персонал, в этом ты уверена, но когда ты уже закрыла кассу и пошла ее проведать – подсобка была пуста. Ты не помнишь, что ощутила в ту минуту. Может быть, еще ничего. Казалось, сейчас рассосется, но ты уже знала, что ее нет. Ее просто нет, и ее больше никогда не будет. Ведь муж всегда говорил тебе: Венера, с тобой обязательно случится что-то эдакое! Вот и случилось. Жертвами акул за год становится около сотни человек. Это фантастическая смерть, никто не поверит, если ты расскажешь, что твоего знакомого съела акула. С убийствами так же. Они всегда происходят с кем-то другим, убийцы всегда охотятся на других улицах. Наши дети бессмертны в противовес высокой смертности чужих детей. Маленькая девочка пропала в шоколадных стенах. Провалилась в творожных торт. Лежит где-то, нашпигованная мужскими сливками. Перелом бедра. Шестнадцать изнасилований. Экспертиза определила, что мужчин было четверо и что-то еще. В ее крохотном влагалище нашли следы ржавчины и битое стекло. Изнасилование ржавым ножом – выходит за пределы бытового утоления похоти. Кожа с запястий снята и не найдена на месте преступления.

Колючая проволока продета сквозь щеки и запаяна на затылке. Непроницаемый обруч боли. Терновый венец, пропущенный сквозь рот. Четыре выбитых зуба. Молочных зуба. Двадцать четыре перелома. Уши отрезаны. Маленькая девочка пропала из кофейни посреди осени, ее мать растерянно обследует помещение, под мышками у нее растеклись пятна. Сто человек в год съедает акула. Жертвами МАНИАКАЛЬНОГО убийства – становятся избранные. Например, те, чьи матери носят имя Венера.

Муж трахнул тебя через два дня, после того как тело наконец нашли. Он трахнул тебя от боли и ужасающего страха перед случившимся. Он помнил, что однажды пользование твоим телом избавило его от боли, и рефлекторно решил повторить терапию. Ты лежала под ним, как нашипованная стеклом, а он оставил в твоём терпеливом теле остатки ржавчины.

Однажды, Венера, с тобой случилось что-то из ряда вон!

...

Архив говорит, что ты восемнадцатая. То есть в этой бескрайней ночи вас восемнадцать + мужчина с окровавленными запястьями; Тот-Кто-Продает-Колючую-Проволоку. Ты видишь в своих снах, что она торчит хвостом из его копчика и ее след теряется в темноте. Если идти по этой колючей проволоке, можно отыскать начало этой истории, но ты этого не делаешь.

Когда твоя девочка пропала, он сказал тебе, что все образуется. Он сказал, возможно она увидела в окно красивую собаку и побежала за ней. Но в подсобном помещении нет окон. Он сказал, что возможно она у кого-то в гостях и уже сладко спит. Ты не знаешь, у кого в гостях и на каких основаниях может быть четырехлетняя девочка. У нее нет друзей. У маленьких девочек, отстающих в развитии, бывают только воображаемые друзья. Но он говорит, что любит тебя, и впервые ты ему веришь. Его плотное тело крепко прижимается к тебе, и ты слышишь силу его сердцебиения. Этой ночью он не спит так же, как ты. Этой ночью вы одно целое – и от вас оторвали кровоточащий кусок.

Три дня ваш запрос обрабатывают специальные органы, и лишь затем принимаются за поиск. Эти три дня ты продолжаешь работать официанткой, и у тебя такое пустое лицо, что тебе совсем не дают на чай. Эти три дня в тебе живут: воспоминания о токсикозе, ее первом слове, которое было «мяу...», о детских книгах с окошками, о рисованных мышках, живущих в картонных домиках... ты понимаешь, что маленькие девочки не могут выжить три дня в страшном осеннем городе. Тебе снится Тот-Кто-Продает-Колючую-Проволоку, а ты еще даже не знаешь, что одну из своих проволок он продал твоей крохотной дочери. За два месяца до этого ты пересчитала скопленные деньги, и собиралась вести ее на операцию. Ты уже заготовила подарки на рождественские праздники: муж получит от тебя запонки с прозрачными камушками, будто настоящими бриллиантами. Ты случайно подглядела его подарки, и знаешь, что он купил тебе платье. Вы вместе выбрали подарок для вашей маленькой дочери. Но в мире, где вечная ночь, нет рождественских праздников.

Впервые предельно остро ты чувствуешь боль от того, что у вас нет друзей.

Вы принадлежите только друг другу, а твой отец умер от рака.

Ты вспоминаешь Ди. Ее отец всегда говорил, что Венера – девка с гнильцой. Возможно, он оказался прав.

Ты никогда не верила в Бога, и видимо поэтому через четыре дня тебе позвонил следователь и попросил срочно приехать. Когда ты вошла в его кабинет, ты думала о том, как скрипело колесико у твоей кровати в роддоме. Этот мужчина пожал тебе руку, как пожимают мужчинам, и сказал, будто ему нужно тебе кое-что показать, если ты готова увидеть. Ты не была готова, но такие вопросы – просто

проформа. Он сказал, что придется посмотреть. После ты поплачешь в мужа, он – будто огромная подушка, будет душить тебя своей нежностью, но ты не доверяешь его горю. Сердце мужчины способно пережить смерть ребенка, это тебе известно. Отвратительно, что оно не может смириться с потерей любви, но может – со смертью ребенка. Это тебе было очень хорошо известно, когда ты шла вместе со следователем по длинному коридору. Кажется, мигала лампочка, но, скорее всего, тебе лишь казалось, потому что этот коридор напоминал тебе коридоры из страшных фильмов, а там всегда мигают лампочки. В одной из комнат этого коридора он показал тебе на большую картонную коробку. Это нашли сегодня утром, вот что сказал он. А еще, что это дешевые туфли, и не стоит обращать на такие мелочи внимание; в таких дешевых туфлях, сказал он, ходят многие девочки. Теперь, когда ты работаешь в архиве, тебе известно, что такие дешевые туфли действительно принесли хозяину фабрики бешеные деньги. Следователь попросил заглянуть в коробку. Что он ожидал от тебя? Наверное, что ты будешь кричать. Но на это не нашлось сил. Ты ожидала чего-то такого: увидеть завернутую в полиэтилен отрезанную по щиколотку ногу маленькой девочки в дешевой коричневой туфле. Застежка с Hello Kitty. Это не пила, сказал следователь, использовали молоток, чтобы раздробить кость, а потом резали ножом. Что? – переспросила ты, и он, растягивая слова, доходчиво повторил тебе, что ногу не отпилили, а отрезали ножом, вначале раздробив кости сильными ударами молотка. Ты спросила, какое это имеет значение, и узнала, что для расследования очень большое. Убийца не шел легким путем, его интересовал процесс, он не торопился и сделал это не для того, чтобы скрыть улики. У этого убийцы были какие-то другие цели, ты понимаешь, Венера? Но эти цели остались неизвестны. Следователь спросил у тебя, думаешь ли ты, что эта нога принадлежит твоей дочери. Ты ответила, что нет. Но ты была уверена, что так и есть. Это слишком дешевые туфли. Следы разложения указывают на... это тебя уже не касается. Ты видишь веселую рожицу Hello Kitty, и она выводит тебя из равновесия. Если нажать на эту рожицу, раздастся писк, – детям нравятся такие штуки. Твоей маленькой девочке нравилось, когда кошечка издавала пищание; первым словом твоей маленькой девочки было «мяу»... следователь спрашивает, какие у тебя были отношения с мужем. И ты говоришь, что хорошие. Спустя столько лет, ты все еще делаешь ему воскресный минет, если это можно назвать хорошим. Это просто брак, говоришь ты, он не лучше и не хуже других, мы обычные люди. Так вы уверены, что это не нога вашей дочери? Нет, я ни в чем не уверена.

...

Ты возвращаешься домой, думая о звуке, который издает кошечка при нажатии. Это еще один звук в коллекции твоей памяти. Теперь, когда ты работаешь в архиве и знаешь об обувной фабрике все, тебе легче. Будто бы ты освободила призрака Hello Kitty.

Ты ни в чем не можешь быть уверена. Но уже через несколько дней тебе подарили ясность. Они нашли остальное. Все шестнадцать изнасилований, все это битое стекло, следы ржавчины. Все, кроме источника. В тот день ты подумала, что ночь не может быть вечной, но ошиблась. Как показала жизнь, ты в очень многом ошиблась. Но ты продолжила быть официанткой. Еще два года. А потом четыре месяца официанткой в другом кафе, где никто не знал ничего о твоей жизни. Все продолжилось даже вопреки твоим желаниям. После смерти дочери, твой муж не начал сам стирать себе рубашки или гладить их воротнички. Все осталось по-прежнему. После Рождества он предложил тебе съездить в Париж на деньги, которые были отложены к операции, и ты согласилась. Это был красивый город, и вы занимались любовью, будто любили друг друга. Парижская ночь отличается от ночи в этом городе. Ты знала, что тебе предстоит вернуться и прожить темную

жизнь. Может быть, с тобой случится еще что-то эдакое. Например, тебе предложат работать в архиве.

В Париже очень шумные ночи, непривычные для жителей провинций. Твой муж стоит у окна и смотрит на ярко освещенные улицы.

«Может тебе снова начать рисовать?», – спрашивает он тебя.

«А может тебе все же добиться женщину, которую любишь?»

«Она замужем»

«Откуда ты знаешь?»

Твой муж невротично пожимает плечами.

### 3. Кости

Нарцисс, избыточного веса моряк – красоты нордической, скроенный поэтически, но при этом больше, как верлибр, чем флорентийский сонет – смотрит в черное зеркало нефтяного пятна. Шум на улицах стоит такой, что музыка превращается в раны, каждая такая секунда – гноение вдоль линии обрезания. Когда я выглядываю в окно, мне ясно, что современный Орфей влюблен в самую преисподнюю, Эвридика для него лишь повод или оплаченный билет в один конец; Орфей входит и выходит. Когда я отворачиваюсь от окна, передо мной снова шум, шум проникает с улицы, и я снова смотрю в окно, и пусть за ним – возлюбленная Орфея – кажется, шум становится тише. Кофе кажется красным; психосоматические нарывы могут превратить его в кровь. Официантка двигается, как смычок. Я подзываю ее – пальцем, одним лишь пальцем, и кричу рассчитать, рассчитать меня, и кредитные карты придуманы, чтобы не выдавать на чай. Я отпускаю ее – одним лишь взглядом, за окном пробегает девушка, которая выглядит точной копией официантки, когда смычок режет слишком много струн, его выкидывают, и его крашенные волосы обрастают коричневыми корнями; улица там – ТАМ – как длинный волос, и весь чем-то облеплен и нагроможден. Люди на улице бегут этого; всего «этого», столичные волосы расцветают из макушки какой-либо площади св. Павла или другой площади, утренние машины промывают их шлангами, рабочие – формой похожие на Нарцисса – любит крепко сжимать эти шланги и направлять упрямую струю.

Я похож на изломанный стих, взлохмаченную неровностями гильотину, падаю сверху и затем поднимаюсь чьей-либо сильной рукой. Опускаюсь снова до того, чтобы рассматривать как мужчина за соседним столом совращает несовершеннолетнюю, и снова, поднявшись, сверху вижу, что это мальчик, волосы, как взлохмаченный пух; и я знаю, что по одной из улиц движется мужчина, который спал с этим мальчиком, а еще – по другой или этой же – тот, кто спал с его матерью, какой же была его мать (?), вот что меня занимает больше всего. Если бы я был похож на изгиб костей, если бы знал исключительно одно правильное положение, меня волновал бы в нем плавный голос и кокетливое запястье, но мне любопытнее его мать; в глухой комнате – зачатие – мужчина, собака и мальчик, а может какие-либо посторонние предметы будут шуметь, меня уже не очень волнует его мать, я возвращен к окну. Шарнирные движения возвращают нас на исходную позицию и заставляют думать откуда мы пришли. Из какой смерти мы прибыли? Никто не знает, что сегодня в городе начнется гроза. Я слышу, как в моей переломанной тетради, в душноте и убогости сердечного кластера, как в храмовом подполе, как на серпантине над витражной розой, как на перекатах хлебного амбара в готическом стиле – кто-то пишет слова медленной гибели. Значит, будет гроза. Сегодня, когда я снова загляну в ее зеркало, то есть – в большую рану на меня исчезнувшего носа, кожистого цвета и цвета смерти зеркальность, где замыкается любая речь, начинает пропускать себя по кругу – ведь любой гештальт проворачивает повторы, проворачивает повторы – где любой отголосок речи становится страхом, потому что – мертвые не говорят. По крайней мере, мертвые не должны говорить. Люди не хотят, чтобы они говорили, пусть даже этими ранами, краями ран, пусть даже костями или – честными – запястьями, мелованными костяшками своих пальцев вдоль поверхности воздуха. Люди хотят, чтобы мертвые скакали быстро – далеко-далеко. Засыпают все входы кирпичной крошкой. Но я знаю о грозе, гроза предвещена тем, что в параллельном квартале кошка породила, и что часы отбили на башне с опозданием в три минуты, и что сегодня с утра я внезапно начал думать о грозе и женщине, скелете женщины, сидящем на кресле-качалке. Женские скелеты

сохраняют грациозность и гибельность, они будто все еще в шале своих словесных игр, их кости похожи на шарады, их реберные прорезы зазывно морщатся зеленым светом. Женщина, лишенная всей ветоши, то есть материи – сидит в этом кресле и играет движениями. Она может седлать страх перед мертвыми. Я отрываюсь от ее отражения и оплачиваю счет, официантка выдергивает его, и мы сталкиваемся пальцами, ее горячие фаланги омерзительно отгоняют от меня видение кресла-качалки и мертвой женщины на его троне; я слышу, как моя куртизанка отброшена на кровать собственных потрохов и тонет в ней, как в выгребной яме. А после горячительное прикосновение заканчивается, и я уже думаю о том, как быстро, но при этом – мерещится – что медленно, угасает всякая детская радостность и моя мальчишечья радость, моя первичная жажда и счастливое движение по широким рождественским улицам – тоже уже отступили, и скрипят качалкой в комнате воспоминаний моей матери. Для нее я остаюсь наполненным жизнью. Моя кровеносная система радуется ей – своей стабильностью.

Города, вороны, столы и столешницы, рыбные дни и дни переливания крови, шпили монструозных и макабричных дворцов, выхлопные трубы, – я вкалываю эти запахи: вена, петлица, фотоальбом, судебное дело.

Я разграниченное пространство от серо-бежевой меланхолии до заштрихованного синдрома вечной депрессии; кино возбуждает мои некрофильские позы; одна мысль о том, что ткани и остовы на экране демонстрируют свою идеальность, отполированные тысячь дублей, приободряет меня; смерть в целлулоиде является мечтой мои запястий, моих лодыжек, моих трагусов.

...история, которую я хочу рассказать была отпечатана одной нечистоплотной типографией в виде небольшой брошюры – бесшвейка, послеобрезной формат 125x200, тираж 400 экземпляров – и сегодня она будет роздана, разбросана, впаена каждому прохожему. Я подозреваю, что многие экземпляры будут убиты на месте. Вдоль улиц мы поставили несколько звукоусилителей, музыканты – 16 штук, 5 скрипачей – будут стоять на балконах, будут громко играть. Мы начнем в 21:30, когда начнется гроза. Я предчувствую, что она совпадет с моей внутренней грозой. Все закончится идеально, идеальным громом, идеальной молнией, а потом ночь застегнет свой шов. Мы вынесем ее из комнаты, положим на носилки – любимую женщину – и будем в течении всего этого макабртанца носить вокруг здания, будем салютовать. Надо чтобы ее лицо до поры была накрыто бархатной тканью. Лучше синей. Дождь будет сильным, и зрители вначале не поймут, что она мертва, изображение будет смазанным, вода течет по бархату, может быть, бледненькая рука будет свешиваться с носилок. Может быть. Руки у нее всегда были красивыми, и мне хочется, чтобы эти руки были видны – на протяжении максимально долгого интервала – целую остановку сердце. Она мертва, гармонична, протяжна, с раной на месте лица.

Я часто думаю об этом, подходя к зеркалу. Какое-то неведомое чудовище и его возлюбленный сифилис, и пальцами они ковыряются у себя в замочной скважине носи. Уверен, что мои детские чудовища были намного более выразительны, менее связаны с контекстом и культурной накипью. К сожалению, их формы забыты, их имена перемешаны с другими именами. Например, ее именем. Возлюбленная фрау ночь, ночь черпала-черпала, у нее ночи были полные глазницы, полные кармана, ночь в форме пряника лежала на ее столе, когда мы впервые познакомились. Сумрачная, стареющая куртизанка, которая давно растеряла свою клиентуру. Мне было четырнадцать, но наш возраст скоро перестал иметь значение, его разъединительная функция сошла на нет. Иногда она вырывалась из своего дома, чтобы вместе со мной выйти по улицам, как порядочная мамаша. Сердцебиение ее

матки было остановлено, но ей нравилось выгуливать меня, как собственного сына или собственного пса. Прикасаясь к этой юности, она сама распрямлялась, и черты ее лица начинали напоминать череп. В своем приступе материнства она часто пыталась развеять мои фантазии относительно содержимого склепов, захоронений и нефов капелл. Ее проститутская походка становилась ангельской, как только своими руками она нащупывала во мне легко опознаваемую грязь, крохотное запотевшее зеркало, и в его отдели – свое детство. Мы были одинаковыми – в мои четырнадцать и ее трижды четырнадцать, и я казался ей потусторонним существом, более страшным, чем собственное заразное тело или любое изведенное тело пьяницы или моряка, которое она впускала в себя; в том и было все дело, что я впускался в ее комнату, но не впускался в нее. Подобное было для старой проститутки новым, и очень скоро свод ее комнаты, закопченная и засаленная простынь впитались в меня так же сильно, как мое бестелесное нахождение на ее кровати – в нее. Я оборачивался в грязь ее дотошных рассказов и одеяло с пятнами, чтобы найти чувство родства; мои призрачные истории и зеркальные чудовища уплотнялись, из дыма наливались кровью, и когда она вдыхала огонь последней ночной сигареты – мясом золы. В этом была моя проступающая реальность; будто волшебный остров, который поднимается из моря; логово проститутки стало для меня одеждой, сифилитичная рука качала колыбель моего спокойного мрака; это море грустной никотиновой тьмы опутывало меня сладким сном о далеких звездах – голых, как женский скелет – на которых мертвые пляшут с мертвыми. Она разглядывала мой сон, мою сопричастность ее глубокой болезни, мои бледные щеки крохотного ребенка, и будто зажигала маяк. Свет, исходящий из его головы, всюду находил только море – только антрацитовое пространство ее неустанного труда на ниве семяизвержения; я – был завершением ее труда, будто собственным ребенком, или словно мою колыбель прибило к основанию этого маяка, будто долгожданными родами после миллиона истеричных совокуплений.

Моя дружба с проституткой расчерчивала пространство; аккуратное деление прирастило меня к геометрии. Мне нравилось осознавать перспективы и с анатомических атласов зачерпывать знание о том, чем занимается моя подруга. Она вела жизнь совсем иную, чем моя мать, и меж тем в ее венах текло больше крови – я знал, что раз в месяц лишняя ее часть вытекает наружу змеями, и никогда не случается задержек, ни разу в жизни не случилось задержки у этой женщины, еще в девятилетнем возрасте приговоренной к проституции. Красные змеи – их тела из переливающейся крови – спали под кроватью этой женщины, я слышал шипение и шелест чешуи о чешую, нигде более тайная жизнь не пульсировала так яростно, как в коморке старой проститутки. Сейчас, когда она состарилась, ей приходилось прибегать к грубым средствам для привлечения клиентуры. Иногда она часами обнаженная стояла у окна в зазывающей позе, а я разглядывал ее спину. Старая спина, рытвины старой оспы, но прекрасная прорезь, где позвоночник делит плоскость надвое, сочная траншея, густо наполненная тенями. Я видел, как эти тени растворяются на ярко освещенных ягодицах, но затем рождаются вновь на пушистом завершении ее расставившего ноги тела. Там все двигалось по каким-то непонятным причинам, как, обычно, двигается у мужчины; все переливалось разными ночными оттенками и всегда оставалось доступным. Руки она держала на поясе, чтобы всем была видна худоба этих рук; какая-то кожная болезнь парализовала эту кожу коричневыми пятнами; морщины шевелились быстрыми движениями. Подмышки яблочные, гладко-серые. Обычно она закалывала волосы, и мне были видны огромные серьги, в которых когда-то висели крупные искусственные камни, а сейчас – пустое пространство.... Она могла стоять вечность, ее жажда жизни целеустремленно обслуживала без лишних слов любого строителя,

врача или женатого мужчину. Она говорила, что никто не оставлял ее, все были – до самой смерти; она особенно помнила тех, кто начал пользоваться ее девятилетнее тело и с кем она продолжала нежную дружбу на протяжении двадцати-тридцати лет. Там, в девять, ее соки омывали десять, иногда двенадцать кораблей за ночь, и этому телу не оставалось никакого времени, чтобы думать о маяках и том, откуда плывут эти корабли. Ее первооткрывателем был сутенер французского телосложения, загорелый педераст, позже встретивший свою любовь Сен-ля-Морт и покинувший шлюшью бухту. Она говорила мне, хотя это и не было ясно, что для нее не существовало более трогательной истории, чем история любви ее сутенера: ВИЧ-положительный за руку с ВИЧ-отрицательным, любовь на гребне постоянной смерти, кровоизлияние в легкие; страсть, покуда не отцветет пульс. Подобное подходит и к нашей с ней истории – начавшейся тогда и заканчивающейся сегодня, когда начнется гроза.

Она умерла. Полторы недели назад ее не стало, сифилис прогрыз в ней страшные дыры. Сегодня ее понесут по улицам. Она будет накрыта синим бархатом. Играет музыка. Ее будут чествовать королевой. И праздник будет продолжаться, пока зрители не поймут, что по их красивым улицам – несут прокаженную шлюху с ярким цветом гниения, запахом мертвой кожи, мушиным потомством в матке. Тогда начнется паника. А мои музыканты продолжают играть в ее честь, и мужчины продолжают носить ее по кругу, триумфально, триумфально, сжимая эти круги, разжимая их, выкрикивая ее известное всем мужчинам квартала имя, триумфальное имя... а потом, когда приедут стражники, мы сделаем – как ей и хотелось бы! – опрокинем носилки, и пусть ее тело будет под дождем, заштрихованное вечной ночью, и пусть все ее видят, голую, доступную даже посмертно, бесконечную проститутку с дверью в иное царство посреди лица, обвенчанную с сифилисом королеву с напудренными щеками, доступнейшую из наложниц гибели!

Я слышу, как мой верлибр о ней заходится многословием.

Слышу, как небо бьет в барабан.

Как муха жужжит в ее комнате.

Начинает свой ливень туча.

Музыканты на своих местах.

В пять скрипок начинают петь ее честь.

Как ночь начинается...

...вечная ночь.

И что она – уже раскачивается на своем кресле-качалке. И это она. Она. Это она – начинает ночь.

#### 4. Fuck you and Goodbye (разврат в Беркенау?)

*Место действия:*

*Зал суда, красивый, в офисном стиле*

*Действующие лица:*

*Я*

*Убийца*

*Наделенное властью лицо*

*Джекоб Блём*

*Вязаные присяжные*

*Слепой мальчик*

*Парализованная нимфоманка*

*Маргарита Бергштайн*

*Тысячи анонимных преступников*

Весенний свет проникает в зал суда. И никаких посторонних запахов, и приятно пахнет свежей мебелью. Этот запах говорит «выйти вперед», ведь запахи многое говорят; особенно в зале суда. Я вижу многие ряды присутствующих, они связаны из черной шерсти и акрила; судья тоже вязаный, нити пахнут Gucci by Gucci. Иногда кажется, что в суд, как на сцену, не допускаются смертные; чудовища в вязаных кожах, крупные петли, и видны узлы, медленно двигаются в весеннем свете. Окна плотно закрыты, а занавесок нет. Но как бы не казалось, происходящее очень значительно, оно будет транслироваться по центральным каналам; раньше транслировалось и продолжение с казнью, но теперь уже нет, зрелище смерти признано нерентабельным.

Мужчинам и женщинам очень значительно происходящее – особенно проституткам в Новой Гвинее; особенно слепому мальчику в первом ряду. Я слышал, что каждая вторая женщина Гвинеи подвергается ритуальному насилию, их, как у нас говорится, fucking and goodbye; мальчик в черных очках стойко держит за поручни кресло-качалку, его пальцы не дают парализованной даже вздохнуть; незрячие всегда на коне и с социальным пакетом в кармане.

Сегодня мы восседаем, чтобы творить Божественную справедливость на неудобных стульях. Возвращать ее на положенное место, как украденных кошельки или зря растраченную девственность. Люди в зале суда не совсем люди, а как бы их вязаные аналоги, чтобы действие имело театральные характер и звонкий пафос. А еще – чтобы эти серийные убийцы после освобождения (всегда не более 12 лет тюрьмы, даже насильнику младенцев, даже чему-то стоящему) не выследили своих обвинителей. Существуют специальные фабрики, которые прядают Судебные Нитки; конечно, такие фабрики существуют, ведь в Венесуэле есть кладбище для лубутенов; есть горе сотен заплаканных девочек, хоронящих свои туфли; ведь на Байкале есть насос, который профильтровывает рыбе дерьмо, чтобы озеро оставалось чистым; ведь в Каннах есть сады, где пальмы плодоносят золотыми ветками; конечно, существуют и волшебные фабрики, где тысячи фей-эмигрантов с бурым цветом кожи денно и ночью прядают пряжу для судебных костюмов. Волшебные нитки пахнут чужими странами, но индустрия парфюмерии не дает присяжным задохнуться. В общем, все вязаные, и значит, уже как бы не люди, что позволяет ничего не прятать и обнажать все человеческое. Каждому хочется впать максимальный срок. Конечно, если ты в вязаном шлеме и все шлюзы открыты, ты хочешь, чтобы девочка, укравшая баранку, отправилась на электрический стул. Волшебные нитки вберут в себя горести; волшебные нитки опутали совесть. Только так и никак иначе можно стать полностью человеком.

Я хочу, чтобы судья имел шутовской колпак, и, раскачивая головой, издавал погребальный звон. Я хочу, чтобы у присяжных в вязаной непроницаемости была прорезь в промежности, чтобы они могли, так сказать, в более тесном контакте друг с другом обсуждать приговор. Я хочу, чтобы казни снова транслировали по радио, крики умирающего по радио, я хочу билборды с жертвами, я хочу умереть. Но я сижу на новом стуле, последний ряд, самые дешевые места на утреннее представление. У меня спазмы анальной решетки, геморрой кровоточит на казенный стул, я закидываю ногу на ногу и меняю положение, но мне ничего не может помочь. Моя запущенная ректальная реакция уже пропускает сквозь нервы боль, а значит представление испорчено.

Слепой мальчик гладит парализованную женщину по седым волосам. Одна из присяжных говорит, что почему-то пахнет рыбой. Все ждут обвиняемую. Скоро она должна войти, пройти мимо нашего амфитеатра, встать за кафедру и начать свою прелестную историю. Она должна ответить, на кой черт убили учительницу французского. На улице весна, присяжным хочется быть котами и языком готовить свою промежность к ночной работе. Зал суда раскаляется от сотен зловонных выдохов и горячего солнца. Скоро убийца должна войти в зал. Под крик «встать, зло идет» мы поднимем наши попки с твердости казенной мебели, мы вскинем ладонь в приветствии чудовища, а затем сотрем его с лица земли нашим приговором. Я слышу, что кто-то шепчет «двенадцать смертных казней подряд», и кто-то поддерживает «да, одну за другой, без передышки», и третья говорит «...множественные оргазмы», а я хочу выйти из круга смерти и рождения. Мне хочется открыть окно и шагнуть. Но судебные окна очень узкие, убийце запрещено убивать себя самому. Вязаные палачи возьмут все в свои руки и священным жертвоприношением успокоят волнения общества. Как известно, рак груди, молочница, экзема и катаракта существует по вине серийных убийц. Как известно, плодоносящая мать полезна для общества. И вот она здесь – убийца/плодоносящая мать – огромный гранат, в сотах которого змеи, огромное чудовище как бы кентавр, у которого верхняя часть обезображенный челюстями хищника женский круп, а нижняя плодоносящий гибелью и змеями гранат, – мы отрываем себя от стульев, мы приветствуем хрупкую женщину, героиню таблоидов, объект массовой истории, самозабвенного рукоблудия, убийцу учительницы французского.

...как известно, сакральность судебного процесса изведена до дна. Ее открыли в античном Риме, где один патриций подавал обвинение другому, и кто-либо из них вскрывал себе приговоренные к вскрытию вены, конечно, лежа в океане роз; продолжили в Средние Века, где два рыцаря тянули на себя доступного для перепихона оруженосца; торжествуют и сейчас, кланяясь красоте убийцы. Вот она здесь. Вот она – ЗДЕСЬ! – среди нас, как ангел, как первый симптом СПИДа, как две полоски на тесте, как удар молнии, как асфиксия. Смотрит на нас с высоты своих туфель, из-под темных волос, о лезвие бритвы, смотрит на нас, моложавая убийца учительницы французского. Метр шестьдесят пять, одежда куплена в Милане, парижская стрижка, хладнокровная книгоиздательница с белой зарплатой, как стоимость Аляски. Она стоит перед судом. И знаете что? У всех стоит на нее. Так всегда случается. Это прелюдия к Божественной Справедливости. И знаете что? Женщин в присяжных больше – ей отвесят пожизненный. Она покусилась на святая святых. Она одета дороже, чем человеческая жизнь. Она должна быть убита. Мир любит богатые похороны. Пусть ее положат, как фараона, в сорок гробов, и пять тысяч мужчин будут тащить на своей спине погребальную матрешку. Пусть семь тысяч нищенков в венках акации и нарциссов скорбно пляшут на огромном кургане ее могилы, пусть пригонят кастратов и пусть те поют, пусть кастрируют безработных, если не найдется кастратов; пусть в городе пустят слезоточивый газ,

чтобы весь город плакал на ее похоронах; пусть издаются книги о ней. Пусть издаются книги, как бы написанные ей. Пусть взлетят в топы женщины, похожие на нее. Пусть будет так, но вначале – смертная казнь. Маленькая инъекция или электрический трон. Все, что угодно. Пусть отменят мораторий. Сегодня очень душный день, чтобы она осталась в живых. Если же так – ее удушат судебными нитками разжиревшие присяжные. Климакс толкает к убийству, а она – убила школьную учительницу.

Я завсегдагай громких процессов. Вся человеческая скорбь в моих ладошках. Мне нравится, когда плачут в мои пальцы. Иногда я прошу, зазываю «попирай в мои скромные ладошки», и иногда они пишут, ведь женщину так легко подтолкнуть к пустоте. Обычно я зарабатываю интервью, менеджер по интервьюированию, среднее звено. Меня интересуют серийные убийцы, но никто не подпустит меня к их мощным светящимся эротическим светом телам. Мне достаются их жены, мужья, собачонки, подружки юности, случайные любовницы, бармены в гей клубах или танцовщицы, – в общем все те, кто когда-либо пожимал руку Банди или Фишу. Я спрашиваю у них, мэм, как же это – быть матерью Банди? – и она говорит, что это так утомительно, и при этом так заодно и так жутко; отец, каково это породить Маргариту Бергштайн, и слышу, что это было хлопотно, жаркой июльской ночью я оседлал жену, добротную и телесную фрау Бергштайн, и вот что вышло; фрау Бергштайн, какой Маргарита была в детстве? Очень кроткой, я и подумать не могла, что она и цианид, шестнадцать мужчин, нет, я до сих пор в это не верю, ЖЕРТВА КЛЕВЕТЫ, ЖЕРТВА МАРКЕТИНГА, МЕНЕДЖЕР ПО ПОДБОРУ УБИЙЦ ВЫБРАЛ МОЮ МАРГАРИТУ! Успокойтесь! Сэр, правда, что вы были знакомы с мсье Тювером? Да-да, только одну ночь. Скажите, это ведь вы протирали столы в тот вечер, когда мсье Тювер сидел со своей первой жертвой и курил одну за одной? – и слышу, что да, это была она, именно эта блондинистая официантка своей красивой рукой, какие жилки, протянулась к пепельнице и взяла ее своими пальчиками прямо в тот момент, когда мсье Тювер, сидящий в ночном кабаке со своим любовником и первой жертвой – там, через два часа уже мертвым – стряхнул прямо в поднимаемую пепельницу; да, я прославилась, мне повысили жалование, наше заведение так и называется «В сторону Тювера», я написала книгу о нашем кратковременном знакомстве, я счастлива была взять его пепельницу, он курил парламент, ах, какой мужчина! Госпожа, не вы ли работали в детском саду, где маленький Альфред Пипкен, убийца шестидесяти четырех мужчин, Венский душегуб, писался в штаны и не хотел пользоваться дневным часом для сна?, – и слышу, что она не помнит этого, хотя тысяча журналистов напоминают об этом ежедневно, и вообще, она благопристойная протестантка, и она протестует, чтобы ее как-либо связывали с деятельностью Альфреда Пипкена. Но госпожа(!), все его жертвы были выходцами из вашего детсада, возможно, именно вы отбирали для него жертв(?), и чтобы отвести от вас подозрения, он выждал двенадцать и более лет, чтобы напасть на жертву? Что вы такое говорите (!), конечно, нет, моя дочь музыкант, она играет на скрипке! Господин \*\*\*, почему вы переехали из Буэнос-Айреса, не потому ли, что г-ин Жобо был вашим амиго? Нет-нет, мы поссорились до того, как он стал серийным убийцей, я даже думаю, что он начал убивать именно потому, что поссорился со мной. Господин \*\*\*, вы были любовником г-на Жобо? Не более одной ночи (признание на миллион!), или не более двух ночей.

И вот моя коллега по книгоизданию, кровью плачущие ягодицы, стоит за кафедрой. Кажется, камера временного заключения не уничтожила в ней женщину. Возможно, парижские парикмахеры и миланские стилисты могут найти тебя, где угодно. Стрижка по телефону и педикюр-online. Сейчас она расскажет, зачем совершила убийство. Эти истории всегда трогают сердце своей неприкрытой

трагичностью, она напоминают замерзающего котенка, они самоценны, как шестичасовой куни-марафон.

**Наделенное властью лицо.** Шестнадцатого декабря прошлого года Вы совершили убийство. Следствие показало, что Вы не пытались скрыть следы преступления, и сразу отправились в ресторан. Это так?

**Убийца.** Да. Я была со своим другом. Больше, чем другом, но не любовником. Просто – больше, чем другом.

**Наделенное властью лицо.** Что Вы заказали?

**Убийца.** Кофе. Два кофе по-венски. Не знаю почему. Мой друг устриц. У него начались проблемы с потенцией, и ему сказали, что устрицы помогают.

**Наделенное властью лицо.** О чем Вы говорили? Вы обсуждали убийство?

**Убийца.** Только если косвенно. Он спросил, не правда ли, сегодня небо очень серое, как пегое от гниения лицо девочки, и что не кажется ли мне, пегий от гниения – напоминает персик? А еще, не думается ли мне, что это будет очень громкая серия книг, если назвать ее «Гнилая, как персик»

**Наделенное властью лицо.** И что Вы ответили?

**Убийца.** Ничего. Я туманно смотрела в окно. Там, за окном, было серое небо. И действительно, пегое, как персик. Оно было радостным, но при этом утомленным. Небо, как мама, вернувшаяся с работы. На нем не было лица от усталости, но при этом я чувствовала, что оно радо просто существовать. Вы понимаете?

**Наделенное властью лицо.** Вопросы тут задаем мы. Расскажите мне об убитой.

**Убийца.** Нечего рассказывать. Мы были знакомы семнадцать лет назад.

**Наделенное властью лицо.** Почему Вы убили ее?

**Убийца.** Неважно. Я проснулась и поняла, что она должна умереть. Иногда ведь случается, что утром тебе приходит какая-то идея, и ты никак не можешь от нее избавиться. Я позвонила своему другу, больше, чем другу, но не любовнику, и сказала – я решила, что она должна умереть. И он сказал, что не вопрос, и мы договорились встретиться в 18:45, он опоздал на полчаса, и я была недовольна, мне казалось, время для ее смерти может утечь, можно упустить это течение, подсказывающее мне путь. Мы поймали такси...

**Наделенное властью лицо.** О чем Вы говорили в такси?

**Убийца.** Ни о чем. В последние годы с ним стало трудно говорить. Он живет письменным жанром.

**Наделенное властью лицо.** То есть Вы молчали?

**Убийца.** Не совсем. Он сказал, что у Тициана очень трогательно получают бедра. Но мы не говорили об убитой. Нам не было нужно что-либо говорить о ней, мы оба знали, что она должна умереть.

**Наделенное властью лицо.** Каков мотив преступления?

**Убийца.** Его нет. На самом деле, его нет, но он есть. Это трудно.

**Наделенное властью лицо.** Расскажите нам.

**Убийца.** Мы познакомились семнадцать лет назад. Я видела ее пять или шесть раз и не более того. Она сломала мою жизнь.

**Наделенное властью лицо.** Как?

**Убийца.** Не могу понять точно. Что-то в ее жизни было такое, что навсегда испортило мою. Она не сделала ничего выдающегося. Она была... третьесортной, патологически лгущей, некрасивой. Последние лет пять или семь я не вспоминала ее. До того самого утра.

**Наделенное властью лицо.** Но Вы ведь анализировали свои мысли? Вы искали ответ, почему Вы хотите ее убить?

**Убийца.** Нет.

**Наделенное властью лицо.** Но почему Вы убили ее?

**Убийца.** Потому что могла. Я могла себе это позволить.

**Наделенное властью лицо.** Вы ненавидели убитую?

**Убийца.** Нет.

**Наделенное властью лицо.** Что Вы почувствовали во время убийства?

**Убийца.** Что я бы хотела, чтобы она умирала каждый день. Это было очень хорошо. Очень пронзительно. Очень.

Во время допроса я придумываю новые названия или создаю их вот Маргарита в Освенциме приключения Маргариты в Освенциме мой маленький Ошвиц разврат в Беркенау и все прочее. Знаете, ничего личного, но я давно не задумываясь о правильности этих поступков, об отсутствии Бога я говорю с огромным сожалением, но радостно признаю в этом свете, что моя жизнь скоро должна накрыться – там, лет через сорок – большой и трепетной Иоландой, это мне утешительно прямо как матушкин шкаф доверху в одинаковых платьях, это так успокаивает. В основном они шелковые, а еще зимние варианты шерсти и акрила. Я уже не стремлюсь, и самое глупое что может для меня найтись – слушатель; в общем я никогда не признавал слово, такие как Иисусы, которые приняли в себя все человеческие языки – меня пугают.

Я работаю клошаром в стеклянной коробке, и каждый день громкие звуки. Утром коробка пахнет свежей мебелью, каждый день кто-то плачет и увольняется, каждый день пахнет новыми людьми с их разнообразными одинаковыми историями, каждый день я их всех покидаю в обеденный перерыв, трогательная идея Бога добротная антитеза всему происходящему с каждым, кого я могу видеть в обеденный перерыв. В общем, не думаю, что литература должна существовать, раз уж ей трудно раз и навсегда захлопнуться о любви – как же наскучило, но, впрочем, не более всего и всех прочих.

Божий день, что трагедия, повторенная дважды – суть фарс. Повторные слушания всегда поражают своей косностью. Кажется, вся душа вытекла из признаний убийца. Маргарита Бергштайн упрямо повторяла, что не знает, зачем убила шестнадцать мужчин. Возможно, она действительно не знала. Иногда ведь случается, что ты делаешь что-то случайно, а это что-то оказывается значимым. Ее прекрасные бледные волосы... уже скоро слово дадут залу, чтобы мы впились в подсудимую и высосали из нее последнее. Они спросят, как часто она бреет мохнатку. Текила или виски? Винни Пух или Пятачок? Каждый из этих вопросов очень важен в понимании мотивов убийства. Это напоминает мне громкий процесс Джекоба Блёма, проведенный, кажется, шестьсот шестьдесят шесть раз подряд, и на которых герра Блёма, твердо стоящего на признании своей вины, никак не могли признать виновным. Для наглядности его наряды в нацистскую форму. Говорят, с этим возникли какие-то проблемы, потому что на мощь его плеч никак не могли подобрать подходящую, а шить новую – как-то не комильфо, какая-то катастрофа, что-то непорядочное. И вот он стоял перед нами монументальным памятником фашистского преступления, близорукий врач холодной скалы, и отвечал, что у него нет ответа для чего и зачем были совершены его преступления. Я рассматривал холод его глаз, и не мог понять, являются ли они стеклом, пластиком или карими. Я разглядывал его бакенбарды, как бы окровавленные, но при этом прекрасные. Там, в дебрях культурного нарратива, я не мог назвать его прекрасным, но назвал бы – встретив где-нибудь в другом месте. Мои чресла дрожали. Но я говорил, что дрожат от боли. И я смотрел на него, и мне было интересно, можно ли смотреть на него вне контекста его преступления, вне умысла и причастности, мне снилось, как мы знакомимся при других обстоятельствах, в местах более темных и интимных, чем судебная камера обскура, и беседуем о чем-то вроде Шатобриана, и не приковываем к себе посторонних взглядов.

**Наделенное властью лицо.** Вы подтверждаете, что работали врачом в Кольдице?

**Джекоб Блём.** Да.

**Наделенное властью лицо.** Вы признаете себя виновным в преступлении против человечества?

**Джекоб Блём.** Я не понимаю, что такое преступление против человечества.

**Наделенное властью лицо.** Вы участвовали в убийствах людей?

**Джекоб Блём.** Нет. Но были те, кого мне пришлось убить.

**Наделенное властью лицо.** Что Вы чувствуете сейчас?

**Джекоб Блём.** Усталость.

**Убийца.** Усталость.

**Тысячи анонимных преступников.** Усталость.

**Наделенное властью лицо.** Какие причины Вы можете назвать побуждающими к преступлению?

**Джекоб Блём.** Никаких.

**Убийца.** «Улисс»

**Тысячи анонимных преступников.** Мы невиновны! Как и все преступники, мы невиновны!

**Наделенное властью лицо.** Задумывались ли Вы о реакции Ваших родных на совершенное преступление?

**Джекоб Блём.** Нет.

**Убийца.** Нет.

**Тысячи анонимных преступников.** Нет.

**Наделенное властью лицо.** Сожалеете ли Вы о содеянном?

**Джекоб Блём.** Нет.

**Убийца.** Нет.

**Тысячи анонимных преступников.** Да!

**Наделенное властью лицо.** Как вы можете сожалеть о том, чего, по вашим же словам, не совершали?

**Тысячи анонимных преступников.** Мы сожалеем о том, что было совершено кем-то, и в чем обвиняют нас. Но, конечно, мы не совершали ничего из того, что совершили эти кто-то.

**Наделенное властью лицо.** Как вы думаете, почему обвиняют именно вас?

**Тысячи анонимных преступников.** Среди нас есть женщины, а женщины всегда остаются обвиненными. Этими обвинениями из женщины хотят изгнать женщину, или же – наоборот сделать ее полноценной женщиной. Там, в тюремной камере женщина, наконец, станет самой собой, она будет заточена в четырех стенах. Но среди нас есть и мужчины, а мужчины не любят, когда их обвиняют в шовинизме. Поэтому мы обвинены ради идеи дуальности, в знак антитезы того, что во всем виноваты женщины. Мы – подтверждающая их повсеместную виновность сила. Мы зажатый государством рот, кричащий к небесам. Мы – это Гарм<sup>29</sup>, который съест луну. Мы – это тот мрак, в который закутана смерть. Мы необходимая жертвы, мы – это обрезание, необходимое для гигиены и счастья городских улиц.

**Наделенное властью лицо.** Вы хотите обвинить наш аппарат в некой склонности к мизогинии?

**Маргарита Бергштайн.** Да! То есть нет! Я как бы не знаю ничего о мизогинии, я даже не знаю, что это такое, я своенравная доярка, дочь прачки, дочь бюргера и домашнего насилия. Но я думаю, вы ненавидите женщин. Ведь даже сами женщины ненавидят женщин. От этой ненависти к самой себе, организм не выдерживает и раз

---

<sup>29</sup> Вслед за Фенриром, который массовой культурой почему-то получил большую известность. Вероятно, в силу значительно большей популярности соляных культов.

в месяц протекает кровью. И вы ненавидите меня тоже. На земле миллиарды мужчин, и если некоторые умерли по моей случайной вине, никому не могло стать от этого хуже. Я хочу сказать, что вы придираетесь ко мне.

**Наделенное властью лицо.** Вы хотите признаться, что не считаете человеческую смерть чем-либо плохим?

**Джекоб Блём.** Нет.

**Убийца.** Нет.

**Маргарита Бергштайн.** Ну вы ведь не знали этих мужчин! Некоторые из них были лучше других, но все же плохими. Я не хотела их смерти, но она была необходима. Если бы Бог существовал, он подтвердил бы мои слова! Клянусь Богом, так бы и было!

**Наделенное властью лицо.** Вы знаете имена своих жертв?

**Джекоб Блём.** Нет. В лагере нет имени. Это мир, в котором Имя Не Нужно. Я помню их номера, я различаю их голоса. В этих странных снах, где я иду по лабиринту, связанному из номеров, я слышу их голоса. Они проклинают мое имя. Но в ответ – я не знаю их. Это какой-то ребус, какое-то унижение, что они – знают мое имя, но анонимны по отношению ко мне. Это какое-то невежество.

**Убийца.** Да. Я могу его вспомнить на самом дне памяти. Но не голос. И не лицо. Когда я увидела ее, то сразу узнала, но сейчас уже снова не смогу ничего вспомнить. Она была никакой. Понимаете? Будто застиранная, потерявшая суть, утраченное содержимое. Она была, как сожженная вторая часть «Мертвых душ», сущий вымысел. Я ведь говорила – она патологически лгала. Но не это стало мотивом убийства.

**Наделенное властью лицо.** Что было истинным мотивом убийства?

**Джекоб Блём.** Все, происходящее внутри, принуждало меня к внешнему. Я не говорю об убийствах. Я говорю о нескончаемости моего внутреннего страдания. Я говорю исключительно о том, что мой духовный опыт, вероятно, превосходит Ваш, и лишь от этого проистекают все эти вопросы. На самом деле, ни один важный вопрос так и не был задан. Я действительно не могу ответить, почему внешняя сторона моей жизни протекала именно в той последовательности, в которой протекала. Но моя внутренняя сторона является причиной этой последовательности – но если Вы имеете возможность казнить меня, Вы не имеете – потрошить мою внутренность.

**Убийца.** Как я уже говорила – тысячу раз – так было нужно.

Тысячи историй должны смешаться в одно целое, чтобы все стало неясным. На самом деле, только в этом может существовать реальное повествование. Для меня не существует каких-либо четкостей в отношении этих судебных процессов. Все они двигаются по одному сценарию, и остаются во мне лишь особенно красивыми фразами. При долгой подготовке – судебное дело начинает восприниматься, как большое искусство. На первый план выплывает эстетика и подача. Судебное дело, как и поэзия, как преступление, может быть продуктом духовного опыта. Бывают процессы, будто плачущие женщины. Бывают, будто извержение вулкана. Все они написаны в разных жанрах. Часто – судебное дело, как заштампованный филлер, главный герой которого – калька тысячи других судебных дел. Некоторые преступления класса А вызывают эрекцию и толпу поклонников; они вплетены в культурное ДНК; ведь всем ясно, что наличие Джека Потрошителя оправдывает 5 никому неизвестных проституток. Я вспоминаю Джекоба, гордость чудовища, будто прореха в потоке времени. И белокурая Маргарита, уютная пещера для Сциллы. Я уходил с процесса наполненным, в меня затолкнули тысячу литров жизни, я выплескивал ее на улицы стихами, забывая про ненависть к человечеству. О Маргарита, гордая дочь прачки, о Маргарита, о Маргарита...

... Курчава манда<sup>30</sup> твоя Маргарита  
Золото Сципиона, барка идущая к отмели  
И сердце от сердца ее маяков  
В берлоге причалов и пепла,  
Коринфа разорванный берег рассветом  
Кносса колодец,  
Маргарита текущая по рукам,  
Штилем белым расшито ее ожидание –  
ставшее по ее прихоти -  
Категорией святости; когда  
она расчищает сухие ветки  
Оставляя на них свое золото;  
Вот она,  
Как бомба стеклом и охровостью  
Взрывается посреди Ватикана...  
...доступная площадь святого Павла

**Наделенное властью лицо.** А сейчас настало время для вопросов со стороны.

**Парализованная нимфоманка.** Я хотела бы испытать – так сказать, в себе – переживание вашей вины. Так сказать, действенный экстракт вашего поступка. Поделитесь, впрысните в немощь моего тела детали – самый сок – вашего действия.

**Тысячи анонимных преступников.** Мы забытые дети, мы бежали из колыбели в поисках матерей. Мы находили мужчин и женщин, которые клялись нам в любви, но обманывали нас, и мы бежали дальше. Туда, где раскаленное солнце. Туда, где колючее море. Нас целовали, затылком прижав к колючей проволоке, мы нежно брали в рот, но никто не признал нашу нежность рентабельной. Мы отброшенные и забытые молитвы, живущие в век прогресса. Мы оккультная наука, спящая под плинтусом. Мы мертвые, согласные на некрофильскую любовь живых. Мы молимся мертвому божеству, сидящему посреди некрополя Царства Небесного, мы в птичьем плаче ищем предсказания, мы уничтоженное племя в убийстве, искавшее свободу; мы отправлялись на каторгу за поиском любви заключенных и стражи, мы изнасилованное потомство; мы – метафора всего человечества. Мы – верлибр, зачем-то покинутый божественной рифмой; мы непонятая строка сложного искусства. Мы – Джойс в царстве корпоративной истории.

**Парализованная нимфоманка.** Я вкушаю. Давно уехавшая от мужа, я понимаю. Я ехала, куда глядят глаза, а точнее – где проложены дороги для таких, частично мертвых, но моя жалость к вам не остыла, я прихожу на суды из века в век и во мне остаются ваши истории, ваши слезы в моем жерле, я сосуд, наполненный вами, я вампир, питающийся кровью преступников, вечная дева сострадания, Магдалина нескончаемых преступлений, я все понимающая и все вбирающая куртизанка, лежащая на постели индустриального общества. Мои отбитые ноги символизируют невозможность нахождения истинного пути. Моя седина – мое понимание. Коляска означает город. Мой череп, обитый кожей – это судебный зал, внутри которого разум приговаривает сердце к двенадцати смертным казням подряд. Я – ночная Магдалина, в молодости выпившая кровь собственного ребенка, и растопившая его кровью свое ледяное сердце. Я – та женщина, которая отыскала женственность в болотистой чаще собственного тела. Мой внутренний мир шире, чем площадь святого Петра.

**Маргарита Бергштайн.** Я приходила, чтобы покорить мужчин своей кротостью. Большая грудь, узкая писька и широкое сердце – вот мои орудия. Но там, где мужчинам предлагают выбор, они никогда не выбирают сердце. И убийства шли из

---

<sup>30</sup> Читай, как трепетная пизда волшебной лисы.

него, из моего сердца, которое было отвергнута. Я плачущая шестерка мечей, я решительное торжество сердца над грубой материей.

**Джекоб Блём.** Я читал книги и вскоре забывал их. Но книги – держались в моей памяти дольше, чем память о том, что Вы хотите услышать. Моему внутреннему миру закрыты факты преступлений, о которых Вы спрашиваете. Мой мир уничтожает все лишнее, память избирательна.

**Убийца.** Сейчас, после того, как трагедия превратилась в фарс, а фарс в мистерию, я начинаю глубже понимать случившееся. Теперь, парад планет, таинство для меня раскрыто. Судебный зал предстает обсерваторией, и я смотрю в себя. Я приехала в город, где никогда не была, чтобы убить женщину, которую не видела семнадцать лет. Во всем этом нет никакой видимой сути, но существует внутреннее напряжение. Моя внутренняя правда не лжет – учительница французского должна умереть. Я нашла ее адрес, это было несложно, и поднялась по лестнице. Позвонила в дверь. Застрелила ее. Это было стерильное убийство. Никакого насилия, никакого аффекта. Мы выкурили в квартире убитой и отправились в ресторан. Нет, мы не праздновали убийство, но и не бежали его. Это было необходимое действие в нашей индивидуальной истории. Мне ясно, что никакой личный мотив не может быть обналичен, мне ясно, что никогда моему сердцу не быть ясным и вам, мне ясна бессодержательность слова. Как книгоиздателю, мне это, конечно, очень ясно. Но сейчас – ваши вязанные лица, infernalная дама в коляске и ее infernalный поводырь, сам судебный зал, сквозь который призрачной процессией стремятся воспоминания – я могу ответить вам о внутренней сути этого убийства.

**Наделенное властью лицо.** Отвечайте же!

**Убийца.** Случается, что какое-то слово видоизменяет действительность. Там, семнадцать лет назад ее слова изменило действительность – в худшую сторону. И я не смогла с этим смириться.

**Наделенное властью лицо.** Что это были за слова?

**Убийца.** Я не помню. Во мне живут только последствия.

**Наделенное властью лицо.** Почему через семнадцать лет?

**Убийца.** У меня нет ответа.

**Наделенное властью лицо.** Сейчас Вы раскаиваетесь?

**Убийца.** Нет.

**Наделенное властью лицо.** У присутствующих еще есть вопросы?

**Слепой мальчик.** Мое зрение выжжено ударом отчима, но подарите мне фотографии ваших жертв.

**Тысячи анонимных преступников.** Пустые карманы, облезлые и грязные тела, мужчины и женщины, братская могила, стеклянная башня, древо Сфирот, книга Перемен, убитые мальчики и девочки, газовые камеры, далекий лес.

**Джекоб Блём.** Они выглядели так, что не заслуживали того, чтобы я их запомнил.

**Маргарита Бергштайн.** У них были маленькие сердца. Но иногда у них были большие, и они принуждали меня.

**Убийца.** Учительница французского. Просто учительница французского. Учительница французского – это многое рассказывает. Узкие джинсики, моложавая, дерзкая, разбитная. Она не нужна. Она была не нужна. И поэтому ее не стало.

**Наделенное властью лицо.** Ваше последнее слово!

**Тысячи анонимных преступников.** Конечно, невиновность!

**Парализованная нимфоманка.** Еще...

**Слепой мальчик.** Существование нелегитимно.

**Джекоб Блём.** Кажется, я отыскал квадратуру круга.

**Маргарита Бергштайн.** Я хочу любви!

**Убийца.** Она просто была не нужна, понимаете?

**Наделенное властью лицо.** Нет.

Он говорит «нет» – всем ожиданиям, всем предложением. Вязаный рот говорит «нет», заседание окончено, его продолжение назначено на следующую пятницу. Вот остановлен поток памяти. Вот мы встаем и прощаемся с убийцей. Вот мы застегиваем пальто, укутываем наши воняющие тела в материю. Отправляемся по своим делам. Получаем деньги за распространение материалов по делу стерильного убийства учительницы французского, вот в нас что-то меняется от вновь привнесенного преступления, от соглядатайства и сотрудничества. Растворяются дымом парализованная и слепой, вязаные маски летят на пол. Мы покидаем зал суда. Уже ночь и свет перестал проникать в окна. Весенняя ночь холодна. Пятничной ночью я пялю коридор рентабельности уличной шлюхи, мой издательский портфель забит нетленками, и я хочу сжечь его. Только густое отвращение к человеку и его переживаниям позволяет мне хорошо выполнять свою работу. Нет, вы не подходите нам, fuck you and goodbye. Десяток в день и сотня за месяц – отвергнутые писатели устраивают плач к небесам. Возможно, они кончают собой или убивают своих жен, а потом возвращаются, но нет, вы не подходите нам. Я хочу, чтобы графоманы умирали от передозировки воздуха в межклеточном веществе, то есть я хочу умереть. Fuck me and goodbye, мое звонкое уединение вновь уничтожено, я снова заметил существование человечества, оно выныривает из складок, чтобы громко пернуть или признаться в любви, оно ковенем кружит вокруг KFC, оно факается, но никак не хочет проститься. Прости человечество, ты не приходишь нам, мы отвергаем твое предложение, твоя убыточная история – на расстоянии шестнадцати сплетенных косичкой трупов от нас.

И вот, классическая музыка забивает твою вонь, она не нужна ни для чего больше. Как валиум, только закрой глаза, carmina burana в перегонах метро. Авторское кино, как зеркало. Ничего не нужно ни для чего, мне успокоительно нравится кольцевая – самозабвенно плящущая собственный зад.

## 5. Мой ласковый Нагельфар

### Расколотый Лев

Мне снится, что Лиза лежит на сцене, деревянной палубе, снится, что Лиза в красном жакете, и с бутонами красных гортензий на чулках. На фоне погасшей вывески, напротив пустого зала – соблазняет голые сидения – этими бутонами красных гортензий на чулках. Она уже слегка в теле, уже оплывшая и утраченная, лежит и водит ножом по внутренней стороне бедра. Я знаю, что в своих снах – Лиза тоже водит ножом по собственному бедру. Звуки города всплывают в зал; это звук синеголового поезда и гул голосов, легкий бриз ночной улицы, запах похоти, тысячи отпущенных на вольные хлеба пожарных гидрантов, заливающих женщин; крики выключенных телевизоров, с которыми остывает у них внутри лампа, и с которой гаснет изображение. У Лизы отросли корни. Лиза лежит на сцене и гладит ножом – внутреннюю сторону бедра. Пахнет ее незабвенный цветочек в темноте. И смешивается с запахом ее волос и запахом ее красного жакета, рукава которого закатаны до локтя. В ней ничего соблазнительного, кроме мускусного телесного запаха, ночного воздуха, в котором город и Лиза смешиваются, а затем, спарившись, разделяются. Кажется, в зале никого нет, или кто-то есть, или Лизины тени пляшут, когда она двигает голой коленкой или поправляет вельветовую юбку. Ее туфли были бархатными две недели назад, но она почистила их с кремом, и всякая приятность их ушла. Я знаю ступни Лизы, мозолистые, уставшие слои кожи на ее ногах – она вернулась ко мне две недели назад – и когда-нибудь уйдет снова – и пока она здесь, рядом со мной – мне снится, как она лежит перед другими мужчинами или пустым залом – ее ступни, и выше ее голени, и выше до самых колен тянется по ноге ее кожа, хорошо мне известная. Женщина первой и бурной желанности, растекающийся между ладонями образ, когда она в объятьях моих или чьих-то еще бьется центральной жилой, и когда ее пользуют для мастурбации, точнее – когда ей мастурбируют. Она приехала в город в поисках ветра, и нашла, когда он поднимает ей юбку, когда этот самый город за окнами и стенами этого театра – она на остывшей арене лежит и чешет, и режет себе бедро кухонным ножом (и это точно не нож для вскрытия писем) – и нашла меня. Четыре года назад. Сила ее лояльности была так велика, что мы трахнулись при первой же встрече. Я был ее Мастером Украшений, я подарил ей – ожерелье-монисты-серьги из дорогих камней, тем дороже – что выкрадены они были у мертвых. Я ворочаюсь в полутьме, жара пришла в город, и принесла – эти душные августовские сны о женщинах. Помнится, в четырнадцать женщины плотно пришли в меня – таким же августовским сном, – женщины стали приходиться и уходить каждую ночь, лишь немного сцеживались, когда мне доводилось в ночном воздухе после учебы подцепить кого-то или же накопить денег на кого-то. Болезнь с четырнадцатилетнего воздуха преследует меня, каждую ночь, каждую ночь, и не имеет ничего общего с множеством других болезней моих сверстников... все мои чувства внутри меня – стали семенем, то есть – не просто сексоголией, но замещением. Замещением других потребностей, замещением не мысли, но желания шевелить мыслью, все мои мускульные усилия сползли в другие узлы, ночные рефлексывали мое тело

### Св. Иоким

Его дыхание медленно. Его дыхание, его размерные движения. Иоким коронован святым в подвальном помещении одного из филиалов Расколотого Льва. Запах вульвы никогда не тревожил его сердце. Замерзший Кай смотрит на потную от

жажды Герту на своем столе. Вначале он водит ножом по ее ребрам, но этого недостаточно. Тогда он берет дрель, и оттягивает ее сосок, чтобы пробить очередную дыру. 6 мм в диаметре, главное вовремя убрать палец с курка, чтобы сверло не намотало кожу. Она начинает кричать и дергать рукой, цепочка ее кандалов мелодично звенит. Затем ее крик становится словами, и Иоким разбирает «выколи мой блядский глаз», но это аффект. В такой момент она понимает, что никогда не достигнет рая, богатые девки никогда не достигают рая, сейчас ей кажется, стоит сверлу войти в глазное дупло – мир окрасится новой радостью, но даже если Иоким дойдет до мозга – она не достигнет экстаза. Даже если рассверлить череп, выломать суставы или раздробить молотком кости запястий. Поэтому он льет на ее грудь «ананасовый бриз» и слышит, как она снова начинает выть. Ее крик поднимается до потолка, наверное, разлетается по всему городу. Из-за таких, как она, приходят эти истории – призраки, чьи крики привлекают смерть, приводят смерть за руку к постели матушки. Иоким знает, что на втором этаже в женщину вдалбливают до посинения и спускают без страха беременности. Закончившая германскую филологию в Принстоне – давно уничтожила жизнь своей матки. Ее зовут Марта. Марта Зипплер, двадцать шесть лет. По утрам она улыбается Иокиму, и он знает, что у нее не хватает одного жевательного зуба, а вместо клыков – импланты. По остальным зубам – циркулярный кариес.

Мир, в котором живет святой Иоким, очень удобен – в него никто не верит. Никто не может поверить. Не хватает силы в сердечной мышце. Стоит рассказать о нем – обвинения в гротеске, в вывернутом сознании. Город – это «маркетинг», «веселого позитивного утра», «реализация», «карьерная лестница», «бракоразводный процесс», «тайм-менеджмент» и другое. Средневековое дыхание мира Иокима – забирает навсегда, но не оставляет свидетелей. Целые районы, комнаты, чердаки, вычурные пространства, неподвластные воображению, черные повитухи и пыточные камеры стоят на страже этой тишины. Иоким расстегивает наручники и получает деньги за свою работу, но для него это – дело всей жизни. Его неиссякаемое призвание – убивать то, что хочет быть убитым. Он занимается убийством, как искусством, выверенным модернистским умертвением, постмодернистским ссылочным мышлением, он складывает из трупов своих жертв новый тезаурус. Он выходит на улицу, его большие легкие зачерпывают воздух, над его головой мертвые созвездия. Мироощущение его метафор – не существует для обывателя. Сила его успеха – в гротескности и вычурности реализации своего существования. Он фантазм, морок, симулякр большого города.

...

Это начало происходит около двух недель назад. Ровно две недели назад Лиза вернулась ко мне, и теперь уже ее существование давило со всех сторон. Ровно две недели я утопал в ней или аккуратно погружался, или дырявил новые отверстия, или заливал старые, но теперь пришло время возвращаться к обыденности. Она снова вселилась в мою квартиру, и, конечно, ей не нравилось, что большую часть дня я отсутствую, нахожусь вне Лизы. Как она объясняла, ее дырочки испытывали привыкания к той или иной форме. Как она объяснила, ее разум научился сливаться с ее дырочками, и, опустев, Лиза начинала вновь тяготиться своей жизнью. Все ее прошлое возвращалось. Все ее несуществующее будущее. Каждый сантиметр ее больной кожи. Все это вновь оказывалось при ней. Ни наркотики, ни алкоголь не могли позволить Лизе забыть о своем существовании.

Ее тело интересовало меня все меньше, но я знал, стоит отдалить ее или отлучить от своей формы, мое тело вновь взвоеет без Лизы. В отличие от нее – мои формы признавали утешением только ее раздрызанную дыру. Пожалуй, в этом существовало какое-то проклятье цыган, выкрик смуглого рта и шумное

передвижение часовой башни. Прижавшись к Лизе, я испытывал тягучую и потную скуку, а без нее – одышливую осень. Теперь, когда ее накопления иссякли, я знал, что она никуда не денется – от этого она становилась для меня еще более тягучей и отталкивающей; но во мне и в ней копошились связи другого толка; мое тело, тяготящееся ее, начинало переживать, как только Лиза иссякала из пространства моего слуха. Мне болезненно необходимо было знать, что она ворочается в простынях или чешет подмышки; сам мимолетный факт ее наличия облегчал мучение суставов.

Я заполнял ее по утрам, чтобы после она вновь засыпала, а сам запирался в комнате. Запах моей работы приставал к рукам, а через них – к Лизе. То, чем я занимался, медленно распространялось на весь окружающий мир. Чувство удушья не покидало меня даже на улице, но я никак не мог остановиться. Лизе не нравился Корабль. Может быть, в этом было мое растущее отвращение к Лизе, так как весь я – был каждую секунду на его палубе.

Стоит уточнить.

Настоящий корабль мертвых, который я делаю в своей комнате – не нравится Лизе. Его дурно пахнущие паруса, его днище, его каюты первого класса. Лиза считает, что даже у омерзения должен быть конец, и Корабль – находится за этим концом. В конце концов, говорит она, люди должны искать выход, а не строить корабли. То есть – зарабатывать деньги, искать любовь и по дороге пялить таких, как Лиза. Она говорит, что с нее хватит, и требует человеческих радостей, и чтобы мы попытались спастись. Чтобы я спас ее.

Удушье – это не только болезнь горла, и не болезнь легких. Иногда это форма существования, и иногда – инструмент великой работы. Каждый раз, когда я несу материалы – в черном пакете для мусора – мне чувствуется, что происходит что-то великое. Я иду по улице, размахивая черным пакетом, и уличный мир не подозревает, что внутри. Это черный ящик, последний код мироздания или ящик Пандоры. Я сбрызгиваю в пакет освежитель для воздуха, чтобы тайны черного ящика не открылись посреди улицы.

Лиза смотрит из-за плеча, в самом начале моя работа казалась ей – может быть – немного интересной. Что-то в этом труде для нее сверкало. Пока нос моего корабля таранил ее бухту, ей чудилось, что и палуба моего корабля может ей пригодиться. С брезгливым и детским страхом она разглядывала мачту – матовую мачту с красными блестками жира, волосяные канаты и крошечные чешуйки, из которого состоит корпус. Ее ногти тербят мое плечо, что же это такое(?), вот что она хочет узнать. И, конечно, я с гордостью рассказываю ей все то, что составляет мое прошлое – увлеченная германистика в запахе моего пота обволакивает Лизу незнакомыми именами, это Рагнарёк ее рассудка, крушение, истерзанная шлюпка садится на мель. Я говорю, что когда все это случится – корабль, сделанный из ногтей мертвецов, всплывет из царства мертвых, да-да, когда волк съест солнце, когда волк съест луну. Я делаю корабль. Тот самый корабль, который всплывет, когда начнется Рагнарёк, когда шлюпка человечества сядет на мель. Пинцетом я хватаю ноготь большого пальца, зеленоватые разводы грибка, и креплю его к днищу, чтобы грибок казался морской слизью и водорослью. Если зажмуриться, запах мертвых – это запах моря, запах нашего детства, радостного взросления и родительской любви; может быть, ногти – суть наша память, суть наше единственное крепление к прошлому, нерушимая спайка, ломкость позвоночника. Лиза уходит. Глядя в мрачные перепонки окон, глядя в пустоту, в зеркало, я тревожусь своего прошлого, а оно – тревожится внутри меня. Там, в незыблемой границе родительская любовь морским приливом превращается в те дебри тех извращений, которыми стала моя повседневность. Ржавчина и разводы

внутренностей убитых насекомых окаймляют окна моей жизни, свет моего сердца направлен – в люфты возлюбленного Наггльфара.

Сквозь балкон я двигаюсь по пожарной лестнице вниз, чтобы вдыхать ночь, и чувствую невидимую карму, которая леской натягивается между мной и Лизой; не так уж и много шагов мы можем себе позволить, и уже эта леска напоминает о себе, уже тиранит горло. Карма – всего лишь визуализация нашей преданности, сумбур нашего страха и врожденного суеверия. Внизу дочь нашей управляющей играет в куклы, чтобы встречать рассвет. Ее детство проходит на задворках кошмара, в доме, где мужчина клеит корабль из человеческих ногтей; ее крепление с жизнью, эта черно-бурая пуповина, существует за счет незнания. Невежество и черная грязь – единственное, что позволяет цивилизации вдыхать воздух. Невежество Лизы расширено, как диафрагма при асфиксии. Вот этот момент – я так далеко спустился от нее, что карма возвращает меня к мыслям о ее теле, о ее теле, о ее детстве, о ее волосах. Девочка показывает мне куклу и спрашивает, мальчик это или девочка. Но во тьме нельзя разобрать. Ногти – не хранят память о поле и гендере. Я говорю ей, что это девочка.

Но она отвечает, что это мальчик.

...

Св. Иоким не знал, что у вдовы \*\*\* есть дети. Об этом никогда не заходила речь. Она говорила о мужском плече, о красоте мужских ягодичек, о вкусе черники, о радости рассвета, о замкнутости жизни, но никогда о своей дочери. Но теперь они встретились глазами. Девочке было около семи и голубое платье, полный набор отчаяния, страшнее нельзя выдумать – две маленькие косички, очень тонкие, жидкие, водянистое лицо – и она смотрела то на Иокима, то на свою мать. На обломки своей матери. Иногда шхуна идет ко дну, но эта девочка еще не знала об этом. Никто не рассказывал ей про разрушение, про естественные процессы, о том, что рассвет – это просто красная вспышка, приближающая смерть. Иоким продолжал держать \*\*\* за шею и молча смотрел на осиротевшую девочку. Потом он сказал: «мама стала актрисой», вдова \*\*\* всегда мечтала стать актрисой. Скорее всего, она выдумала это, как оправдание своей никчемной стареющей коже. Внезапно после сорока все вспоминают, что мечтали быть поэтами, художниками и актерами. Прошлое легко восполнить, замутненная память простит любую ложь. «Это больно?» – спросила девочка, – «стать актрисой...»

«Нет. Я воткнул ей в трахею шило, это не больно», – Иоким протянул девочке шило. Артефакты прошлого имеют мистическую власть над будущим, у Лизы есть кухонный нож, у дочери \*\*\* – будет шило. Момент памяти, obsессия и кровь – вот что составляет отправную точку нашего путешествия. Взрослая жизнь стартует там, где заканчивается чей-то хлеб и чьи-то зрелища. «Я тоже буду актрисой?», но Иоким не знал, будет ли она актрисой. Будет ли она искать любовь или... он ничего этого не знал, его знание сводилось к тому, что вдова \*\*\* очень хотела умереть, и он дал ей эту возможность. Каждый шаг этой женщины, каждое осторожное рукопожатие с Иокимом, каждая улыбка неровных зубов – все говорило об одном желании, но никогда о своей дочери. Иоким не вдаётся в подробности. Он – глава Полночной Охоты<sup>31</sup> – и его задача дарить небытие. Он продает пробойники сверлом, сломанные ключицы и вывихи суставов, но никогда – лживые ответы. «Что такое актриса?», и

<sup>31</sup> Известно, что «Полночная Охота» – является зарегистрированной торговой маркой ООО «Расколотый Лев», но ее история началась за несколько столетий до этого. Мистер Бомонд, являющийся так же акционером ООО «Чертово Колесо», всегда тратил огромные деньги на поиск наиболее меланхолических и упаднических женщин эпохи. Вероятно, Полночная Охота ставит перед собой целью «производить» Дев Голода так же, как это делает Джекоб Блём – методом поставленного на поток мучительного и атмосферного убийства женщин – особенных женщин – и без того желающих смерти. Члены Полночной Охоты трактуют свои убийства через термины «эвтаназия», «добровольность», «любовь».

«Она будет дразнить демонов, они будут смотреть на ее игру, и дразнить свои нервы», но «она же спит, она не будет играть!», и «у них очень широкое воображение...»

Полуночная Охота имеет свои сезоны, она движется в кривой спроса и предложения, как огромная спираль ДНК, она вбирает в себя тренды, маркетинговые исследования, социальные дискурсы, гендерное неравенство, и становится их перекрестком. Полуночная Охота 21-го века – это когда св. Иоким ищет на улице человека, искренне желающего умереть, и дарит ему смерть. Это эвтаназия, это Санта-Клаус, это чертовски вычурная реальность. Конечно, Охота является только первым звеном этой огромной цепи промышленной смерти; в городе, где тысячи демонов мечтают сочного мертвого мяса, не может быть иначе. Иоким знает, что желающие могут купить человеческое мясо в развес, сырое или приготовленное по заказу, содрать его с кости и все остальное, просто вопрос денег, но деньги – скорее вторичная прибыль, первым рынком – является ритуальная реализация убийцы через акт необходимого жертве убийства. Это как шаманская болезнь, зов необходимости приходит из вороньей сердечной воронки, пронизывает сосуды, контролирует мозг. Поэтическое вдохновение, щелчок, секундное знание. Это всегда любовная связь. Может быть, не очень долгая, не – вербально – откровенная, но время не имеет значение. Иоким не занимается грязным насилием, совращением малолетних или отравлением мефедроном. Он всегда приносит необходимое – себе и другому. Поэтому это – Полуночная Охота. Поиск любви по запаху, воплощение спрятанного в солнечном сплетении города удовольствия, мистерия.

«Я хочу с мамой!» – она топает ножкой. Рваная туфелька. Ее будущее – конечно, антрацитовая чернота. Все эти сиротские приюты, миры детской проституции и ранних разочарований, барбитуратной зависимости, трипы, приходы, откаты, растущие кредитные ставки, вселенные ранних беременностей и домашних абортов, поиск объятий, чумы, безумия, любви, доверчивости и – в конце – раскаленной короны, коронации Полуночной Охотой. Или же – одна из грязных форм смерти от триппера и гепатита, сердечной колики, удушья, ножа сутенера. Но Иокиму все равно. Сегодня он здесь только для \*\*\*, его сердце моногамно, его любовь – крошечная дырка от шила, его огромное девственное тело даже не наполнило собой вдову \*\*\* и никак не опорочило его.

Он поднимает убитую на руки. Невеста с тонким ручейком черной артериальной крови. «А я?», но Иоким уже не отвечает. Уже нет необходимости, а потом – синеголовый поезд рвет тишину ревом своего движения.

### **Нежность к мертвым**

Красота – это все укутывающая печаль. Первое, что я вспоминаю, когда начинаю думать о красоте – это отлогий склон, серпантин крутого берега, шуршащая от прикосновений сухая трава. Может быть, звезды. Холодный изгрызенный свет. Он протягивает свою руку, чтобы взять мою ладонь, а я все так же часто думаю о том изгрызенном свете какой-то мутной звезды. Наши романтические переживания начались спонтанно, в общем, они были быстротечным спасением – или, попыткой инсценировать спасение – и теперь мы гуляли, как малолетние любовники. Лизбет, Лизхен, Елизавета, – она всегда говорила мне, что чудовищ не существует; уж не знаю, откуда я узнала о них, но моей матери постоянно приходилось повторять: Лизбет, Лизхен, Елизавета, чудовищ не существует. Мой разум отказывался принимать это. Я отказывалась верить, что их нет, что человеческое пространство – изведенное и все темные пятна давно

высвечены. И поэтому я поехала в город. Мне был нужен повод, и поэтому – я решила стать актрисой. Наверное, потому что все девочки должны хотеть – быть актрисами, или потому, что я больше не могла этого слышать: Лизбет, Лизхен, Елизавета, чудовищ не существует.

Пока мы гуляем с Иокимом, я рассказываю ему, как приехала в город. Ничего необычного. Тысячи приезжают в город каждый день. Вырываются из отцовских объятий, рвут отношения с матерями, ищут перспектив и жаждут наживы. На кастинг нас согнали в большой зал. Это – арендованный физкультурный зал местной школы. В углу маты синего света, желтая штукатурка, на мне короткое платье, нижнего белья нет. Пахнет потом и усталостью. Я смотрю в окна – узкие, задрапированные решетками – бойницы под потолком. Футбольные мячи оставили на решетках вмятины, а я стою, и другие девушки стоят в ряд. Ни у кого нет нижнего белья, мы знаем, как становятся актрисами. Но когда появился мужчина, я почувствовала, как у меня внутри что-то шевелится. Не потому, что я перестала быть готовой на все и не потому, что я перестала знать – как это делается – а от какого-то другого страха. То есть я стояла в физкультурном зале, и именно здесь произойдет глобальная перемена. Никакая обратная перемотка не поможет, а где-то далеко гудел поезд. И мужчина задавал нам разные вопросы, я слушала, что отвечают другие. Пока никаких намеков или открытых предложений, он спрашивал о театре, о вопросе постановки кадра, и другие давали какие-то ответы, то есть – они, кажется, пришли сюда с какими-то другими установками. Пришла моя очередь. Я вышла вперед, провинциальные серьги в уши и соски просвечивают сквозь платье, на подмышках от волнения образовались белые катышки. Жила на шее билась сильно-сильно. И меня спросили, как меня зовут. Я ответила, что Лизхен, и поняла, что меня не возьмут. Это было ясно, как только я сделала этот шаг вперед. А теперь – очевидно. Мужчина кивнул, он ничего не записывал, хотя держал в руках блокнот, он показал мне, что мои простенькие ответы он способен запомнить, не конспектируя. Он спросил, почему я решила, что могу быть актрисой. И почему я лучше, чем другие. Терять было нечего, совсем некуда отступить, а девчонки рассказывали, как становятся актрисами, а еще мне было всего восемнадцать и мне не хотелось возвращаться домой. Поэтому я сделала еще один шаг вперед, и все на меня смотрели, а потом попросила мужчину дать мне руку, и (он оказался женат) он протянул ее мне. Самые смелые попадают в рай, дорогу осилит идущий, я взяла его руку и засунула себе под платье. Вначале мужчина никак не реагировал, а потом инстинктивно потрогал мой цветочек, даже не потрогал, а похлопал, как младенца по заднице хлопают, и сказал мне «я вас понял, развернитесь», а когда я развернулась, он брезгливо вытер пальцы о мое платье и приказал уйти. Я уходила в полной тишине. Никто даже не хохотал. А потом я услышала – уже в самом конце – как другая девушка отвечает на вопросы мужчины. Жизнь продолжалась.

Иоким ведет меня вдоль железной дороги, где ночь раскачивает ивы. Он продолжает активно слушать о моей жизни, но сам почти ничего не рассказывает о себе. Наш роман – то испорченное экологией имаго, которое никогда не станет бабочкой. Настоящая любовь, настоящая дружба и нежность, омраченная тем, что у меня есть другие любовники и воспоминания об угасающей красоте. А еще я внезапно говорю ему, что у меня есть ребенок. То есть оправдываюсь за испорченную фигуру, за растяжки, за обвисшую грудь. Ни Павел, ни мои редкие посетители не обращают на это внимание, их форма жизни требует единственного логического завершения – эякуляции; в этом им не может помешать ни обвисшая грудь, ни испорченная фигура. Иоким спрашивает, как его зовут, этого ребенка, и я отвечаю ему какое-то чуждое мне имя. Его воспитывает моя мать. Наверное, она говорит ему, что чудовищ не существует. Может быть, кроме Лизбет, Лизхен,

Елизаветы, которая забыла отлогий берег родового гнезда. Я говорю, что это случайный ребенок, и я его не люблю. Нет, даже не так. Я ничего не чувствую. Ни любви, ни отсутствия любви. Ничего к этому не чувствую. А его отец – хозяин «Погасшего неба», куда я устроилась семь лет назад. Я танцевала, в основном канкан, и мало какие излишества происходили в моей жизни. В общем, мне нравилось. Я даже спала с ним, потому что мне нравилось. Иногда в темноте скапливалось так много нерастроченной женственности, что я просто давала ему. И мы оба не превращали это в проституцию или грязь. Я – из отторжения грязи и проституции; а он, потому что имел крохотный член, такие размеры не располагают к грязи. «Небо» досталось ему от отца; вначале это был просто бар, а потом там появились и девочки. Думаю, это естественный ход вещей, так сказать, эволюция, но точно не развоплощение нравственности.

Иоким показывает мне на рельсы, бурые кровоподтеки указывают на самоубийство. Так мы становимся немymi свидетелями чьего-то завершения, а потом продолжаем прогулку. Я рассказываю о своих любовниках. Они многое обещали мне, кажется, это в самой их природе – растрчивать себя в обещаниях; в самой их генной задаче – бесконечное самоутешение и мужская воплощённость в бестелесных обещаниях... каждый раз я шла вслед за этим, каждый раз новую форму обещаний принимая за правду, а потом умер отец. Он умер, зная, что я сбежала из дома, чтобы быть легкомысленной шлюхой, мечтающей о счастье. И я думаю, умирая, он полагал, что я не приеду на похороны, и я приехала, чтобы не быть, как бестелесное обещание. Обветшалая женщина, как одержимый особняк, как разрушенная статуя, я вернулась домой, и сидела на кухне с матерью. Я сказала ей, что она ошиблась. Чудовища существуют. Они в феномене современности – в способности забывать вчерашний день. Я рассказала ей, что происходит в большом мире, чем дышит ночной город, сколько стоят те или иные услуги. Чудовища существуют, мама, и они всегда в предельной близости к тебе и твоему внуку. А потом я поднялась к этому чуждому ребенку, очень милому парню, герою-любовнику будущего, бестелесному обещанию завтрашнего дня, и гладила его по голове и разглядывала его без всяких эмоций. Очень красивый мальчик. А мать спросила меня, хочу ли я взять себе половину праха, то есть исполнить дочерний долг, и развеять его сама, в особом месте, в каком-то важном для меня месте. Я не знала, есть ли такое место. Существует ли вообще у меня – какое-то место. Павел был моей единственной постоянностью, как минимум, моим постоянным любовником и источником денег. Наверное, он напомнил бы меня водой перед смертью. Но, конечно, ему не был нужен ни мой сын, ни прах моего папаша. Он – моя бытовая любовь, моя точка опоры, наша постель – секундное утверждение реальности. Я сказала, что хотела бы взять прах, и мы отсыпали часть – не думаю, что половину – в банку из-под майонеза. Я взяла ровно столько, сколько вместились в банку. Не столько, сколько хотелось взять и не столько, сколько духовно причиталось мне. От отца мне досталось ни больше, и ни меньше, но ровно сколько влезло.

Я подбиваю Иокима к жалости. Я бы отдалась ему, чтобы согреться и очередной раз все нарушить. Но он стойчески гуляет меня в каком-то одном ему известном удовольствии прогулки, в парном безделии мы пересекли железнодорожные пути, и спускаемся по холму к городу, чтобы затем начать двигаться по его улицам.

...

Первым делом я осматриваю ее ногти. Ногти вдовы \*\*\*. Ее тело лежит на столе, череп укутан марлей, красные отпечатки на белоснежном хитоне, плащаница. Вторым делом устранение кутикул. Рука приподнимается вслед за щипцами, потом

резко падает на стол. На кожном покрове останутся гематомы. Затем я аккуратно вырезаю ногти из ложка, я полирую кровавую бахромку.

Тела, которые попадают в мои руки, избавлены от домогательств похоронных агентств и скорби родственников. Их привозят на старую швейную фабрику, чтобы подарить останкам новое будущее. Иногда – вечность. Чаще – несколько минут в свете софитов театральных подмостков. Швейная фабрика всегда удовлетворяла изысканные потребности жителей города. В древности, в минуты промышленной революции, именно здесь шили одежду нового режима; после – сектанты судьбоносных нитей назначили ткацкий станок объектом своего поклонения; сейчас – казематы принадлежат ООО «Расколотый Лев». Думаю, все дело в краеугольной плоти. То есть – в той жертве, которая была уложена в котлован гекатомбы во время строительства. Называют разные цифры и имена, но все же «Расколотый Лев» любит называть своей покровительницей святую Агнессу. Заживо сожженная двенадцатилетняя девственница легла в основу ткацкой фабрики, стала ее фундаментом. Это оккультное варварство и сейчас чувствуется в серых стенах «Льва», собственная оккультная история которого – еще более варварская, чем смерть святой Агнессы. Лиза отказывается понимать катастрофическую глубину этого места, запущенность духовных процессов этих комнат. Моей работы. Нагльфар, Великое Строительство, служит неким отторжением, противопоставлением происходящего во «Льве».

Верхние залы драпированы под викторианские бордели. Огромные залы производства, вентиляционные системы, блоки очистки и обожествленный ткацкий станок – все скрылось под новым временем, под новой тягой к ретроградству – к восстановленной и напичканной новыми смыслами викторианской системе увеселения. Как известно, старинные бордели предлагали определенную парадигму мышления и жизненного убранства. Дети, рожденные проститутками, вырастали с точно построенной профориентированностью. Их девственность выставляли на аукцион – в двенадцать или тринадцать лет – и к этому у девочек не существовало какого-либо отторжения. Думаю, коитус был не только приятнее, но и много приличнее во времена святой Агнессы. Никакие средства массовой информации и никакие лобби не закладывали в мужские черепа об эстетических характеристиках женщины. Любой товар мог найти своего покупателя, обоюдная доступность и здоровая конкуренция проституток не только разрушала моральные установки, но и приводила к добропорядочным союзам девушки и ее покупателя. Я говорю о замужестве, или – постоянности, еженочности их контакта в стенах борделя. О деторождении. О радостном детстве девочки, уготованной в проституцию. Никакой помраченности мыслью или Богом. Сейчас же «Расколотый Лев» существует в других рамках и движется к совершенному другому. Необходимость в УТП (слушай, как УНИКАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) принудило его учредителей выдвинуть на рынок новую схему.

Мертвые тела, медицински обработанные. Стерильные некродырки.

Отсутствие паразитов в теле.

Анонимные или деанонимированные мертвецы мужского и женского пола.

Я отвечаю за чистоту, за уничтожение ороговевающей ткани, 21-ый век блестит неоновыми вывесками здравоохранения, селфбилдинга, чистоты, непорочности – и новыми чудесными великолепиями. Женские тела задрапированы в дорожные платья ручной работы, необходимые клиенту фрагменты материи уничтожены, оставляя голыми ребра или же – после желаемого удаления костей – темные лакуны. Кожа приведена к белоснежному совершенству. Волосы нужного цвета и фасона, жесткие или мягкие на ощупь, короткие или длинные. Модификация занимает менее двух часов, после подачи заявки через мобильное приложение – тело будет

подогнано под самые изящные мужские фантазии моей легкой рукой. Оплата наличными или карточкой; мы принимаем транзакции любого крупного банка без процентов; до или после посещения «Льва»; наши девочки не только приучены умалчивать о чаевых, они – Физически – не могут и не хотят принимать их. Японки в кимоно эпохи Эдо, французенки времен буржуазной революции, наложницы хана Батья, подруги Калигулы и Кромвеля, белошвейки, вакханки, поэтессы, стюардессы, медсестры, работницы офисов, транссексуальны, гермафродиты, чудовищные гомункулы и доппельгангеры, альрауны, инсталляции Шабаша, Бостонского Чаепития, Взятия Бастилии etc.

Главное не задумываться – может ли это место существовать или находиться эпизодом в чьей-то чудовищной повести, на картине Босха. Существует ли оно или только – вьет гнездо в черепае некрофила. «Расколотый Лев» должен жить оазисом и фантазией, мороком. Его предложения слишком... гипотетичны, чтобы – отторгающие его великолепие – могли поверить в факт существования первого, официально имеющего юридическое лицо – борделя для некрофилов.

«Лев» сам находит тебя. Предлагая тебе работу или развлечения, он анализирует твои запросы в поисковиках, собирает информацию о просмотренных тобой фильмах и прочитанных книгах. Его инструменты позволяют без погрешности выйти на необходимого человека и выдвинуть – в единственно необходимой формулировке – свое предложение. Вся необходимая информация уже разлита в воздухе, нужно просто избавиться от шума. После легализации эвтаназии, «Расколотый Лев» выступает на рынке с комплексными услугами последней инъекции и погребения. Это благотворительная эвтаназия с посмертной отработкой задолженности, безболезненный способ сказать «прощай!», нет нужды отрабатывать недели с психологом перед подписанием разрешения, «Лев» понимает необходимость преждевременного ухода, невозможность решить первую влюбленность или опыт изнасилования иным, менее радикальным, способом; его ласковая рука утешения – приходит до наступления возраста согласия или уголовной ответственности. Только эпоха чистого ума могла изобразить его – вырезать на своей плоти – огромное здание по превращению человеческой жизни в нежизнь. Ссоры с родителями, первый мальчик, внеплановая беременность, частные кредиты, адюльтеры, превратности судьбы – повод для самоубийства нашел элегантный метод решения.

Это здание нависает над городом, как жертвенный идол. Горят глаза его окон. Может, он производит столь угнетающее впечатление только на тех, кто посвящен в дела его внутренностей. Я смотрю на него – как на раковую опухоль, вырезанную из контекста реальности. Чудовище существует. Четыре этажа и высокая башня экс-часовни – так называемый серпантин Рапунцель, для тех, кто любит секс стоя, прижав мертвую женщину к бойнице на высоте 30 метров над людными улицами.

«Лев» пришел ко мне через год после того, как Лиза впервые ушла.

Болезненный нарыв, мне было больно глотать от гнойной ангины, внутри меня уже вращались какие-то мысли о Великой Работе, но я пока даже не мог представить ее конкретных очертаний. С Лизой мы познакомились в парке, возле цветущей воды. Пахло этим первым осенним гниением. Настоящая любовь всегда начинается с ебли в первую встречу. Лиза смотрела, как вода движется в искусственном пруду, точнее – как тени движутся по воде. На ее шее были следы старых засосов, но в остальном она выглядела трепетно, утраченно. Она нежно держалась за поручни решетки, как бы кокетничая с темнотой. Она спросила меня, как спрашивают в кино, кто я такой. Это было очень постановочное знакомство. И я встал рядом с ней, чтобы рассказать о себе. То есть – все с самого начала, ведь у нас была целая ночь впереди, и нам было нечего терять. О том, как первая девочка повалила меня на постель, и сказала, чтобы

я разделся, о том, как она начала целовать меня в шею и спускаться ниже-ниже, и что потом она взяла в рот, но не разрядила мой член, а приказала встать раком, и стала ласкать мой копчик, а потом облизывать задницу, о том, что я до сих пор помню это чувство резко сокращающегося сфинктера под ее языком... о том мерзостном чувстве дьявольской инициации, о том посвящении в ночь, которое тогда произошло, о той необратимой перемене. Все испортилось, сказал я Лизе, и Лиза ответила, что она потеряла любовь. Оттуда и засосы – пыталась забыть. Чем она занимается? Танцами. Откровенными танцами, ей это необходимо – чтобы мужчины смотрели на нее. Она сказала, что играет в прятки со старостью. Я рассказал ей, что изучаю дохристианские ереси, что ношу в себе бремя декадентского упадка, она начала хохотать, что я ничего не понимаю в жизни, и я согласился. Ей понравилось, что я подрабатываю в морге, чтобы спрятать свое влечение ко всему девиантному, модное увлечение судорогами и гибелью. Так мы стали любовниками, а потом она ушла. Это тоже была игра в прятки со старостью. Ничто не должно в жизни Лизы быть постоянным, наверное, именно поэтому она не хотела получать образование – чтобы ничто не тянуло ее ко дну ясности; у нее не было предпочтений – по крайней мере, серьезных – и более глубоких, чем весенняя любовь к фильмам с Клинтон Иствудом.

В темноте Лиза показала мне, что римминг – не является дорогой в ад, и не является провинцией ада. Римминг – это просто римминг. После него так же могут происходить поцелуи и разговоры о вечном. О темноте за окном. О моем дипломе о древнегерманском царстве смерти. Помню, я рассказал ей – после того анальной пробки, которую она вставила в меня, и долго смеялась над моими реакциями – что Нагльфар – символ разорванных душевных ценностей. Она спросила почему. Потому что германцы всегда – ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ – обрезали ногти своим падшим, в этом была последняя честь. Мертвый должен быть очищен от грязи под своими ногтями. А Нагльфар – корабль, собранных из ногтей мертвецов – является символом эпохи, когда за мертвыми перестанут ухаживать, когда их ногтей хватит – хватит на целый драккар. Она так хохотала над этим! Ее представление о сексе и смерти были будничны и даже унылы. Она признавала бесконечное разнообразие – и практиковала его – человеческой плоти и человеческих изобретений. На каком-то витке ее практик – в ней побывали все способные доставить удовольствия предметы. В этом – по ее словам – было отторжение мира мещанских и буржуазных ценностей... конечно, она не знала до конца, что означают эти самые мещанские и буржуазные ценности. Для нее в сексе и резиновых членах было оружие против всего, что она видела вокруг. Оружие против красивых мужчин и женщин, любовных романов, свадебных платьев, красивых историй, церкви, матери и сына. Кажется, всю свою жизнь она положила на то, что разомкнуть собственную связь с собственным материнством. Факт о том, что Лизу кто-то породил и сама Лиза породила кого-то – заземлял ее самоидентификацию свободной и внеконтекстной женщины. Так же ее стал заземлять я, и она ушла, растворившись, оставив мне лишь утраченное время, утраченную жизнь, язву на месте сердца, язву на том месте, где выросла моя гордость за спасение ее порочного существования. Весь я – во время наших отношений – стал этой олицетворенной гордостью; святой Агнессой; гекатомбой во имя Лизы.

### Полуночная охота

С каждой минутой нашего романа – я все больше чувствую себя разрушенной. Каждое мое достоинство, пропущенное сквозь Иокима, обращается в раны и шум. Мои будничные признания тонут в его грудной клетке. Корабль по имени Лиза идет

ко дну. Ветхая трехпалубная потаскуха. Он всегда лоялен к моим излияниям, его роскошное финансовое существование тревожит меня – и я замечаю, что моя тяга к нему во многом тяга – к его роскошному финансовому положению. Я вспоминаю сквозь него театральные кастинг и то, что, глядя на того мужчину, я так же испытывала эта будоражащее влечение, и не могла распознать в этом влечении, разделить это влечение – на влечение к плоти и влечение к шансу.

Когда я вернулась к Павлу, казалось, я нашла гавань. И теперь мне ясно отторжение к этой гавани – ее доски, ее пальцы, знали о моем корабле все, любое движение моих скважин было известно зрителю доков. Иоким же не погружается в проблемы моего ума, и поэтому я остаюсь ему перманентно неизвестной, но все же он влюблен в меня какой-то странной любовью импотента. Я спрашиваю его, когда мы сидим на берегу, кем он работает. И он отвечает, что является бренд-менеджером «Расколотого Льва», помогает людям узнать о том, что «Расколотый Лев» существует. Это донесение – называется Ночная Охота. Он помогает актрисам попасть в театр. И это донесение – всегда связано с любовным переживанием самого Иокима. Он принимает тех, кто находит отклик в его сердце. И я снова и снова вспоминаю, как мой сын спит, как я глажу его по голове, и понимаю, что слова Иокима не достигают меня, что меня уже ничего не достигает... Павел делает корабль из человеческих ногтей, Иоким крутит романы с актрисами, все это – по ту сторону ада; это место, где властвует ночь, и корабль моих ожиданий лишь движется – от одной пристани этой ночи к другой пристани. Моя ладонь – на черепе моего сына. Даже слова – все они сотканы из темноты. Я отгорожена от всего человеческого. Иоким гладит меня по щеке, и я глажу по его щеке и чувствую щетину. Он просит рассказать мою первую историю любви, и я рассказываю, что мне было шестнадцать, когда я влюбилась, и он продавал пиво. А потом я с кем-то переспала, и он узнал, он ударил меня по лицу, и отказался трахать. Вот и все, что я помню. Иоким спрашивает, зачем я с кем-то переспала. И я отвечаю – просто так. В школе учили химии и физике, но никогда сексу, а наши девочки уже жили половой жизнью – не только успешные девочки, но и почти все другие; даже самых страшных щупали в раздевалке, – а я нет. Мама говорила, что я встречу свою любовь, что чудовищ не существует, что рассвет – всегда наступает. Но я знала, что мама изменяет отцу, потому что у того начались проблемы с простатой, и поэтому я знала, что чудовища существует; моя мать – была одной из их племени; она почти не скрывая спала с другом семьи, и, я думаю, отец знал об этом. А когда он умер, она отсыпала его прах в баночку из-под майонеза. Я рассыпала этот прах в парке – где мы познакомились с Павлом. Этот парк, эта спящая вода в пруду, здесь для меня прошли самые значимые минуты жизни, самого горького одиночества. Я не дружила с отцом, он был весь в своей страсти к матери – в неразделенной семейной любви. И для него не наступил рассвет. А чудовища существовали. Поэтому я переспала в первый раз. Я отторгала мерзкое лицемерное солнце, этот ботексный мир, где домохозяйка рождает детей и сцеживает в их младенческий желудок свое ядовитое блядское молоко. Я сделала это из удушья. Из-за темноты. Поэтому я вернулась к Павлу. Он самое отвратительное – что может случиться с женщиной. Санитар морга, ворующий у мертвых ногти, чтобы строить корабль. Вернулась, потому что... как молотком в стекло человеческой лицемерной ценности, в сплетении этих ублюдочных вен безэмоциональной любви, леворукого перепихона, воскресного минета и церковной педофилии. Я ненавижу Павла, – говорю я, и Иоким целует меня глубоко-глубоко.

А потом, когда он отступает, я спрашиваю его, многих ли он так целовал? И он говорит, что нет. Он помнит каждую. Любовь – это его работа, а он лучший работник Ночной Охоты. Я говорю, что не понимаю его. Я прошу его разъяснить. Он говорит,

что об этом нельзя говорить. Но я говорю, что люблю его, как много раз говорила другим, и он рассказывает...

### **Башня медвежьих костей**

Иоким говорит, что «Расколотый Лев» нашел его, вырвал из темного задверья. Из страшной иронии его жизни.

...там, где темная весна кружит головы; там, где в деревни голод и крысы, там – где в сердца происходят метели злобы и семейного инцеста, Иоким искал свою настоящую любовь. Рапунцель. Так звали женщину, которую он любил. Ту Рапунцель, которая заточена в башне, волосы ее – золотая пряжа. Иоким говорит, что была весна, когда он отправился на ее поиски, и была уже осень – третья по счету – когда он прибыл к башне. Его голова кружилась от ожидания, что-то хрустело в грудной клетке. О красоте Рапунцель говорили так много, что Иоким уже перестал себе представлять ее лицо... рыцарь-девственник на вороном коне в поисках предначертанной любви. Башня Рапунцель была оплетена сухим лесом, или даже – огромным кладбище, куда со всей Европы приходили медведи, чтобы умереть. Нагромождения их костей, их старых остовов, осоки, повилики, цветов аконита и сухого дерна – стали последним испытанием Иокима. Он преодолевал заразный воздух и зрелища медвежьей смерти. Тысячи умерших в одном месте. Естественная смерть, болезни, гангрена, перебитые выстрелами охотников костные спайки. И башня Рапунцель. Наверное, они приходили умереть, поклонившись ее красоте.

Наверное, так.

Иоким у подножия, черный камень, солнце в зените, осенний воздух, и волосы Рапунцель спущены вниз. Белые, как смерть. Он раздевается, избавляет свое тело от доспехов, чтобы не переломить возлюбленной шею, взбираясь по волосам. Он обнажен, его волосатая грудь тяжело вздыхает от предвкушения. Он хватается за волосы, и слышит – как хрустит шея Рапунцель – там, наверху-наверху. Иоким продолжает подниматься. Волосы пахнут мертвой медвежьей шерстью, солнце садится, в полной осенней темноте, Иоким забирается в башню. Вот золотом расшитое платье Рапунцель. Вот платиновые кольца на пальцах. Вот венец с кровавым рубином, вот начало ее волос – в седом обезображенном черепе. Вот бледное движение мухи в глазнице. Вот Иоким гладит освежеванные скулы, вот красота – саван печали. Вот он берет руку Рапунцель в свои руки, и ее рука ломается в его сильной ладони. Вот – сотни лет историй о ее запредельной красоте – лежат перед Иокимом скелетом женщины, умершей от старости и ожидания. Старости и ожидания.

Она билась взаперти и ждала любви.

Она испражнялась в углу этой крохотной комнаты и ждала любви.

Она болела на большой постели и ждала брачной ночи.

Она поседела и ждала любви.

Она умерла в немощи, грязи, запустенье, в одиночестве, в темноте, отравленной трупным ядом, отравленная ожиданием.

Иоким освобождает ее от тяжести платья, и отрезает волосы. Он крошит ее кости и превращает их в прах, он освобождает ее – умершую от ожидания – от этого заточения. От собственного тела, от женского отчаяния, от башни, от мифа о красоте, от фантазии о замужестве, от идеалов рыцарства, от часов судорожной и безумной мастурбации на образ своего гипотетического спасителя. Иоким впервые встает на путь Полуночной Охоты – реализации женского желания перманентной смерти. Он держит на ладони шейные позвонки Рапунцель, а затем сжимает их в

кулаке, превращая в песок. Отламывает кость от ее черепа – и в песок. Ребра – в песок. И стопы. И кости бедра. Он превращает Рапунцель в седой ветер праха. В быстротечность времени, в саван печали, воплощенную красоту.

Так Иоким становится ночной охотой. И это он рассказывает Лизе, а затем горько целует ее губы. Его мужественность остановила физическую воплощенность в минуту, когда он увидел Рапунцель. Как седеют от страха, он – стал импотентом. Вот что он говорит Лизе. И вот что такое Полуночная Охота. Это – эвтаназия, Лизхен, Лизбет, Елизавета. Этот поцелуй – последняя смертельная инъекция. Это освобождение тебя из мира чудовищ и первобытной похоти.

Там, завтра, чудовищ не существует, и наступает рассвет.

Я тебе обещаю, – вот что он говорит.

И она ему верит.

### Ласковый Нагельфар

Иоким вносит ее и кладет на стол. Сегодня она выступает на сцене «Расколотого Льва», а ее ногти – становятся частью Нагельфара, отмщения мертвых. Их потусторонней нежностью. Я смотрю в ее погасшее тело, и отдаю последние почести ее ногтям; даже больше – я отпиливаю ее кисть, любимую кисть ее правой руки, и она станет носом царственного Нагельфара.

Сегодня я целую ее в последний раз. Забываю, как много инородных предметов побывало в ее теле. Чувствую, что теперь она ушла от меня навсегда. Даже больше, чем навсегда. Намного больше.

Лицо Лизы выглядит по-настоящему счастливой.

Я целую линию судьбы ее правой ладони. Вычищаю грязь из-под ногтей. Клянусь любить ее вечно. Закрываю ее глаза.

### 6. Abschied

*Мне нужно поговорить с тобой, он выпил мою душу. Он выпил, он многое выпил, я все еще не могу – из нашего аморфного отвращения – выползти и выкачать весь яд. Я перестал верить в жизнь. В сам ее факт.  
.- герр Маннелиг*

Завершение их истории, как и ее начало, кажутся абсолютно поверхностными. Проходными, мимолетными; при всей этой внутренней жестокости, история остается несколько шире простой воображаемой любви, она – обезображена последствиями. Их знакомство свершилось в самом обычном месте; таком, где они оба могли оказаться и оба оказались – только здесь два этих типажа могли столкнуться и, конечно, сталкиваются, что не означает невозможности столкновения на этих квадратах каких-то других типажей, то есть ничего из ряда вон не происходит, не звенит колокол, ничего, вообще ничего не происходит, кроме их знакомства, и это знакомство не обрамлено никакими событиями, как и повелось в дальнейшем: события их истории не маркированы, никак не могут даже казаться знаменательными или символическими, вокруг них ничего не произошло и больше не произойдет, кроме самой этой встречи – на разных концах помещения. Пигмалион сидел за столом, он появлялся здесь часто, как бы ожидая знакомства с кем-либо; его одиночество было уже достаточно долгим, чтобы любую встречу посчитать значительной. Герр Маннелиг оказался здесь позже – волей случая – и пусть он предпочитал экспериментировать, а не ждать, не слишком многие были согласны на

такие эксперименты, и герра все еще нельзя была в полной мере назвать проституткой; и в силу неизбыточности опыта, он все еще считал свои попытки и эксперименты чем-то значительным и, как бы, не растрчивался по пустякам. Они шептали друг другу на ухо «я будто протащен по кругу, я уже здесь, и мы оказались рядом, я уже распутал свои самообманы и происходящее – всерьез», « Ne me quitte pas», – то есть не говорили друг другу ничего серьезного, сколько бы не повторяли.

Герр Маннелиг входит в комнату начищенными ботинками, хорошо и гладко начищенными; его беды – очень взрослые, они серьезны, и этим Маннелиг напыщен, своим оторванным от души страданием, и страданием делает оторванность от души. На нем серый пиджак, и им он хочет прикрыть тело обычного клошара. Вот он вспоминает двор, на котором играл в детстве – и тут же хочет отрешиться от детства – и игры его были такими некрасивыми, такими приземленными, и в приземленной мерзости Маннелиг предсказал себе одинокое и очень серьезное будущее. У его рубашки дорогие манжеты и дорогие запонки, с униженной четкостью он – определяя Пигмалиона за своего – рассказывает, что его отношения с каким-то молодым человеком, кажется, исчерпывают себя, и пусть Маннелиг сделал все, чтобы это – только казалось – они, кажется, действительно уже на нуле, и, не глядя на эту неудачу, Маннелиг готов отправиться куда-то дальше. Его умение отпускать опыт делает его лицо – молодежливое, привлекательным, даже красивым, но лишает чувственности; почему-то страшно расстегнуть его красивый пиджак, снять красивую рубашку, страшно от этих начищенных ботинок, страшно от стрелок на брюках, особенно страшно от запонок, страшно видеть, что Маннелиг полностью сформирован красивым телом очень холодного оттенка, его позвоночник красиво и холодно просвечивает рельефно и мускульно на спине; есть в его движениях вычурная и воспитанная четкость. Пигмалион, признанный за своего, взорван признанием, его манера говорить живая, очень лживая, его тело очень жестоко по отношению к самому себе – ни разу оно даже не пыталось поверить словам Маннелига о его красоте, а если бы поверило, то – вскоре – оказалось бы вновь растоптанным. Оно было таким – тело – что, наверное, его можно было бы любить какой-либо гештальтностью и тайной черного ящика или украшать поэзией, по нему можно было сходить с ума, но нельзя – выстраивать крепкие отношенческие отношения; для него –любая пограничность, оно начинает работать и возбуждать в сумраке, любая контрастность указывает на его несовершенство. Но речь этого тела стекает вниз, она слюняво бурлит, но душа Пигмалиона молчит. Она размышляет о детстве, о странной забаве с мертвой собакой, рассказ о которой – становится пикантным рыболовным крючком, но никогда – настоящей вехой его биографии. При всех предупреждающих знаках и при всех предварительных объяснениях – Пигмалион всегда остается обвиненным в сумасшествии, хотя вначале – все они, все они, « Ne me quitte pas» – видят это интригующей красотой. Руки – тонкие, как стекло – как бы красивые, но на самом деле нет. Разум его – очень выстроенный, очень ажурный – легко изучается в три щелчка. Разум же герра Маннелига легко нащупывает кнопки, три щелчка свершаются в три недели, и после – заверения о чем-то большом – герр уже двигается дальше, в разгадке этого ребуса найдя только разочарование. Их различие очевидно: опыт одного могилен, для другого – является трамплином, и дальше следует прыжок в пустоту.

Они гуляют по улицам. Они идут, куда им идет, но на самом деле Маннелиг давно распланировал дорогу. Они свернут вот здесь, и два часа отсидят тут. Они

двинутся дальше, они будут говорить хорошо подобранными фразами, их отношения будут стремительно развиваться, любое торможение является театральной паузой или поводом для ссоры. Пигмалион в силу ущербности всегда просит прощения; его богатый и бесполезный внутренний мир завернут в дешевую одежду, которую снимают богатые и бесплодные руки Маннелига. В этом великая благодарность. Пигмалион всегда обижен, и когда они сворачивают направо, Маннелиг просит прощения, пусть, на самом деле, в этот момент принимает извинения Пигмалиона; при всех поворотах один остается герром, а другой просто именем. Их тела в неравной позиции, им холодно в объятьях друг друга, они уже не плачут от одиночества, оно имитируют счастья, но на самом деле их любовь не совсем воображаемая.

Они возвращаются в место своего знакомства с какой-то сентиментальной целью. Пигмалион, чтобы показать миру своего дорогого возлюбленного; чтобы этим показать, как низко он поднялся, чтобы отыскать его; в его глазах долгое и востребованное ожидание. Маннелиг возвращается из любви к синхронности и порядку, к правильному порядку слов в предложении. Это чувство вины Пигмалиона раздражает его, но в какой-то степени подстегивает. Оно дает четкое понимание, что у Маннелига большое будущее – с кем-то другим. Эта любовь – которая плотно сидит в каждом из них – кажется Маннелигу реабилитационной работой; для Пигмалиона – завершением пути. Это завершение не может радовать его, оно каждое утро пульсирует желанием разорвать эти отношения, но каждый раз заморожено – внедренным в него Маннелигом материалистичным мироощущением. Всякое движение рук Пигмалиона остановлено; его пальцы удерживают чашку кофе во время разговора, который щелкает своими шарнирами, перекачивает мускулы и, в общем, сводится к обсуждению превосходства этих двоих над всеми остальными, более счастливыми, более реализованными и более влюбленными. По ночам они обмениваются ядом, предпочитая поцелуи и легкий петтинг. Их союз не может быть до конца плодотворным, они не могут стать одним целым, но Пигмалион знает, что в его жизни больше ничего не случится: эти весенние попытки слияния его конец, его последнее утешение. Маннелиг знает, что будет скучать по этой сдержанности, о которой – пройдет несколько лет – он будет вспоминать ностальгически, но все же для него она создана исключительно ради ностальгии, происходит в настоящем только, чтобы позже существовать в прошлом.

Маннелиг ревнует прошлое своего любовника. Пигмалион не знает прошлого своего любовника. Точнее – он знает о фактах, но сомневается в их достоверности, ведь факты противоречат тому, каким Маннелига видит Пигмалион. Они обмениваются опытом в простой комнате, лишенной личного отпечатка, в выскобленном пространстве, совсем не похожем на то, к чему привык Пигмалион. В этом месте отсутствуют запахи. В них нет воспоминания и нет устремления в будущее. Но они говорят о планах, о переменах, о крупном успехе. Этот разговор – ритмический лейтмотив, он гасит всякое дыхание Пигмалиона, он давно погасил дыхание Маннелига. Им бы стоило обращаться друг к другу на Вы, их отношения – такая же сопричастность, как сопричастен соглядатай совершенному преступлению.

Герр Маннелиг уходит на работу и возвращается с нее. Он обслуживает микроскопические нужды своего любовника; он внутренне восхищен и одновременно в отвращении к строению его души. Пигмалион прозябает в квартире и ожидает возвращения хозяина, а когда хозяин возвращается, становится господином их диалогов, позволяет утолять свои микроскопические нужды,

принуждает Маннелига к соитию и пустой болтовне. Утром он снова остается один. Теперь, когда его прежняя жизнь уничтожена, когда великий и авторитетный вождь установил новое знамя, Пигмалиону некуда торопиться. Творение его любви завершено и выражено гордым лицом Маннелига, его старательном стремлением к светлому будущему; Пигмалион больше ничем не занят, его путь завершён, его творческие потенциалы и стеклянные пальцы растворены в любовнике. Он подходит к шкафу, чтобы рассмотреть единственную рубашку, единственный брюки, единственный пиджак, единственные запонки, единственные ботинки своего возлюбленного, он чувствует в себе жестокую и честную любовь к нему, он чувствует то, что называется нежностью, но никак не может выразить их; ему не хватает сил, чтобы привести эти брюки, этот пиджак, эти ботинки в хороший вид, ему не хватает устремленности, чтобы накрыть на стол. Он придавлен воспитанной Маннелигом ничтожностью и каждый вечер осужден за ничтожность. Уставший хозяин возвращается с работы, чтобы найти обескровленный труп на своей постели, целый день маринующийся в собственной посредственности. Он пытается расшевелить это телом разговором о своей жизни, о многочисленных заботах будних дней, но не находит понимания на ясном для себя языке. Разговор, выстроенный по привычкам Пигмалиона, действует Маннелигу на нервы, но, все же, он впервые чувствует себя полностью разделенным с кем-то, полностью подчиненным и подчиняющим. Мечта о дома-исключительно-для-двоих выражена в страдальческом сосуществовании. Их взаимная любовь рассыпается при попытке контакта. Там, на улице, кипит жизнь, Маннелиг знает об этом, но не может коснуться ее, ведь жизнь не любит герра Маннелига, а Пигмалион не знает о жизни, он забыл жизнь и забыт жизнью. Он продолжает накручивать свои ощущения и свой разум, чтобы вечером тщетно пытаться насытить душу и разум Маннелига беседой. Когда это не получается, они снова выходят на улицу, чтобы прогуляться, в надежде реализовать свою любовь движением и взаимной ненавистью ко всему живому.

Маннелиг раздражен тем, что ненависть к людям в Пигмалионе выражена пассивно. Она более честная, чем ненависть Маннелига – выражена исключительно тишиной. Эта ненависть не использует слова для своего выражения, она полностью вырезает человечество из поля зрения Пигмалиона. Маннелиг чувствует свою слабость перед силой подобной ненависти; свою он привык выражать горячностью, а свою лояльность в отношении человеческих качеств Пигмалиона – любовью к нему; ему необходимо как-либо разделить пространство на любимое и ненавистное, поместив в первое исключительно Пигмалиона, но пространства все равно смешиваются, и Пигмалион ощущает направленную на него ненависть. Эту ненависть он переваривает холодно, и заставляет Маннелига страдать от холода. Они гуляют по улицам и возвращаются домой, где Маннелиг начинает жарить для своего любовника мясо. Всю свою любовь он вкладывает в этот огонь, но, кажется, Пигмалион кормится исключительно собственной ничтожностью, и остается к мясу и любви Маннелига равнодушным. Пигмалион говорит « Ne me quitte pas », но это звучит издевательством и литературным приемом; Маннелиг не знает французского, и знает лишь перевод, но Пигмалион никогда не спускается, он только « Ne me quitte pas », « Ne me quitte pas », « Ne me quitte pas » и ни одного человеческого жеста. Пигмалион снова остается один в квартире, и все в ней кажется ему чуждым. Теперь, после знакомства с Маннелигом, все кажется ему чуждым, даже он сам – обращенный к самому себе – уже чужой, уже израсходовавший свое предназначения, существующий только для увеселения Маннелига; и Пигмалион с затаенной радостью знает, что веселить осталось недолго; непонимание скоро вырвется в слово, и тогда Пигмалиона ждет радостная смерть. Там, после этой

смерти, Маннелиг отправится дальше, в какую-то новую любовь, более ясную и с горячим мясом, хорошего качества прикосновениями, с дорогой одеждой и блистательными подарками. Там, уже скоро, они оба будут избавлены от глупого творческого восприятия Пигмалиона, от его любви – к ожившей красоте, лишенной чувственности. Там, очень нескоро, Маннелиг поймет, что никто, кроме Пигмалиона не принимал его истинной холодной натуры, не любил его мраморные изгибы любовью художника к красоте. Там, с кем-то другим, кто покинет Маннелига, и подарит ему возможность сетовать на страдание, Маннелиг будет шептать « Ne me quitte pas», не вспоминая Пигмалиона, но навсегда – с Пигмалионом внутри себя.

Рано утром Пигмалион оказывается на улице. Нельзя сказать, что Маннелиг выкидывает его вон. Это слишком некрасиво для его красивых рук. Но – скорее всего – он именно выкидывает его, и Пигмалион оказывается на улице. Он ждал этой минуты, он рисовал ее в своей голове, и это было его единственным творчеством все эти месяцы. Утренняя улица оказалась совсем не такой, какой видел ее внутри себя Пигмалион. Она была залита болью, горячим весенним солнцем и людьми, которые куда-то двигались. Пигмалион знал, что все закончилось, а Маннелиг еще нет. То, что для первого смерть, для второго лишь выдох. Поэтому Пигмалион идет по улице. На самом деле он не знает, как ходить по улицам и куда сворачивать без помощи Маннелига, и в этом он чувствует силу своей ничтожности, в ничтожности – силу своей любви. Все эти люди вокруг, весь этот солнечный свет как-то существуют без любви, и теперь Пигмалион, наказанный за врожденный брак, так же существует вне ее контуров. На самом деле ему легко. Кажется, он способен дышать, теперь – не нужно никаких усилий, трагедия, к которой он так долго готовился, состоялась, можно расстегнуть пуговицы. Это похоже на долгие репетиции и премьеры. Пигмалиону больше некуда спешить, больше не для чего ощущать свою посредственность, и поэтому он перестает ее ощущать и спокойно идет по улицам без помощи Маннелига. Маннелиг, которому не в кого – временно – больше внушать ничтожность, ощущает себя слабым. Там, на улице, пространство наполнено светом, но Маннелиг отрицает свет. Пигмалион создал для него тысячи картин уродства, и только в их зеркале Маннелиг отыскал свою идентичность. Там, на улице, изгнанный Пигмалион удаляется, но именно в его руках возможность вернуться: униженному больше некуда падать, а гордый Маннелиг прикован гордостью к постели. Пигмалион мечтает о возвращении, он мучительно язвит себя картинами примирения, зная, что его уже разлюбили. С красивой жестокостью он представляет, как Маннелиг вскоре поцелует другого и другого заверит в вечной любви; с завершённой трагичностью Пигмалион повторяет « Ne me quitte pas», « Ne me quitte pas» и теперь уже точно – пьеса его закончена, драма удалась. Пигмалион растроган до слез глупостью своей роли, своей бездарной смертью, теперь у нее есть полное право творит скульптуры уродства, и создать удивительную статую своего возлюбленного – навсегда утраченного, и поэтому ценного. Он идет по улицам в самозабвенном отчаянии. Желаемая точка поставлена в его сценарии. Отчуждение произошло, он уходит с тех улиц, по которым гулял вместе с Маннелигом.

А тот, когда его позвали на похороны, пришел, чтобы показать свою охлажденность. Отказ мог трактоваться затаенным чувством. Он пришел в комнату, где стоял гроб. Маннелиг впервые видел пространство Пигмалиона и с удивлением ощутил понимание его красоты. Даже в гробу Пигмалион оставался завершённой картиной – неприспособленной к жизни, но прекрасной под определенным углом.

Всякое обвинение Маннелига было опровергнуто фактом этой смерти. Наказание за материальное неприспособленность – смерть. И эта материальная неприспособленность, эта отчужденность, которая трактовалась Маннелигом, как отсутствие чувств, теперь была признана достоверной, когда Пигмалион погиб под колесами автомобиля, не знающий правил движения через дорогу. Но Маннелиг уже не чувствовал никакой любви – и не показывал ее – он уже испытал новое знакомство, в котором видел надежду найти верного спутника жизни. Он так же знал, что этот спутник – окажется временным – и что состарится и умереть ему предстоит в одиночестве. И в этом он находил свою единственную радость и, пожалуй, единственную точку пересечения с Пигмалионом. На этих похоронах он ощущал радость потери, торжественную погребальную песню, оправданное отчаяние. Все на этих похоронах стало для него значимым и правомерным. Когда Пигмалиона опустили в землю, Маннелиг получил индульгенцию своей красоте и право на вечную боль.

## 7. Сатурн аспидных полдней

«А»: она никогда не знала второго отца, – длительное опоздание, разрядившийся телефон, все сползается, как тучи, а вот и тучи, ведь идет этот дождь, сказали «починим завтра», и поэтому фонарь не работает, он упал под поезд, иногда люди действительно случайно падают под поезда, торопливый, все еще заботящийся о красоте, все еще тревожащийся за опоздание, шаг в темноте погасшего глаза, любовь может существовать лишь в коридоре, конец которого светится смерть. Ее первый отец после этого верит в «И цзин», и это «Б», двух точек достаточно, чтобы сквозь них провести прямую.

Остальное оставь импульсам... ее первого любовника звали Франк, и кажется, это Франк был первым любовником ее отца, семь лет мучений сквозь зеркало, Франк был ремиссией, ударом маятника, она вспомнила свое «А», лежа под Франком и вспоминала «А» позднее много раз: папа в траурных линиях морщин, явственнее и четче, как змеи, каждый дождь, перекрестье, а может, мемориал, а больше они не ходили на кладбище, потому что ее «Б» сказал, что перестал верить в Бога, она замкнута в двух точках, они начало и конец, она поняла это, лежа под любовником своего отца в возрасте пятнадцати лет.

Не замечая того, жизнь его неумолимо движется вдоль торса ушедшего. Тезис смерти зачатый вместе с его клетками, был пропущен сквозь пары, плаценту и улицы, наконец проявлен после яркой вспышки поезда; он не мог опознать тело, его не пускали к телу, но он знал, что колеса сверкнули на ярко выбритых щеках; сломанный угол, треугольник сумма углов которого нарушает заповеди.

*Я и миндальные комнаты. Я – это мои губы, мои губы на его воспаленных аденоидах. Я и миндальный свет, мрачный желтоватый свет, напоминающий о больницах и детстве, все наше детство всегда представлено в сепии, и потому желтый ассоциируется с печалью, и потому не любят желтых роз, а в моем детстве желтые плакучие розы росли в палисаднике, и значили традицию, упорство моей семьей, расширяющей дом во все стороны, это были банальные желтые розы; представляя их в прошлом, пропуская сквозь двойную желтизну (сепия моих воспоминаний) я понимаю, что ничего, кроме этих роз не было, не существовало даже палисадника, и он был условностью, к концу лета печаль скидывала свои лепестки, и их подхватывал ветер, когда он нес их вдоль окон первого этажа, мать отвлекалась от пялец, вся ее жизнь рождалась и вырождалась в этой летней минуте,*

*когда ветер распотрошит палисадник. Она любила эти минуты больше, чем любила меня, маленький мальчик в желтых замшевых штанах бежит вдоль окна, и его пальцы пытаются поймать желтые лепестки, вернуть печаль в палисадник.*

Ночи с его любовниками пунцовы, как шрам и глупы, как шрам или перезревшая детская тайна. Его тяготят просроченные грехи, его тревога выражена венчальными кольцами, потаенная жестокость – в его карманах. Он не понимает, что жестокость – это деление на ноль, его рассказы, его сумбуры и обман, где человечество делится на большие числа и конечности – это мистификация и глубокое заблуждение. Он никогда не умел делить на ноль; но ей интересна их разница, каждая капля этой разницы, особенно под мужчинами, в Этом она увидела серию маленьких шрамов у самого копчика, а ее отец – наверняка, нет; она всегда замечала их размеры, габариты, сужения и тайные комнаты, а он – отражение собственной незавершенной печали; гермафродит, которому отсекли фаллос, и она – полная желаний поделить на ноль; творец монструозный пьес, материальных чудовищ, аспидно-черные глаза и сбившееся от ожиданий дыхание; она – комок нитей, называемых плотью, какая-то паучиха стошнила потомство в стеклянный ящик. Это было хуже всего. Ее презрели заочно и загодя, не за что-то и не вопреки. За это она отомстила матери разорванными заслонами, но та не умерла, умереть было бы слишком блекло, умирают только любящие, в самый разгар любви, остальные – никогда. Она и французская стрижка, она и мясная муха, она и отцовские любовники, и во всем этом ее не было, она никогда не бывала новатором, она спала только с теми, кого он пробовал пять или более раз, она верила в его вкус, и больше ни во что. Только спокойные нидерландские реки – его влекли эти погасшие, почти бесцветные мужчины, снимающие с себя одежду так, будто снимают кожу, у которых горят щеки, которые не знают стонут они или нет и не знают самих себя... он умел влюблять их в собственное прошлое, и все, как один, были слабы настолько, что не могли отказать его дочери. Наверно, их влюбленность задышалась от чаяний, но и в этих тучах мерцал здравый смысл, они имели тысячу ложных причин быть с ней, чтобы воздействовать на него, и ни разу эти вскрытые комнаты тайн, прозекторские, амбивалентные джунгли или монастырские лачуги – не получали желаемое.

Миндальная комната. Наверное, он знал о Франке, но экономия слов медленно укрывала эту историю пылью. Она помнит, что долго вслушивалась, когда они оставались наедине, тонкие парижские стены – как набухшая от желания слышать вульва – и не могла разобрать ни слова, они уже лежали предельно близко и совершенно точно без одежды, но их занятия любовью не выражались последними каплями или стонами, она могли проводить в сумраке беседы всю ночь, так и не изливаясь, но все же, когда этот примитивный шум рождался за стеной, она могла уснуть со спокойной совестью, всякая беседа ее отца с посторонним рождала ревность, его же меланхоличные одухотворенные движения – никогда. Миндальная комната, где в янтаре застыли его запахи, он старомодно сжимает плотный резиновый шарик и содержимое флакона распыляется в воздухе, он все еще взволнован резонансом цветов и невозможностью умертвить свое тело ножом или долгим героинном, а она уже спит с его любовниками. В сути, она не может вспомнить, сколько их было. После Франка, существование которого насчитывало около десяти месяцев внутри квартиры и двух изнуряющих рыданий на лестнице, он ускорил движение, акты мелькали, от скорости образуя зияние между кадрами, кто-то не задерживался даже на день, с большинством из них он даже не спал, ему хватало лишь одного – выпить до дна взглядом своих аспидных глаз, и когда они были опорожнены – в дело вступала она, кандидат самых банальных наук.

*Я хочу очистить слово «извращение», манифестировать его утраченную суть, кухонным ножом отрезать экспрессию и окраску. В своей незавершенности, мой отец был прекрасен, тогда как я была извращением полнейшей укомплектованности; утвердив лишь один вид извращения нормой, он никогда не мог бы овладеть моей любовницей, в этом его Венеция шла на дно, только в этой незавершенности стандартов он продолжал двигаться.*

Вот что заполнило столицы: дисгармоничные пары; беременные, похожие на паучих, уродливые молодые люди с поцелуями в прыщавые лбы своих случайных уродливых незнакомок; дурно пахнувший смог; поезда с обезглавленными бездомными в своих вагонах; люди и псы с идентичной вонью; пропахшие гарью бабы с мелированным мозгом; разорванные газеты и клочки диафрагм; листовки «мы против СПИДА» в ладонях спидозных педиков; работники строек и сами стройки шанкрами на старых площадях, лопнувшие края и черное семя; жертвы партнерства, скучные и лишенные экспрессии перепихоны; отвратительные фурункулы и спермотоксикоз, эякуляция-овуляция-дефлорация своим стальным кольцом вокруг мужских яиц и женских принципов; эпиляция воздуха, превентивный расстрел возможностей, оптические обманы и фатальные блики солнца, турки и европейские прокаженные в одном акте и бесконечном количестве белых капель; женщины – как волокна или застиранная одежда, любая из них лишена уникальности, она рождена, чтобы кто-то засунул двустволку в ее промежность и рискнул нажать на курок; снафф и продавцы; вывески тайных услуг и развоплощение самого факта тайны; сегодня пара напротив вызвала мою тошноту, она – как воспаленный аденоид, а его губы целуют ее гнойнички, медленно облизывает края ранки и погружает кончик – в сердцевину, мне хотелось разорвать ее губы; они, укравшие чужую одежду и чужие прически, автоматически раздвигаются, раздвигаются, раздвигаются до разрывов; монашки с влагалищами трепетных ланей; шлюхи – это продавцы желтых роз, синие жрицы Венеры без клапанов в сердце; застывшие в менопаузах изрыгатели правды; все они как собаки, вылизывающие друг другу яйца в ясновидении своего убожества, прильнувшие к кому попало, Менандр и Евклид, чудовищные 69 с залпами навывлет, чьи-то простывшие аденоиды, женщины в чулках цвета «спелые блохи» с грудной клеткой, как вонючая спортивная кроссовка, открытые перспективам и новым жизням; общественный туалет «8-00 – 22.30, не бросайте туалетную бумагу в унитаз, не дроните в раковину»

*Мизантропия – это сакура. О ней говорят, только когда она отцветает. Сакура – это менструация.*

Я редко встречаю красивых женщин. Это идет из потаенных чердаков, досок с обязательным ржавым гвоздем на конце, из той идеи, что красота не может быть выражена. Их глаза всегда тусклые, а каблуки изломаны. Стоит любить только ту, что за жизнь не сломала даже одного каблук. Надо поджечь места, где танцуют танго. Различить красоту можно только в той женщине, которая ее скрывает. Старые католики с добровольно перевязанными трубами, воспетое женское сердце положить в новую пароварку от Панасоник: центр \*\*\* на Сент-Женевьев в день совершает около ста шестидесяти семи аборт. Красоту вещей и мужчин можно легко разглядеть под волшебным углом, в черной моровой язве под их коленом, в спутавшейся бороде и глазах мертвеца, в отсутствии зеркала и черных ногтях строителей. Запах миндаля слышен только сквозь самые грязные шеи.

Кабак \*\*\* едва ли оставляет отметины. Мое прошлое не помнит его обстановки, меню, шлюхи Розенберги с подносами и полуденной выпивки. Я вычленяю только Адониса, снова и снова рождающегося у дальнего окна, его глаза презирают Париж, его ноги ненавидят Париж и парижское метро за длительные переходы, его ноги чувствительнее любых других ног, каждый шаг отсвечивает темнотой, его глаза аспидно-фиолетовы, как цвет Сатурна, мы встретились в субботу, когда он уже доедал своих детей и поднимался из-за стола, и край его штанины взметнулся вверх, показывая на всеобщее обозрение третий глаз: такой же черный, глубокий, кажется, до самой кости, нарыв слезился, и слезы текли по голени вниз, засыхая комочками на черной шерсти, оседая синеватой бахромой на носках; огромный нарыв с божественной красной сердцевиной, как испускающее импульсы и запахи солнце черного цвета; нарыв, как нора землеройки или мышки-песчанки, исторгающий гноя больше, чем поллюции коммивояжера; нарыв, источающий звуки при каждом сгибе колена, когда импульс сотрясает ногу, и загрубевшие края раны дергаются; нарыв, сотрясающий тело Адониса болью, нарыв, как стягивающий к себе пространство магнит, – мужчина одернул штанину, и его лицо сохранило гордость.

Мой приятель сказал, как пахнут женские выделения. Там, в плоскости, женщины теряют в красоте и молодости, их лобок спутывается от слизи, если тело перевозбуждено, и данное перевозбуждение пахнет, как парижское метро; иногда они любят, чтобы мужчины облизали подземку и отыскивали в этой подземке катышек клитора, и массировали его до тех пор, пока каждая вена не разойдется сама собой от желания умереть. Однажды он трахал ее сквозь темноту, кожа как принявший гротескную форму гной; он опустил глаза, чтобы рассмотреть в своей детской непосредственности, как его дружок входит и выходит, и увидел, что ее анус – это наждак; ее анус, это веревка и ее вид рождает желание вздернуться; ее анус светло-коричневатая цветная бумага, сморщенная, напряженная и шероховатая; неухоженный зверь с тонкими черными волосками... в тот день залп оплодотворил живущую внутри яйцеклетку, она медленно наливалась соком и жиром, слой за слоем новое существо вытягивало из женщины красоту, губы искажены будто цингой, грудь аморфна, плоть дисгармонична и лишена ясности.

Влагалище не только источает собственную вонь, но и вбирает в себя мужскую. На каждой женщине остается шрам ее коитусом, под мужчиной она трескается и распускается нить за нитью; деторождение – единственный способ спастись от дезинтеграции; безвоздушность и безыдейность ее существования находит свое воплощение в старых индуистских знаках: каменный круг с прорезью дырки.

Я смотрела, как она привалилась к перилам. Она – как стая голубей: сизая от страха и глупая даже обнажи ее до костей. Желание спасения рвалось из ее молчания, но я никогда не играю в игры. По крайней мере те, что рождены минутой истерик. Я хотела, чтобы она и голуаз умерли одновременно, глупость разбилась об асфальт, голуаз потух, я хотела синхронности и чтобы Сент-Женевьев ожил. Она выбрала плохое время, чтобы быть спасенной. А двигаться назад, когда есть свидетель, очень глупо. Теперь она играла исключительно мне, подавала условные женские знаки, походила на развороченный термитник. Их желание быть униженными выражено в каждом мужчине. Каждый раз – маленькая смерть. Пуританство зовет их уничтожиться и разорваться пополам в сложных родах. Страсть к компромиссам в их упругих мышцах, они всегда склонны к бартеру. Если

два извращенца желают ребенка, они могут рассчитывать на помощь яростных христианок, выражающих свою детерминацию в постродовых депрессиях.

За ее спиной была комната цвета миндаля. Гладенькие подмышки блестят желанием спастись. Но женщина всегда уступает страсти к синхронности: самообман оргазмов, увлечений и векторов. Она делает этот шаг, а я медленно докуриваю, и будто вбираю саму эту жизнь. Разбитая и сломанная от рождения кукла в секунду реализации на мгновение появляется на периферии циферблата, но портит эту секунду криками и трепыханием мышц. Тишина раскола хрустом костей и странным звуком стыдливого хлюпанья, пуританка разбита вдребезги, Сент-Женевьев молчит, внутренности, вывалившиеся из левого бока, похожи на крохотных змеек, случайно разорвавших змеюку-мать. Капли крови, как сакура. Сползшие трусики обнажают лес. Если жандарм захочет совокупиться с ее приостановившей движение маткой, он лишь докажет перманентность женской гибели, развоплощение и шовинизм во фрикциях некрофила.

Он купил желтых роз, а я рассказала ему о ней. Он не ответил и посмотрел в пустоту. Первое: его тело и душа были разделены. Второе: его тело действовало рассинхронизировано. Третье: даже его рука существовала пятью жизнями, по одной на каждый палец. Мы никогда не могли сойтись. Только на театральных премьерах нас принимали за любовников, краткий миг Сатурна, и все вновь превращалось в какофонию. Человечность и неполнота делали его совершенным и недоступным... а я вспомнила про Франка все. Эта мысль пришла мне вечером, когда я смотрела в замочную скважину, в ее узости комната казалась барочной и глухо-интимной, заколоченной изнутри, гетто любви было подсвечено желтоватым бра, ощущение и привкус миндаля, зубчатое движение возбуждения, мокнущие внутренности и палец на половых губах, по часовой стрелке: зубчатое движение зубчатого колеса. Я поняла себя живой в тысяче возможных форм и пристрастий, лишенной формы, голым содержанием, неспособным жить без паразитации внутри какого-либо скелета. К примеру, скелета моего отца.

Его вкусы медленно заполняли меня. Тусклые, как ушедшие поезда, просроченные билеты и заплаканные марки, мужчины дурной наружности приобретали во мне какой-то шарм. Он всегда пил кровь патрициев. Заблудшие около желания покончить с собой, они задыхались вакуумом его поцелуев. Франк стоял на коленях, а я видела голую спину моего отца, раздвинутые ноги, и грузного, монструозного героя пьесы по имени Франк, обладателя медвежьей груди и седых зарослей, его голова покоилась на коленях, пальцы моего отца, будто отлиты лично Гильотом, все одухотворенно печалью. Мой слабый стон разразился до кульминации, сразу после секунды, когда огромная голова Франка поцеловала его тело там, где под нежными слоями кожи начинает прослушиваться сердце... это было как темнота, но и яркая вспышка, как желтые розы, пропущенные сквозь жернов, как еще раз разорвать живот беременной паучихе, вырваться из нитей собственной плоти, только и всего.

Он ускорялся. Он доходил до первой космической скорости. Его чудовища и страхи оставались цельными. Мужчины разбивали об него свои крупные лба и прозябали в прошедшем. На каком-то этапе имена начали стираться, а позже – даже ходить по кругу. Безудержная и скучная карусель его неполноты.

В детстве я любила депо и заброшенные станции, как центр отцовской раны. Эти аксис мунди мировой печали, заплаканные, клокотали во мне черными перепонками. Мутная и слизистая вода выходила вместе со слезами во имя его потери. Здесь я была к нему близко, как никогда, но и это чувство тождественности

утратило остроту с ходом времени. Теперь мне было интересно другое: сужает ли он мышцы, чтобы им было приятней? Говорит ли хоть что-то в процессе? И откуда глупость этих его кукольных чудовищ в хитонах полночи и звезд изверженного семени? Огромный Франк отдавался ему шумно, одной рукой хватаясь за его шею, будто в поисках надежды, его тело трепетало тонкими слоями жира, каждым своим волосам, широко расставленные ноги казались смешными; вторая рука откинута назад, и пальцы мнут воздух. Здесь его желание обладать. Незащищенность подмышек выражена краснотой его крупных щек. Понимание, что его не любят – легким дрожанием губ и актом самобичевания: у Франка болели зубы, но он так и не обратился к дантисту. Мой с ним поцелуй доказал, что Франк от мятежности грызет губы. Протестантского борова с забытым именем он седлал, как опытный ковбой. Боров был гол, но меж тем одет: в слизь избыточной потливости, стыдливое молчание и покров божественных суеверий. Самое интересное мое открытие произошло осенью на фоне французского неба. Оно редко бывает столь ясным и исполненным звездами. Они трахались на стуле, мой отец насажен на крупный стержень чернокожего джазиста, почти неразличимого в темноте, его лицо скучно положено на восково-ночное плечо, а рука делает вид, что треплет черные лопатки, на самом деле она продолжает спокойно и меланхолично держать сигарету, выдох дима в черную кожу, полнота скуки и смерти.

*Я не просил их дарить желтых роз, но кто-то из них ощущал. А кто-то – нет и приходил без желтых роз. И те, и другие, и какие-то третьи, вырванные за подобную категорию, всегда уходили опозоренными. Получить от меня индугенцию за прошлое или до конца умереть – оставалось их ребусом. Берг подарил мне аквариум с двумя образцами птицеведов. Выпуская их на свое лицо и чувствуя прикосновение лап – было мистерией в честь Изида. Разгневанный Берг, сухокожий немец с размытой татуировкой амура, с крохотными легкими астматика и большим, но опорожненным, сердцем дельфина, в ревности схватил кухонный нож и обрезал обоим своим подаркам лапы. Мистерии в честь Изида прекратились. Закрылась и лавка индугенций или смертей для сухокожих Отелло с ягодицами крохотных Амуров. Амур ам энде...*

Она любит полдни, когда Сатурн спит, когда ее драматург растянут в одиночестве на кровати, а рядом с ним дремлет аспидного цвета тень давно умершего человека. Его лицо в молчаливой мудрости, в красоте морщин, в парижском солнце. Черный гриф его груди, спутанные мышцы под бледной кожей. На нем не отображено количество мужчин, они словно не оставили отпечатка. Он пишет пьесы о чудовищах, творя чудовищ методом редукции, иногда они образованы из его любовников: чернокожий каннибал или старуха, обтянутая мужской кожей, – притчи на грани гротеска, которые никогда не пугали ее, даже в детстве. Но ее пугает, что на нем не остается следов, растяжек и каких-либо упоминаний о прошлом. Все уходит незамеченным. Стальной вор не хочет похищать его волю. А она помнит всех, и тело помнит всех. И от этой грустной и волчьей мысли надо спрятаться куда-то в него, но его сердце уже занято, и его постель уже занята: он и аспидно-черная тень. В такие полдни ей хочется вернуться в депо, к поездам и перегоревшим лампам.

*Мы говорили о Франке только иносказательно. В субботу, в 17:34 по кухонным часам я сказал: «Беги от осознания, человеческая глупость черпает счастье исключительно в колодце себя, глупый разделяет человека и божественное, божественное и грех, а тот, кто додумается, что греховное не может существовать,*

*потому как все мы существуем в круге бога, будет сражен. Природа тщательно хранит свою тайну и метит познавших несчастьем. Не знай, что грех тождественен божеству, что все греховное выдуманное им, а не человеком, потому как человек недостаточно развит для собственных изобретений, не знай и все должно сложиться...»*

Он всегда пил кровь патрициев. Пил и молодец от ее жара. А я пила кровь уже выпитых им патрициев, и старость набирала вес. Это было похоже на беременность, самое чудовищное состояние из всех возможных. Что-то пробиралось в мою полость, жило своей жизнью меж складок, а он не замечал, ускоряясь и ускоряясь. Его вторая космическая скорость, когда любовников уже не было, когда перегрета необходимость в сексе, должна была вывести его на новый круг. Он должен был пробить собственную точку «А» и вернуться к изначальному. Это означало замужество. Букет желтых роз его палисадника. И я – превращенная в падчерицу. На новом витке будет тот, кто отвергнет меня, и тогда он выйдет замуж, тогда я вся тресну, выпаду на Сент-Женевьев, мои внутренности, как крохотные змейки, какой-то жандарм заставит мой труп отсосать, и единственное, чем обладает женщина – интуиция – крутило красную лампу и било набатом, что время перемен уже почти здесь, в этой точке, когда он двигается сверхбыстро, он вернется сквозь все пространство – назад во времени, чтобы снова встретить свою любовь. Любовь возможна лишь в коридоре, в конце которого горит свет смерти. Мертвая падчерица, чьи змеи расползлись по асфальту.

*Иногда мне снится: желтый от печали палисадник, разрезанный надвое поездом.*

Гений не может быть доволен собой. В редких случаях это идет из пунцовых детских травм или комплекса вины, синдрома дефицита внимания или кокетства. Чаще, если мы действительно мыслим об ангельском гении, мы имеем дело с другим. Полнота знания о себе, воспоминания о плацентном существовании, невозможность переиначить прошлое, необратимость процессов, книжное излишество. Некоторые углы выпирают за рамки гениальной жизни. Садовые ножницы. Некоторые слова препятствуют авторской воле и принятию своей гениальности. Так влюбленным тошнотворна мысль о повторном опыте любви, зато стремление к самоуничтожению – нормально. Главный герой собственной жизни стыдится вчерашнего и затмевает им завтра. Палисадник разрезан поездом садовых ножниц. Самоощущения себя на унитазе или в утренней тошноте – парализуют. Знание в себе отца или предателя внутренне дискредитирует. Похвала – садовые ножницы над желтой печалью гения.

Он всегда приписывал им непонятную значимость, облакал в знаки. Франк – был и Франком Иосифом и смутным призраком Франкфурта-на-Майне, а она гналась за разгадкой, печать эпитога, дарующая легкие гонорары, приводит к преждевременной старости и поразительным глубинам самоанализа. Неделю назад он читал «Иосиф и его братья», женщина сбросилась на Сент-Женевьев, а еще Франк, который Иосиф, и поэтому когда он разрезал кухню «его зовут Иосиф, у него свой розарий в Кёльне, мы познакомились на вокзале», она что-то ухватила. К полудню это зрело, Сатурн съел ребенка в субботу, в холодном сне ей снилось, как она крадется к дому с желтым розарием, и слышит, как ее отец стонет «Иосиф», и это дом Иосифа, и это Кёльн, а он стоит у калитки. За гранью добра и зла. Это что-то значило, вторая космическая скорость снизится до первой.

*Мне снится сад, каждую тревожную ночь, желтые розы цвета гноя.*

Ежеминутно глядя на часы, он выбирал галстук. Суббота и полдень. Сент-Женевьев возвращен к жизни, асфальт отмыт от крови, как поступил жандарм с умершей – никому, кроме жандарма, неизвестно. Она смотрит на букет желтых роз, которые он купил для Иосифа. Это был знак состриженного прошлого. Они собирались в Венецию, это протекало из Томаса Манна на гондоле, и пришвартовывалось в занятие любовью.

От легкого ужаса ей казалось, что в его глазах горят полуденные звезды.

Ей снится сад, каждую тревожную ночь, она стоит за его оградой и смотрит на розы, цвета желтого жемчуга.

*Гений всегда одинок, пока не вберет свою гениальность: в жестокости, искусстве или любви, даже в страдании или попустительстве. Когда мускульная сила перестает сжимать горло жизни, гений перестает быть гением, и перестает быть одиноким.*

Иосифу снится сад с лишаем выстриженных для возлюбленного роз, нежные полуденные поцелуи (напряжены даже бакенбарды) и небо, цвета затмения, пунцовые щеки, вновь оживающие в ночи от озвучивание детских тайн, вновь живут и трепещут все кошмары и все скомканые углы, кости болят от честности.

Она пьет кофе.

Он едет в поезде.

Иосиф с букетом желтых, как собачья преданность, роз ждет на перроне.

От фиолетовых, как Сатурн, и аспидных полдней она растягивается вечером, розовато-тошнотворных закатов, и беззвездных ночей, чтобы начать новый женский цикл, а он продолжает, а он всегда продолжает, никогда не деля на ноль, двигаться в собственной неполноте.

## Эпилог

В аромате, ночном аромате. Комбре, будто содержимое музыкальной шкатулке. Стеклянные звуки летят над побережьем. Город, вырезанный из туманного вечера. Очертания заброшенных садов, башни и своды спят, нефы окутаны темнотой. Комбре точно такой, каким Гертруда помнила его, вырывается посреди опустошенных земель, дворцами воспоминаний, огромными анфиладами тихих звуков, память на кончиках пальцев, хрупкие очертания домов и фасадов, память вырывается здесь наружу с табличкой «Комбре, 434 человека, Марселю с любовью» у входа, город, где поклоняются воспоминаниям. Демонам. Умершим детям. Любовникам. Комбре стоит на берегу моря, легкий бриз накрывает крыши домов солью. Комбре – игрушечный оазис посреди ночи. Гертруда слышит, как звенит тишина на этих улицах; Гертруда идет по тонким и коротким улицам, по которым когда-то дети гоняли собак, Гертруда идет мимо домов, спящих, неуместных, где матери в белых фартуках баюкали младенцев. Море беззвучно. Комбре ненавидит звуки. Небо сливается с морем. Комбре... белые лепестки вишни, моя вина, вся моя вина, которая уже давно больше и шире, чем любое человеческое слово, мое воспоминание о тебе и к тебе, моя сладкая боль; Комбре, моя печаль, мое начало, наконец, выступает из темноты опустошенности, как мой конец; Комбре, мои слова не в силах справиться с этим городом; Комбре, крыши осеннего цвета; Комбре – черно-белое кино со счастливым концом, Комбре – нарастающая печаль; моя преступность, моя меланхолия, чужие слова, мои сны о тебе, все сплетается в этом городе, становится его камнями, стенами его домов, все занесено снегом, все в пепле, у ног Гертруды растут волчьи ягоды, цветы аконита, как же они красивы, как же бесполезны человеческие слова, когда Гертруда идет по городу мертвых; городу, отравленному аконитом, цикута всегда растет там, где ей хочется, вот славный город, вот и славный город, она идет по тебе в страшном предчувствии и одновременно в страшном оцепенении перед воспоминаниями, вот она идет и слова как бы замедлены, как бы пытаются передать медленность ее шагов, но бесполезно, Гертруда идет, слова не справляются с диапазоном моих ощущений... иногда я вспоминаю тебя, будто заглядываю в глубокий колодец, улитка ползет по кирпичной стене, и часто твои очертания сплетаются для меня в Комбре, город потерянных снов, иногда иногда иногда... там, где крохотная церковь, и где я плачу от мысли, что бабушка когда-то умрет, и становлюсь непонятным читателю в попытке говорить ровно так, как воспринимаю... Комбре, город во Франции, оказывается Здесь для Гертруды, стены церкви окрашены зеленой краской; не существовало более счастливого дня, чем тот – 15 мая, помнишь?, видишь ли в своих беспокойных снах? – когда Гертруда и Джекоб Блём приехали в Комбре, тот Комбре, который во Франции; здесь, в этом ДРУГОМ Комбре Гертруда двигается сквозь толщу своих воспоминаний о том, как было ТОГДА, 15 мая, пятнадцатого мая, когда Джекоб отошел после дороги вот в этот домик, и действительно, вывеска WC, старомодная цепь, обхвати ее и воды унесут, далеко унесут тебя, и вот она одна и смотрит вокруг, тогда цвели деревья, какие-то деревья, и она разглядывала этот город, и ей уже было больно, до того этот город, это Комбре во Франции было упоительным, ей было больно, ведь Комбре как бы и создан для того, чтобы дарить счастье, а затем растворяться, сворачиваться в клубок на дне памяти и тревожить оттуда своими стеклянными нотами; будто бьют по стеклу... Джекоб сказал «пошли, пошли, надо посмотреть город, вот здесь Пруст разглядывал закат, надо же!», они держались за руки, какой славный город, упоительное солнце было на его щеках, на его щеках и на стенах города, Гертруда смотрела на его щеки, ей не верилось, что

хозяин этих щек принадлежит ей... она чувствовала, что Комбре утекает от нее даже в первый день, что Комбре уже удаляется, становится на секунду-минуту и час дальше от нее, отрывает себя по кусочкам, и Джекоб отрывает себя по кусочкам. Она уже знала, что он любит мужчин, одного или множество, только не ее... – там, в Комбре она впервые поняла, что все ее счастливые минуты уже в прошлом, что они даны ей лишь для того, чтобы оглядываться, чтобы оглядываться к ним и «где вы! Всея силой творчества я к вам кидаю свои воспоминания, свои письма в бутылках!», вот в этом доме, где плющ, где плющ, на втором этаже они жили ровно две недели, и пили на завтрак вино, вино и ели круассаны, иногда занимались любовью на прогретой солнцем постели, и тогда она могла видеть каждый край его тела, каждый необрезанный угол, тогда они могли быть ближе, чем когда-либо, здесь, в Комбре, в городе утонувших слов.

В Комбре нет электричества, почему-то, к вечеру зажигают масляные фонари. Все эти улицы, столь изученные за две недели, улицы поцелуев, улицы нежных объятий, все кафетерии с утренним кофе, все магазины с сувенирами и утренним хлебом, все это с отпечатками нашей памяти, все это внезапно возвращающееся к нам сквозь столетия намеком, теперь снова перед Гертрудой – пустое, закрытое, состарившееся. Этот город не вспоминает Гертруду, он похож на ослепшего пса, сгорбившегося дожидаться смерти рядом с морем. Все крыши спят; а где теперь ты и кому целуешь спину, кому твои нежные объятия и твои поцелуи? Кому ты открываешь новые города и кому минуты счастья? – кому после минуты воспоминаний и горя? Здесь, в мутноводье, куда смерть приплывает на нерест, Комбре абсолютно пуст, и над ним не горит солнце. Здесь ничего нет для Гертруды.

Наконец, она видит его. Вольные куртизанки называют его Марсель<sup>32</sup>. Его белая кожа обвивает стены церкви, Марсель спит между вишневыми деревьями, сотканный из огромного количества тел, он огромной змеей обвивает стены, он заполняет собой содержимое церкви, тысячью своих рук удерживает решетки на окнах, хватается за землю, удерживает равновесие... в жизни Марселя существует только дождь, он – это душевнобольной ребенок, чье приближение приносит ночные кошмары; выбеленная кожа последовательно соединенных тел тихо дрожит от неведомых снов, текущих внутри этого скроенного великим инженером конструкта. Гертруда разглядывает, как ногтями он рвет сам себе кожу, погружает в себя пальцы, затем погружает до запястья в раны, затем резко выдергивает руку, и рана сразу же зарастает. Конец его нескончаемых сегментов прячется в церкви, там Герти держала руку своего возлюбленного, и они слушали проповедь о... о чем-то; она знает, что все уже позади. Все, что когда-либо было, уже уничтожено, уже стало частью Марселя, забытого мальчика с пробоиной в черепе... ничего уже не будет, все будущее уже расчерчено и утрамбовано Арчибальдом. Гертруда стоит рядом со спящим чудовищем, и считает – чтобы на чем-то остановить взгляд, чтобы отпустить себя – его сегменты, эти мужские, женские и детские тела, поясница женщины рождает шею ребенка, поясница ребенка заканчивается шеей дородного мужчины, поясница дородного мужчины уходит в шею жилистого подростка, подросток – женщина, женщина-женщина-мужчина-ребенок-мужчина-мужчина-женщина-женщина-мужчина и так, кажется, до бесконечности, Марсель – будто огромное количество воспоминаний, всех мужчин и всех женщин, которых мы встречаем, спит, утыкаясь в своды церкви... о чем же была проповедь? Она не помнит. Джекоб сказал, что любит ее. И ей казалось, что после этих слов все уже решено, что, наконец, эти слова сформировали какое-то будущее. Он сказал «я

---

<sup>32</sup> На мой взгляд я даю очень однозначные ответы всем своим претензиям и потугам; скажем так, Гертруда презрительно относится ко всему, что было мною сделано, и она как бы признается – от моего имени – в полнейшем отчаянии.

Я не собираюсь здесь или приватно – с тобой – обсуждать мои моральные состояния, но ставлю перед тобой вопрос о подобной – финальной – траговке Миз М., ее завершающем штрихе. Ясно ли это в достаточной мере?

люблю тебя...», и спустя два месяца настала ночь раскаленной крыши. Что нам до всего этого? До тысячи и тысячи тысяч растроченных слов и встреченных людей, пусть все слова потеряют свой смысл, пусть слова перестанут последовательно соединяться друг с другом, пусть тело Марселя рассыплется на составляющие, пусть отдельно ползут во все стороны эти торсы, эти крупы, эти женские и мужские обломки, пусть же, ПУСТЬ ЖЕ это нищенское человечество прекратит соединяться друг с другом, пусть лопнут формации, пусть эти крупы ползут, отталкиваясь от земли жилами и смотрят вперед разодранными шеями, пусть... что Гертруде до Марселя, до его страшного сна? Она здесь, чтобы прекратить все неловкие попытки объясниться с самой собой. Она здесь, и она стоит рядом с огромным червем по имени Марсель в городе под названием Комбре, посреди Темноводья, тогда как Джекоб Блём – великий господин безумия – где-то там, где-то far far away и ей все еще есть до этого дело... она не может собрать свои слова в бусы, не может нанизать одно на другое... Комбре, крыши, Комбре, башни, Комбре, церковь, на втором этаже 15 мая они занимались самой лучшей любовью, Комбре, Марсель, Комбре, три тысячи четыреста шестьдесят два тела, Комбре, образуют чудовище, Комбре, спящий-спящий город, где же теперь и куда же теперь... где же спит то, что дарует покой?

Какими бы не были законы этого сна, Гертруда знала, что ответы ждут ее на втором этаже. Стоит подняться по лестнице; стоит услышать знакомый хруст, о, как Джекоб спотыкался на этих ступенях, крохотные домики Комбре скроены не по его габаритам, стоит вернуться в этот дом, в самое сердце музыкальной шкатулки, подняться по лестнице, вторая дверь справа, здесь вежливая семья – один из тех мужчин с виноградниками и его бесплодная жена – сдала им комнату, именно в эту комнату стоит подняться, на втором этаже – там, где кровать, там, где занимались любовью, там, где из окна прекрасный вид на церковь, на Марселя, плачущего в своем бесконечном сне в скаты старой крыши. Гертруда слышит, как что-то звенит в этой комнате, будто кусок льда, будто сосулькой бьют о граненый стакан, кто-то нажимает клавишу, призывает ее к себе, и она отрывает взгляд от Марселя, величественного чудовища, конвульсий безумного мальчика, ночной тревоги, от ступенчатой структуры этого храма человеческих тел, и снова идет по улице. Улица такая же, как тогда; одно лишь существование Марселя напоминает Гертруде о временных петлях, о темной тревоге памяти; длинные ногти разрывают кожу, длинные пальцы держатся за решетки на окнах, только лишь это как-то напоминает об ирреальности происходящего; в остальном же – улица заполнена старыми запахами, Гертруда может слышать слова, произнесенные в прошлом, может слышать запах его духов, слышать его бас, слышать раскатистый смех, она напоминает Орфея, который идет навстречу своему суженному, она боится оглянуться и увидеть Марселя, пропасть навсегда; она идет по дороге своего прошлого, протягивает руку и открывает дверь, обычную дверь, тысячи таких дверей в мире, даже миллионы и больше, но как много в этом рукопожатии с дверной ручкой, какое все знакомое, будто старый любовник, она вступает в комнату, здесь был господин Блём – когда-то, много столетий прошло, но для Гертруды не существуют столетия, она поднимается по лестнице, каждый предмет для нее – отголосок давно ушедшего, все идет ко дну ее памяти, все является указанием, они с Джекобом посещали книжную выставку во Франкфурте, каждая книга, которую держали его руки – содержит в своей фабуле намек на возвращение, он тогда купил: «Апокалипсис», «Замок», «Без дна», и это слишком сложные книги, чтобы Гертруда сходу распознала эти откровения в их страницах, направилась верным вектором; почему-то здесь и сейчас она снова в точке безумной к нему любви, хотя, казалось бы, все уже отступило и перестало саднить, но теперь этот

период тишины кажется ей вымышленным, снова перед ней времена, не допускающие отсутствия любви, заполненные исключительно его благородным именем, Джекоб Блём, она поднимается по лестнице, как уже говорилось, вторая дверь направо, распахивает. Здесь вещи далеких эпох, зонт сушится у окна, как в тот день, когда сильный ливень застал их во время прогулки, здесь хлеб и вино на столе, черви ползают по зеленоватым луговинам плесени, здесь постель взлохмачена танцем ведьм, здесь петля времени сжимается, удушая Гертруду острейшим дежавю, здесь на стуле сидит мужчина и в руках его мертвая кукушка, клюв ее открывается и издает – тот самый пронзительный и стеклянный крик, «она отмеряет воспоминания», – говорит мужчина, затем поворачивает голову, и Гертруда видит его пиджак, старомодно торчащий уголок зеленого носового платка, видит рыбы кости, воткнутые на манер булавок, видит четки на его запястье из высохших шариков рыб, как же они называются (?), с иглами, запястья растерты этими сухими иголками до крови, «я рад тебя видеть, Дева Голода, я очень рад снова быть с тобой...», он поднимается из кресла, как поднимаются покойники, и Гертруда понимает, что говорит с мертвым, но никакого страха, наконец, она в родном космосе, где живые разговаривают с мертвыми, она чувствует к незнакомцу чувство кровного родства, и он улыбается ей, он протягивает вперед руку, и она гладит его пальцы, сухие-сухие, будто бархат, «меня зовут Франциск, если ты помнишь», и Гертруда/Матильда/Венера/Астра/Ингеборг – все они, невинно убитые любовью Джекоба Блёма, отвечают, что помнят, и, кажется, что это действительно так.

**Франциск.** У нас мало времени.

**Гертруда.** Времени для чего?

**Франциск.** Время ускользает, Матильда. Само понятие времени. Тебе не стоит понимать. Есть вещи, которые лучше не понимать. И не помнить. *Франциск у окна, подол его пиджака весь в рыбьих костях.* Папа торопит меня, папа торопит нас всех.

**Матильда.** Папа?

**Франциск.** Не делай вид, что ничего не знаешь. Его песня, его ошеломляющий голос, разве ты не слышишь, как он поет к нам свои страдания? Не важно. То, что ты видишь перед собой – отжившая и гниlostная структура внешних миров, папе очень плохо, и его рассудок не справляется с удержанием этой местности на плаву. Внешние земли скоро будут уничтожены, он готовится к последнему спектаклю. Поэтому я здесь. Чтобы подготовить тебя.

**Медея.** Я ничего не понимаю.

Глаза Франциска безжизненны, как пейзажи Темоводья. Большую часть своей жизни он провел в уходе за физическим телом Прокаженного, за поддержанием его плоти в состоянии близком к функциональному:

**Франциск.** Разум того, кто породил Темноводье – очень слаб. Скоро темнота накроет эти земли. Вот о чем я тебе говорю, Матильда. Папа хочет подарить нам свой великий подарок – великую смерть. Народам. Иным Народам. Тем, чьи многочисленные имена перечисляют люди; те, кого они боятся, к кому взывают, кого умоляют о помощи. Здесь и сейчас наступает новая эпоха, Матильда, Отец обрывает связь Народов и человечества раз и навсегда. Смерть – это шлюз между человеческим и внечеловеческим, но теперь Отец больше не нуждается в шлюзах, выходы и входы будут уничтожены вместе с внешними просторами. Человек и волшебная кровь больше не встретятся. Он отказывает людям в магии встречи с нами.

**Астра.** И что это значит?

**Франциск.** Это значит, что отныне никаких сказок, надежд и упований. Человек остается наедине с человечеством. Иные Народы будут забыты. Отец подарит им вечную ночь, разум его погружается в темноту, и он – подарит нам ночь

своего рассудка. То, что предсказано, скоро будет исполнено, Гертруда, руки Народов выполняет его волю, мы отрываемся от земли, навсегда покидаем ее пределы, клоаки и сумбур человеческой жизни, мы умираем смертью забытого искусства, мы умираем, как песня, мы вытекаем кровью из тела человечества вместе с гибелью Отца. Сказки закончены, Матильда, Отец приказал – уничтожить Искусство.

Знакомое чувство правды, кровь говорит о правильности такого выхода, исход в кромешную темноту, в вечную ночь Великого Прокаженного (она думает о Шиве, умершем Шиве и танце Кали на теле супруга), беззвездное пространство потушенных надежд, остывших стремлений.

**Венера.** Он плачет во сне

**Франциск.** Он знает о своей судьбе. Он – это ворота, а мы начинаем уничтожение ворот. Исход в темноту начинается здесь, в забытых землях, некогда величественных, воодушевляющих и одухотворенных, ныне обескураживающе костных. Темноводье – как лишняя строфа в стихотворении Отца, ненужная ремарка модернистской пьесы, ты должна это понимать. Марсель должен погибнуть, и поэтому он плачет. Таким, как он, трудно принять реформы. Перемена – ужасающая катастрофа для тех, кто существует вне цикла смерти и перерождения. Его существование множество кальп принуждало людей к сотрудничеству с Народами, он приносил страшные сны, бури и гибели, а теперь ему самому – уготована гибель; он плачет от непонимания современных процессов, перемена тенденции равносильна для него хаосу, он плачет в молитве, но молитвы не будут услышаны, он плачет о столетиях своего гордого полета, но память его будет уничтожена, и память о нем – сотрется из памяти людей; люди больше не будут видеть сны, когда Народы уйдут; человечеству не нужно искусство, не нужно волшебство наших красок, им не нужен Марсель, и его дурные дождливые сны.

Он, это огромное тело о множестве тел, парило на фоне хищной луны, там, во время бойни в Кале, в тысячи городов, он свивался кольцами в триллионах голов и разворачивался там, как ночной цветок, кожа его – аромат беды, сны его – кровь из открытой раны Христа.

**Франциск.** У меня есть кое-что для тебя. Ты помнишь, как познакомилась с Джекобом? Как – каждая из вас – познакомилась с ним? Как тысячи женщин были обмануты его шармом, и как его шарм – делал вас Девами Голода?

**Альбертина.** Я не хочу... Марсель очень красивый ребенок. Посмотри, как он трепещет. Белая кожа просвечивает до синих жил.

**Франциск.** Убей его ради нас, и я напомню тебе правду. Марсель – спящий внутри твоего сна. Убей его, ударь в солнечное сплетение искусства.

Белая кожа прозрачна до синих жил.

**Ингеборг.** Я люблю Его. И я тоже – прозрачна до белых жил.

**Франциск.** Да. Ты ясна для нас, но мы любим твою простоту. Мы слышим, как поет твоя кровь, наша кровь, Народы шумят внутри твоих вен, и ты знаешь об этом. Это любовь к нему сделала тебя одной из нас. Бархатный Король, великий Тихопомешанный... его взгляд влюблял в себя женщин – поколение за поколением. И все они сходили с ума... Стелла, Артея, Медея и Федра. Вам нет числа.

Они помнят. Каждая из них – с чего все началось. Это называется сердце. Жажда любви, самоубийства, вечной ночи.

*(Камера движется вдоль линии ее жизни. Мы видим какие-то лохмотья, слезы, полночи, сигареты, улицы, вначале похороны собачонки, а затем ее покупку, мы разматываем в обратную сторону, а теперь вот – Гертруда встречает Джекоба Блёма. Где и как? Там, где обычно встречаются люди. Как – с первого слова<sup>33</sup>.*

---

<sup>33</sup> Смертная (где-то на фоне фонтана, фонтана, ФОНТАНА, какая фантастическая уникальность) и мыслит себя отличной от всех остальных, – конечно, мыслит, – уже вникшая в искусство и поцеловавшая его тайные части. Клитор искусства – это Селин,

## *Всего секунду памяти: воспоминание завершается)*

Берроуз, это Лотреамон, Тракль, Хайм, изысканности Янна, это все остальные, которых принято не понимать. Герти сидела на фоне фонтана и читала «Киску, короля пиратов», ей нравилось название, броская обложка, ей нравилось читать что-то этакое. Она пробиравалась в самые дребни. Итак – фонтан. На Гертруде жемчуг, молоденькие интеллектуалки очень любят жемчуг. А еще – молоденькие интеллектуалки любят больных мужчин. Да, чем серьезнее болезнь, тем полнее и глубже их знающие Шумана пальцы готовы проникнуть в анус возлюбленного гомофила. На ней чулки. Заповедная зона, паутина, Берлинская стена. Всеми своими фригидными жемами, ладонями и страстным перелистыванием, глазами – грозвыми перевалами, они ищут своей бахроме большого хозяина. Собака вылизывает собственные яйца, интеллектуалка вручает себя в руки Мальдорора. Мы не хотим банкиров, мы боимся успеха, мы ломаем длинные каблуки, мы хотим сумасшедшего. Безумие, о, романтика его бакенбард, о я хочу вылизывать твои подмышки, огромные впадины, нырять в их изгибы, леса самоубийц, я хочу все это, медленного меланхолического вращения, вращай меня, вращай меня сидя, лежа, я хочу страдания, отвращай меня, вращай (крепко сжимая мой череп, заставь меня надкусить ось), но лучше прежнего, моя интеллектуальная душа так хочет муки, я знаю Гете и фа-диез известных педерастов, мне снится все это, я знаю, но я хочу иного – вращай, под фа-диез минорных симфоний, и еще и еще вращай унеси меня ветром говори непонятно я на французском отшлепай мою немецкую задницу закинь в мои неводы своих влажных рыб распашаи раны моего океана я пою тебе песню твоему безумию – я дух и середина, самая трепетная форель в озере интеллектуалок – хочу такого, такого, что называется Любовью, выеби меня, выеби, возьми мои кисти, сожми, будто извлекаешь виноградный сок, расчехли мякоть и давай говорить о Запретном Городе, я та – что у Юкио Мисимы наполняла храмы, их чаши своей кровью, та десница, та девственница, та самая, единственно-достойная твоего бычьего хера... а потом, когда этот внутренний шторм оседает, ее фригидный рот говорит «Мсье, вы читали Жоржа Батая?», какой в этом жаркий намек, читал ли он, а если нет – она расскажет, она проведет его в виноградник, трахни меня в отцовском «Форде», устрой грозовой перевал, перекатывай меня на языке, облизывай свое самочувствие, а еще я хочу – быть Кларой Шуман, чтобы быть рабыней безумца, чтобы быть сжатой гениальностью – о потришь своим пиратом о мою киску – я хочу излить интеллектуальный сок в бокал твоего рта, вылижи мне. Он отвечает «нет», рассеянный баритон игры в бисер, слова раскатываются по площади, его заманчивая и монструозная фигура облачена в печаль, она уже горит к нему, влюблено обращается в лед, и ждет молчанием, позволяя ему покорить ее глубины. Обычно, они трахаются. Мужчине только дай потрагаться. А потом все кончается. Но с Гертрудой иначе. Джекоб что-то ответил. Гертруда подхватила, они говорили так много, так долго, с Герти такого еще не было, никогда не было – ломается позвоночник – она нашла себе, в свои интеллектуальные руки, в свои скважины, в свои книги, самого больного, чья болезнь невидима глазу (так даже лучше, эти интеллектуальные самки не любят оспу, хотя и возбуждены смачными оргиями в лепрозории), столь питательна и суггестивна для инфантильных цветов Билитис. Цветы пожинают на чердаках, выпускных вечерах, раскурочивают позвонки (прижавшись к дереву), в переписках, по телефону, с незнакомцем у телефонной будки, иногда руками (влажными пальцами раздирая заслоны), а засидевшиеся видят себя Избранницами. Двадцатисемилетняя Гертруда после бокалов вина, после пронзительных взглядов, на седьмом свидании, нежно провалилась в дефлорацию и всплыла наружу совершенно новой. Их «роман» с Джекобом Блёмом длился год и четыре месяца, в это время он был ее мужчиной, но не ее творчеством, Гертруда спала внутри романа, в его руках, распознала звездную карту его болезни, рассеянную вдоль линии позвоночника. Его спиной хребет был Сьерра-Маэстро, на закате кожа отливала опасно-красным, туманные глады и вздыбленности спали в его головокружительной меланхолии; она снимала с него очки – четыре диоптрии – гладила по лицу, он все еще был просто ее мужчиной, никакого творчества. Лиловые тени прятались от ее глаз, она могла позволить себе содержать мужчину, его болезнь – скрытая – будоражила ее подниматься на Сьерра-Маэстру, она срывалась вниз, чтобы вновь начать это плавание. Готовя завтрак, она чувствовала скорый шторм. Может быть, он спал внутри витрины его интересов – трудности самоощущения пчелиной матки? восприятие пальцев черно-белым лицом фортепьяно? чувственные привязанности носков к мужским ногам? и т.д. – в пещерах, спрятанных воспоминаниях, в огромных мусорных свалках, внутри клоаки сердца, каналы распустившей венами повсюду, даже в пальцы, которыми он прижимает к себе Гертруду – лишь с видимым удовольствием... она ощущала сильные приливы, она все понимала, она знала название, она слышала имя, старые бумаги с шотландскими гербами, его взгляды, когда велосипедист обкручивает дом своим движением, мышцы выгнуты в напряжении и крутят педали, запахи, латентное движение вслед за этим незнакомцем, а затем – подавленное темнотой начало – возвращение в комнату Гертруды с каким-нибудь нежным словом из книг, которые она читала, он воровал их с поверхности, ее двухметровый вор, ее кадило, великий гомофил ее творчества. Она полюбила его, когда Джекоб ушел; это нормально, женщина всегда любит прошлое, любит время своих юных песен, любит своего первого пахаря, ее земля – помнит запахи сумасшедшего, Джекоб Блём опутал ее воздухом своих легких. Теперь она любит его сильнее, чем раньше. Но больше всего – за минуту интеллектуального восторга, когда рассудок клокочет и пенится, одобряя эстетику минуты, секунды, вдоха – за то, КАК он ушел от нее, за те последовательные и идеальные движения разрыва, за те сакральные и отлитые из вечности пули, за ту ночь – на раскаленной крыше. Камера отъезжает в стороны, подает зрительницам носовой платок. Время паузы, перекура, антракт с плотно набитым плотью кабаком первого этажа нашего театра. В воздухе – мысли об этой болезни, захватившей лестницы и подвалы Гертруды. О том, как она протягивала к болезням все свои девственные ожидания, о том, как ее тело после известной эпилоговой ночи рухнуло на шелк постельного белья в новом качестве, в новой категории, обновленное, изнывающее, изнутри распираемое то ли любовью, то ли искусством. В этом сумбуре первой покинутой ночи – она вспоминает, как завоевывала его. Как это легко – кормить с руки гомофила, как это приятно видеть его старательные попытки исправиться, помогать этому незрячему находить вход в ее ясли... и о том, что эта старательность всей силой своего послушания обращается позже (неизбежно) в ревностное возвращение к своей природе, силой этого возвращения сокрушает женщину, ненавистью своего возвращения уничтожая ее стены, ее последние храмы, ее недавно обретенную римскую империю с абсолютной властью на бессловесным господином Блёмом; с какой дикой заботливостью он относится к тем, кто молчанием принимает его недуги, и силой этой дикости платит потом ударами за молчание; все в этом несправедливо: разрозненная Гертруда, пытающаяся собрать разрозненного Джекоба, плачущая от любви, и разрозненный Джекоб, который разрознит Гертруду за то, что та переполнилась гордыней и самостью – вздумала, что сумеет его собрать – разрознит за дерзость; Джекоб, позволяющий себе плакать от настоящей любви, своим плачем повергая Гертруду в плач... там, на коньке раскаленной крыши. Джекоб всегда любил картины Джотто. Все происходит по канонам высокого искусства. Она просыпается, а его нет. Он на коньке раскаленной крыши. То ли воеет на луну, то ли пытается завершиться, и все это – в комке и слизи его надрывного плача по шотландским квадратам; и все это обрушивается на нее, когда она – облаченная в шифоновую ночнушку красного цвета – выбирается из постели, чтобы отыскать его. Она чувствует, что начался шторм. Неясный, но начался. Он не отлучился по своим крохотным нуждам. Нет, все совсем иначе. Теперь и отныне – все уже иначе. Он оборачивается на нее – как в фильме – а за его спиной массив города, и смотрит на нее этими своими жалобными глазами больного, сквозь четыре диоптрии, в пижаме, его лицо озлоблено недавним воем, мышцы его напряжены и шерсть на теле стоит дыбом. Она понимает, что это конец. Он оборвал цепь. Она понимает это, но ждет хоть каких-то слов. А он, если и хотел сброситься, теперь все свое желание смерти обратил в злость на нее. И поэтому, зная ее желания, он молчит, чтобы она была удушена, чтобы она все поняла и тоже захотела вниз с крыши. Она хочет не хватать его за руки и соблюдать приличия, но хватает, а крыша такая горячая. Она спрашивает «почему?», а он, как мужчина, зажевывает большими челюстями с болью в зубах интенцию любви, но называет имя. Она не запомнила, но это мужчина. Джекоб покидает ее. Гертруда думает упасть с крыши, затем хочет сохранить жизнь ради боли этого мгновения, и поспешно возвращается в дом, боясь соскользнуть с крыши. Она не ищет его, его уже нет, она возвращается в постель. Джекоб Блём уходит навсегда.

**Франциск.** Значит, ты догадываешься об этом. Хочешь, я подарю тебе свою мертвую птицу?

**Федра.** Нет.

**Франциск.** Убей Марселя.

**Одетта.** С Джекобом все хорошо?

**Франциск.** Ему плохо, его сердце болит, но не бери в голову, ведь господину Блему всегда плохо. Это его путь – от корней дерева Мертвых по левой руке. Убей Марселя.

**Надалия.** Почему я?

**Франциск.** А почему бы и нет? Убей его. Убей, ради всех нас. Вырежи этот тромб из отцовского тела. Усмири его боли хотя бы на пару минут.

**Лизавета.** Я не могу. Я не убиваю детей.

**Франциск.** Убей Марселя. Разбуди его. Прерви его сон. Это так просто, Матильда. Детоубийство – это так просто.

Руки мертвого обняли плечи Гертруды, мертвая щека прижалась к ее щеке, губы мертвого сказали в ее ухо, – мир так беспокоен, Девы Голода плывут в снежной тиши, страх и тревога мучают папу, убей это отвратительное чудовище, Матильда, приведи в исполнение вердикт миллионов, замученных его страшными снами.

**Розенберга.** Джекоб Блём...

**Франциск.** Да, Матильда. Ему плохо. Без тебя – так же, как было с тобой. Со всеми вами. *О, как крепко умеют прижимать к себе мертвые* – убей это хитросплетение трупов. Он боится громких звуков. Оглуши его. Разорви его в ключья. Подари ему какофонию, ведь мертвым быть лучше.

Больше не будет пестрости форм; больше не будет реющего полета, ничего больше не будет из свободных искусств, останутся лишь улицы, суженные до игольной промежности, останутся только улицы, освещенные – исключительно фонарями – со смертью Марселя начнется разрушение метафизического застенья, стиль станет костным, кости его будут подпирать социальную кожу, соки этой поэзии метастазируют сердце.

**Маргарита.** Кто его мать?

**Франциск.** Это так важно?

**О.М.** Я должно знать, кого лишаю ребенка.

**Франциск.** Он порожден старостью; ветошной эпохой избыточности и подробности, духом романтизма и запутанностью седой классики. Он пережиток жестокой и упаднической эпохи, когда разум Отца пенился и клубился бессмысленным нагромождением образов.

Марселя родила одна из железных дев. Как ты знаешь, это устройство прокалывает органы человека таким образом, чтобы он еще прожил достаточно долго. Кровь цедится из сквозных пробоев, пачкает чрево железной девы. Одна из них зачала от крови казненного, и вскармливала в своем железном каркасе ребенка, откармливая его мясом убитых. Их тела – стали первыми деталями в бесконечности Марселя, а затем – он присоединял к себе тех, чьи сны нравились ему больше прочего – чаще отчаявшихся женщин, педофилов и детей с умственными отклонениями. Его детская привязанность к матери выражена в накопительстве. Марсель рожден суровой эпохой чудовищных зим, волки, снега и бураны, холода, голод. Он привык собирать все, что плохо лежит; он заботится о своей матери; ему снится – каждую секунду ему снится – что, когда придет час, он скормит ей свое разросшееся тело. То есть, если ты рассмотришь эту махину в разрезе, то поймешь, что склад ее достаточно примитивен: мифический дискурс, чувство вины, помноженное на бурное воображение Отца, хотя формы Марселя, конечно, отчасти

повторяют восточного дракона. Огромный червь, сотканный из гнилого мяса, хочет накормить мамочку падалью...

А она затерялась в эпохах. Папа всегда дурно относился к женщинам, их фигуры прописывались штрихами, лишь дополнительными персонажами по отношению к страдающим безумцам – например, Джекобу Блему – и поэтому никому уже не узнать, где теперь и существует ли еще мать Марселя. Но я не слышал, чтобы современность продолжала использовать железную деву. Скорее всего, она умерла с голоду.

**Миз М.** Мы ведь говорим об орудии пытки?

**Франциск.** Убийства. Сладкого и долгого убийства. Но не подумай, Матильда, что в этом есть какая-либо глупая метафора. Все это – подлинное изложение истории его рождения. Она должна показать тебе, насколько извращенным и прямолинейным был подход Отца к сотворению своих первенцев. Именно так все и было: железная дева мясом жертв откормила сына.

**Лиза.** Но почему Комбре? Я не понимаю.

**Франциск.** Ты и не должна ничего понимать. Все, что ты видишь – дурно поставленный сон. Марсель – не создает, но проявляет сны и галлюцинации своих жертв. Ты желала Комбре, и он дал тебе Комбре. Не думаю, что он имеет какое-то представление о том, что это и почему ты желала сюда. Он – это набор мяса с чувственным влечением ко всему детскому, включая педофилию; все, что несет в себе какое-то отражение его сиротской судьбы – становится частью Марселя, в буквальном смысле конечно, но ничего иного ему не принадлежит. Он – это черная туча над средневековым городом, и просто анатомический парадокс дня сегодняшнего. Убей его, Матильда, время пришло.

**Дева Голода.** Как?

**Франциск.** Это твой сон и твои дворцы памяти. Но я видел здесь патефон, под его музыку вы с Джекобом Блёмом занимались любовью. Разбуди Марселя.

В этой комнате... когда-то(?), а кажется, что прямо сейчас, руки Франциска в женском воображении могут стать руками любого другого мужчины; в женском воображении руки мертвого могут становиться руками прошлого или горячими руками реальности; в женском сердце нет страха перед умершими, если умершие своими костями приводят к мужским рукам. Гертруда не могла оценить красоту систем и изящность математической тонкости; для нее Народы – оставались неясной метафорой, а Отец – парафразом предрешенности ее любви к господину Блему. Она не осознавала происходящее реальностью или *иной* реальностью, скорее символическим рефреном вновь оживающей любви. Она думала, что разбудить Марселя – значит уничтожить свои разросшиеся многоступенчатые храмы, минареты которых окровавлены сомнением. Она не знала, что Марсель наделен такими же душевными свойствами, как и она сама, в этом знании не было нужды, ведь для Гертруды существовала только эта комната, существующая одновременно в настоящем и прошлом, существовала туманная связь между происходящим и гипотетическим следствием. Гертруда совершила аборт своим прошлым, но не прорыв в музыку отцовских сфер; разум ее оставался приземленным и нацеленным на результат; только метафоры ее были усложнены, сложностью же она прикрывала хрупкость. Здесь, в этой самой комнате. Здесь, когда-то давным-давно. В этом мифическом времени она не подозревала о существовании каких-то других существ, ее сиамское братство с Джекобом заслоняло луну от взгляда. Под Жака Бреля, под «Амстердам», они занимались любовью; они – мы! – занимались любовью, от самого словосочетания вновь холодело под ребрами; то, что слова эти были произнесены Франциском будто добавляло им правдивости, добавляло любви в это занятие, будто снова выступала на первый план реальность того, что именно на этой постели,

именно с Джекобом, именно так... он дышал в ухо, так банально, так барабанят пальцы, так спина, его спина, дыхание, чудовищный такт, книги, кофе, о чем же шел разговор(?), – все это направило Гертруду к шкафу, где стоял патефон, они крутили винилы, подражая своему детству; той юности, в которой их встреча не произошла – и это было больно Гертруде – они слушали ретро и сепию, будто гуляли под руку сквозь Бранденбург, на этой самой постели – он входил в ее Бранденбург, парк под луной синеват и призрачен... вот здесь, покрутить рычажок, мир дробится на кадры, дыхание замирает, иглу посадить на черное поле, ожидание, Жак Брель, «Амстердам», она всегда плачет от этой песни. Рука замирает – секунда – и Гертруда с силой сжимает глаза, как всегда сжимает от стыда или – она убила вспоминает, что убила ребенка, когда он ушел, железная дева и крохотный Блём – и в эту минуту Франциск громко кричит «давай!», и она отпускает иглу, и Dans le port d'Amsterdam!<sup>34</sup>

Руки мертвого, холодные пальцы на талии, и мертвым подбородком режет по шее, уводит Гертруду в танце по комнате и хохочет, «...началось! Началось, Au large d'Amsterdam!», и Гертруда чувствует, как музыка выскальзывает из этой тихой комнаты памяти, и несется вдоль Комбре, вдоль уснувших улиц к Марселю, и Комбре, короткие спящие улицы, и церковь отвечают Жаку неровным и страшным гулом. Там, на улице, началось... что-то началось, но Гертруда не может поверить, что это реальность; там что-то гремит, что-то бьется на площади; Гертруда в танце, все кружится перед ней, сильные руки Франциска водят ее по кругу, и хохот Франциска уже не слышен, всюду и везде этот гул, железом о железо, камнем о камни, дома отхаркивают свои стекла, стекла, как зубы, выпадают из десен на брусчатку, камни брусчатки покидают улицы, и вращаются и вращаются в смерче; там, под голодной луной Марсель, как огромная лента Мебиуса кружится над городом, силой своего вращения пытается втянуть Комбре в квадратуру своего круга. Тысячи его рук зачерпывают пустоту, мама-мама-тишина, ногти врываются в кожу, рвут ее, пальцы тянут за лоскуты, и сочится из раны на город; на ленты Марсель обрывает себя, и ленты слетают на город, на кровь, на переломанные крыши, кожа – как снег – снег и кровь, месиво на земле, крыши сдирает с черепов старых зданий, в платье из стекла и камней Марсель теряет свои фрагменты, мощные крупы мужчин и тонкие исхудавших детишек – тащит за собой уже отломанные от тела, тащит мусором и калечит стеклами, Dans le port d'Amsterdam и раздирает себе лицо, и пытается вырвать себе глаза в нежелании видеть искалеченное Комбре, а Гертруде... а Гертруде все не всерьёз, ее танцуют мужские руки, и Гертруде даже влажно от этого, она откидывает голову и представляет, что это – руки Джекоба Блёма, а над ней – крыша разлетается, и камни этой крыши, как голуби, черное небо, стропила раздроблены и щепки, как стая мух, и жужжит в сердце Гертруды, и ноги ее Dans le port d'Amsterdam, и между ними – будто в колодце – змея белесые полосы прямо над ее головой, и кровь вниз, жарко как от поцелуя, прямо на лицо, и Франциск хохочет, а затем откидывает ее на постель. Гертруда выгибается вперед, а затем приходит в себя. Женщина – в постели – и над головой ее ураган, сердце ее встревожено, дракон покрытый увечьями и струпом плачет охрово вниз, горячим на ее плечи и на ее лицо. Она что-то шепчет, вроде «это же не всерьёз?», и Франциск говорит, что «всерьёз», что снова, что СНОВА «Женщина убила ребенка!», и стены выламывает из суставов, костный мозг перекрытий, и снова и снова Dans le port d'Amsterdam(!!!), но Гертруда не верит в Народы, и дикую гибель Марселя, наблюдая тело, изрезанное иглой патефона в дикой спирали над своей головой, в последнем полете, кричат мертвые птицы, она продолжает не видеть. «Жак Брель провоцирует детоубийство!», – хохочет Франциск, он

<sup>34</sup> Здесь и до конца – Jaques Brel «Amsterdam»

расставляет руки и пытается поймать дождь, ладони его как в стигматах, – «...посмотри же, Матильда, как хорош Амстердам, красные улицы, красные внутренности, красная изнанка – его детской кожи!», а затем овации, когда Марсель теряет огромный кусок, и окровавленный каркас падает посреди комнаты, жилы, сухожилия в сторону, тонкие руки продолжают ощупывать пол, Гертруда что-то кричит, но Франциск успокаивает ее, «это просто конвульсии! Не бойся, Dans le port d'Amsterdam!!!»... Гертруда проваливается в темноту, ей кажется, будто кто-то целует ее, и ей страшно, что это – голое мясо из тела Марселя, одно из тысячи его раскученных тел, и перед ней гаснут картины умирающего Комбре, и Франциск говорит «с этим покончено...», и темнота вокруг Гертруды тошнотворна, ей чувствуется, что в теле иглы, будто она – в светонепроницаемой железной деде, гнилое мясо кормит грудью и распоротыми запястьями, пытаясь проснуться, она никак не может вырваться из железного каркаса, вынуть из тела эту боль, залатать свои дыры, и даже ощутить – пробоины в собственных органах.

Она просто женщина, она просто плачет под «Амстердам».

Амстердам немеет, сцена погружается в звонкую тишину. Обязательно, чтобы появилось чувство искусственности: камера берет Комбре крупным планом, и города, наконец, видятся игрушечными, «обломки» Марселя больше не вызывают у зрителя омерзения, и возникает чувство сочувствие, как при виде обезображенной детской игрушки. Город лежит в пятне света, и Франциск медленно движется по его улицам. Там, за его спиной рождается темнота, но не естественная, а будто темная вода затапливает сцену; темнота должна переливаться, она глянцевая, как нефть. В руке Франциска нож из рыбьих костей. Это нож милосердия и нож мародерства. Рыбьи кости имеют зазубрены, так что удар этим ножом вызывает у жертвы невыносимую боль. Лезвие не предназначено для сражения, оно должно упруго входить в грудную клетку и уничтожать внутри нее воздух; тело становится просто мешком с костями, когда Франциск своим рыбьим ножом врывается в ее покров. Этот нож не создавался для убийства, это жертвенный атам или орудие примитивного земледельческого культа, но сейчас оно применяется для изуверской жестокости рукой святого Франциска.

Темная вода или нефть льется из его штанин или из-под робы, если режиссер представляет Франциска неким религиозным деятелем<sup>35</sup>, значительно показать крупным планом, как она льется на деревянную сцену, пожирает пространство, опутывает грязью и темнотой. Не следует делать намеков на мрачную сущность Франциска, здесь он скорее – ангел вездесущего убийства, карающий удар прощения.

Он медленно и триумфально движется по Комбре, открывая каждую дверь. Внутри дома освещены синими фонарями, свет искажает реальность и делает ее сказочной. Перед зрителем волшебный зимний сон обитателей Комбре. Франциск посещает детские, и видит, что все колыбели пусты. По полу разбросаны игрушки и детские вещи (все они залиты, как кровью, синим светом), но все дети пропали, будто Крысолов увел их флейтой куда-то за край сцены, сбросил в оркестровую яму. Не находя детей, Франциск входит в спальни для взрослых. Мужчины и женщины спят в постелях сном мечтателей. Их лица – пусть и некрасивые – с помощью синего света и улыбок кажутся привлекательными. В их мире – нет слова «больно»; планета, в которой не существует памяти и ностальгии лежит перед ними; они спят в воображаемых объятиях своих возлюбленных; их тела не изглоданы раком. Комбре и его обитатели спят сном фантазии, они навсегда выключены из процессов реальности. Франциск разглядывает спящих, а затем ритмично втыкает нож в грудную клетку, сон переходит в смерть, но улыбки не стираются с лиц. Когда

<sup>35</sup> Может быть важной аллюзией, и стоит принять это замечания к сведению.

Франциск выходит из очередного дома, тот погружается в темноту, синий свет тонет в темной воде. И, наконец, все жители Комбре принесены в жертву. Больше Народы не будут служить обезболивающим.

Теперь свет выхватывает только собор. На черепице и стенах видны борозды от когтей Марселя. Кованные решетки деформированы. На двери выгравированы колокола. Франциск отпирает двери и входит внутрь.

Мраморное пространство освещено множеством свечей. Прихожане обернуты в белое. Крупным планом их пустые глазницы, возможно даже насекомые, облюбовавшие переносицу или лоб. Можно показать муху, протирающую лапки в пустом дупле носа. Еще – женщину с седыми прядями, прилипшими к влажному черепу, и то, как она «вытирает» с щек опарыша, как белую слезу. Следующим кадром идут руки мертвецов, и то, как они перебирают четки: нанизанные на проволоку бумажные шарики<sup>36</sup>. Затем – священник у алтаря, важным мне кажется его черная роба и митра (возможно, украшенная паутиной), подвижные и ЖИВЫЕ рыбки глаза во впадинах человеческого черепа. На алтаре – с распоротым животом младенец, шкурки других младенцев, очищенные от trebuхи и костей, в дальнем углу. Колокол нависает прямо над мертвым тельцем, и его круглая тень пляшет на разодранном крупе. Становится ясно, куда подевались дети Комбре, но неясно – зачем.

Франциск гулким шагом идет по мрамору в сторону священника, а тот изучает его пустыми глазами.

**Франциск.** Я пришел завершить вас.

**Священник.** Мы знаем, что ты такое. Но мы больше не служим твоему Отцу.

**Франциск.** Чему ты служишь?

**Священник.** Молчаливая сестра (*указывает на колокол*) готова продолжать молчание, пока на ее алтарь льется кровь. Мы служим тишине, мы ищем ответ в тишине, мы позволяем людям Комбре спать в тишине. Там, пока они спят, им не нужны дети, им не нужна реальность. Мы забираем ненужное, чтобы сквозь тишину дать им необходимое.

**Франциск.** Молчаливая сестра хочет крови?

**Священник.** Она хочет кричать на весь мир, и будить даже мертвых, но согласна молчать, пока льется кровь. Теперь мы слуги тишины.

**Франциск.** Больше нет.

**Священник.** Ты не можешь испугать нас, Франциск. Я знаю тебя, мы все тебя знаем. Ты вор его последнего дыхания, ты сторожишь его тело, чтобы вырвать последний вздох. Но ты ошибаешься, ты ничего не получишь. Только тишину.

**Франциск.** Я здесь по Его воле.

**Священник.** У него нет воли. Только абсурд. Его разум породил Молчаливую сестру – колокол, который хочет крови, – разве это не абсурд?

**Франциск.** Даже колокола хотят крови. И он – тоже.

**Священник.** Нет, ему все равно. В этом величие твоего несправедливого Отца.

**Франциск.** Это кощунство.

**Священник.** Это реальность.

**Франциск.** Все уже подходит к концу. Вечная ночь близко.

**Священник.** И мы хотим встретиться ее в тишине.

Множество мертвых смотрят на Франциска, на то, как он подходит к священнику вплотную, гладит его по гнилому лицу, затем втыкает в его мертвое

---

<sup>36</sup> Возможно, прайс-лист Рыбзавода или какого-либо религиозного учения, которое было отвергнуто. Судя по тому, что на мертвых нет никакой «морской» атрибутики, они не придерживаются – или уже не придерживаются – ни одного из распространенных в Темноводье учений.

тело свой нож. Мертвые не нарушают собственной тишины. Мертвые привыкли к бесконечной боли.

Мертвое тело шумно падает на мрамор, Молчаливая сестра начинает «шевелиться». Ее бронзовая юбка прерывает тишину, язык копошится внутри ее тела, начинает судорожно облизывать «губы», Молчаливая сестра поднимает крик, она хочет накричаться вдоволь перед последней ночью, даже ей ясно, что скоро всему этому придет конец.

## Постмортем

Время скрывает от нас друзей детства; детство скрыто от нас пеленой более густого прошлого; густое прошлое наше прошито анамнезами и ремиссиями воспоминаний; на наших больных сердцах скрепы настоящего; наши кости уже не разговаривают о высоком искусстве. Иногда время неожиданно поднимает подол, и, как бывает, когда поднимают подол, мы заморожены бликами солнца на лобке, смущение и притягательная сила, с такой силой – как первая девочка, в поле или где-то еще, зовет нас за собой, целует, потом поднимает юбку, но не дает притронуться и больше не дает поцеловать, убегает – время показывает нам себя; оно – это болезнь, своей невидимостью позволяющее оценить здоровье; там, в прошлом... там, в моем прошлом; там, в твоём прошлом... иногда эти неловкие воспоминания внезапно собираются в одно целое. Я разбросал приметы этого времени – к которому отсылаю; я рассказываю свою историю одному лишь слушателю – ее звали Анна (или Миз М.), мы познакомились(?) на как бы Монмартре, и обсуждали жизни Виана, Матисса, Бернара и Биро, – и я рассказываю историю безымянного города ей, чтобы, когда время сложило свой пазл, ей стало ясно, что город этот носит имена Гертруды, Стеллы, Ингеборг, Альбертины, Медеи и Астры, многих других женщин, в моей плоскости зрения – этот город как контурная карта с жирными линиями их точек: черная линия Ингеборг (и влюбленного в нее святого отца) и ярко-малиновая Альбертины, зеленая Венеры, небесная Медеи, карминовая – Анны. Провела меня когда-то закоулками воспоминаний, и моя история посвящена ей, включенная в список моих историй «Книги Фрагментов», сегодня моя история посвящена только ей и опирается, вероятно, только на то, что будет понятно женщине в зеленом платье с холма Монмартр, и, возможно, никому больше... нашему дыму, нашему утраченному времени, нашему непонятному знакомству, всему нашему злу, всей нашей подлости, всей полноте нашей любви к Писсаро и Преверу, – я помню наше желание бросить привычное и вместе бежать в Комбре, – каждой из нашей несбывшейся любви, всему этому я себя посвящаю, к каждому из твоих воплощений – Гертруде, Одетте, Альбертине, Медее и Эльфриде – я протягиваю себя сквозь время своим старомодным письмом нарративного толка, и воплощаю твои перемены, плавно описывая вначале одну, а затем другую, в их бесчисленных наименованиях – Гертруда, Ингеборг, Альбертина etc. с такой же легкостью, как ты меняешь платье.

...вот леди Анна, зеленое платье,  
каменя, подол, дорога  
идет от нуля... Грюнлянд-штрассе  
идет от меня – вот дорога  
и стриги столичных улиц, и карнавалы  
а в кармане – у меня – камешки из Монмартра  
из Монмартра мои крики, я поднимаю их вертикалью  
я подбрасываю их, как камни  
за пазухой, обвенчены кулаками, мне не с чем иным – венчаться,  
камни, ракушки, песок ах вам направо и память  
93-го в черно-белом моя собака за шею ее как кольцо обнимает палец  
мне сказали "----", но я не слушал, меня уговаривали  
печали колоть марксизмом, поезда направленьем "Любовь – Монмартр"  
и леди Анна на станции  
мы встречаемся

я отражаюсь изломанный в ее брошке  
я разглядываю себя в ее платье  
я временно понимаю ее  
от ее вида – я стеснительно путаюсь в собственных пальцах -  
я бы завязывал рукава за спиной собака погибла собака погибла(?)  
я повторяю что "----", но меня – уже не слушают  
я покидаю лес собственных пальцев  
я покидаю удел и камня, подол, дорога, подол метет дорогу  
я провожаю ее  
только взглядом и плачу потерянно в память  
о складках на ее платье  
зеленое, куплено – д.26, Грюнлянд-штрассе